

ССТ96
У49

№ 4
2001

ЧЛУГ-ХЕМ

Литературно-художественный и
общественно-политический журнал



СОЮЗ
ПИСАТЕЛЕЙ
ТУВЫ

ҮЛҮГ-
ХӨМ

*литературно-художественный и
общественно-политический журнал*

№ 4
2001

КЫЗЫЛ — 2001

К 84-4-5 Р 2
У 47

Главный редактор
Ч.Ч. КУУЛАР

Ответственный секретарь
М.О. СААЯ

Редактор номера
Е.В. АНТУФЬЕВ

Общественный редакционный совет:
А. А. ДАРЖАЙ
У.А. ДОНГАК
Г. И. ПРИНЦЕВА
Э.Б. МИЖИТ

Составители:
М.А. ХАДАХАНЭ
и Е.В. АНТУФЬЕВ

Сдано в набор 10.10.2001 г. Подписано к печати 10.11.2001 г. Формат
60x84 1/16. Бумага типографская № 2. Офсетная печать. Усл. печ. л. 12,5.
Тираж 1000 экз. Заказ № 1065

Редакция журнала "Улуг-Хем", 667000, г. Кызыл,
ул. Щетинкина и Кравченко, 57.

Типография Госкомитета по печати и информации, 667000, г. Кызыл,
ул. Щетинкина и Кравченко, 1.
На обложке Салчак Тока с внучкой Аллой.

Учредители журнала: Правительство Республики Тыва, Комитет по печа-
ти и информации, Союз писателей Республики Тыва.

Журнал зарегистрирован в Региональном управлении регистрации и кон-
троля за соблюдением законодательства Российской Федерации в облас-
ти печати и средств массовой информации Республики Тыва. Рег. № —
028.

4702580600-21
133 (01)-2001

Без объяв.

47.2.58.6
ББК 84-4-5-Р 2

К 100-летию со дня рождения С.К. Тока

Салчак Тока

ОХОТА НА ВОЛКОВ



В одну из поездок по Туве встретил я знатного скотовода Чамьяна. Уже тогда слава о нем, как о знаменитом охотнике, получившем первую премию за уничтожение волков, распространилась далеко за пределы колхоза.

Чамьян сидел на пригорке перед грядой холмов, поднимавшихся широкими валами к подножью хребта, и внимательно следил за своей отарой. Солнце уже наполовину закатилось за снежную кромку гор и все гуще золотило степные травы и цветы.

Приветствуя меня, знатный скотовод протянул коричневую руку, и, улыбаясь, пригласил сесть на траву рядом с собой.

Мы долго молчали, любуясь переменчивыми красками догоравшего дня.

— Посмотрите кругом, — сказал он, — как красивы горы, окружающие нас, как серебрится речка, как извивается она, пробивая себе дорогу среди скал. Посмотрите на это стадо. Красивая природа в Туве, тучны колхозные стада.

Разговаривая со мной, Чамьян продолжал смотреть на мерцавшую вдали полоску реки, у которой, как стая птиц на взъерошившемся озере, смутно колыхалась пришедшая в движение отара. На ее дальнем краю показался всадник.

— Младший сын, — объяснил Чамьян, — приставлен к овцеводческой ферме. Тоже на курсы ходит. А раньше как? Постарше его были — не могли уберечь десятка овец от падежа, не говоря о волках. Помните, как из-под снега траву выскребали, в одиночку хоронились от джута¹, молились тайге: «Окажи милость, упаси в страшную ночь от кок-караков²».

¹ Джут — падеж скота от бескорыши в кочевых хозяйствах.

² Кок-карак — «синеглазый», прозвище волка.

А какая уж может быть милость, когда на каждую овцу приходилось по волку!

Отведя скот на ферму, Чамьян пригласил меня к себе.

Чисто и просторно в юрте у Чамьяна.

— Когда кочуешь со скотом по горным пастбищам, — в юрте, небось, удобно: легко перевозить, и ставь, куда хочешь... А то у меня в колхозе и дом есть, прошу побывать... Я теперь оседлый человек, — с гордостью приговаривал Чамьян. Мы пьем зеленый чай и продолжаем беседу.

— Расскажи, Чамьян, как ты стал великим охотником, — спросил я.

— Я не великий охотник, — ответил он, — я только ученик Улур-Хереля, лучшего в Туве охотника на волков. Если хочешь, я расскажу тебе о Хереле.

И Чамьян, не торопясь, подробно рассказал мне о памятной встрече.

— Это было два года назад, — начал он. — Ноябрь подходил к концу. И без того лютые морозы крепчали. Сохранить наш колхозный скот на зимних пастбищах становилось все трудней. Стужа, а, главное, — волки стали для скота тяжким бедствием. Неисчислимый урон нашему скотоводческому колхозу причиняли они. Я не отличался ни храбростью, ни умением охотиться. Куда мне было браться за волка!

Поздним вечером в том ноябре управился я со скотом. Ночью его сторожил бдительный Аккал — злая и сильная овчарка.

Как и сейчас, жена приготовила ароматный и сътный чай. Но мне тогда было не до чая. Одна мысль не давала покоя: что делать, как уберечь доверенный мне колхозом скот от волков?..

Морозы не так страшны. Не то, что в единоличном хозяйстве, когда сам замерзаешь и скот погибает. Уже осенью мы хорошо отремонтировали скотные дворы, утеплили, обмазали глиной. На моем участке заготовили полтысячи копен одека¹ и довольно кормов. В этом году мы косили машинами. Спасибо правительству, — снабдило наш колхоз и сенокосилками, и тракторами. И еще помогло — теплые дома построили вместо холодных юрт, но это было позже, а в тот год жил я в юрте.

Очаг в темной юрте горел ярко. Озабоченный, я подбрасывал и подбрасывал в него кедровые чурки; неторопливо беседовал с женой:

— Скот на ночь в тепле, — говорил я. — Да и с кормами не худо. Хорош подножный корм, накосил летом. От стужи, знаю, убережем. А вот как быть с волками, ума не приложу.

— Надо посоветоваться с добрыми людьми, охотниками, — ответила жена. — Хорошие охотники всегда помогут извести кок-караков.

Заливистый лай Аккала прервал беседу.

— Ой, волки опять, — запричитала жена, выбегая из юрты.

Я схватил свое дробовое ружье и поспешил к кошаре. Не добежав, выстрелил, но зачем, — сейчас сказать не могу. Помню только: огонь осветил кошару, а потом стало темнее, чем прежде.

¹ Одек — сухой навоз для подстилки скоту зимой.

В темную ночь звезды горят ярко, но вокруг ничего различить нельзя. Мороз, как острыми иглами, покалывал щеки. Тишину нарушал лишь Аккал. Лай его, слышный издали, постепенно приближался. Аккал, видно, убежал навстречу волкам, но один не вступал в сражение и отбегал к кошаре.

— Возьми, старуха, топор, — сказал я. — У меня один патрон остался. Заряжу последний, и мы встретим волков.

Не успели занять «позицию», как с удивлением увидели вблизи силуэты двух всадников. На всадников, значит, Аккал лаял. А я «по волкам» стрелял.

Быстро разрядил ружье, бросил за кашан¹, подумал:

«Может, не слышали выстрела». Хлопая тороками, путники трусцой подъехали к баглашу².

Привязав лошадь, один из них, отбиваясь от Аккала и не замечая меня, скрылся в юрте. Я последовал за ним. Поздоровались, угостили друг друга трубками. Гости стали спрашивать о здоровье, о состоянии скота.

Жена поставила перед гостями большой медный чайник, блюдо с мясом и в тарелочках поджаренное пшено. Выпив чая и закусив, мой собеседник Улур-Херель³ насмешливо взглянул на меня:

— В такую позднюю ночь в кого же вы стреляли? Неужто волки подходили так близко!

— На горе стая волков завыла, — уклончиво ответил я, — чтобы не подошли к стойбищу, решил выстрелить. Надоели, проклятые! Не поможете ли вы чем-нибудь?

Улур-Херель понял, что я стрелял с испуга и, усмехнувшись, спросил;

— А где, по-вашему, волки?

— Везде, по окрестностям валов. Каждую ночь повадились. А днем — на Кара-Шате. Вчеращей ночью у Караполовых трех овцам перерезали горло, у двоих вырвали пахи. Одну овцу задрали, оттащили на сажень от его юрты, съели и ушли.

— Куда, в каком направлении ушли?

— В сторону Кара-Шата. Там всегда их много бывает.

— Что же, попьем чайку, оденемся потеплее и двинемся на Кара-Шат.

— Как, сейчас, — ночью?

— Ну да, сейчас. Вы же «охотились» ночью! А мне тем более можно. Есть у вас пойманные лошади? — спросил Херель с прежней улыбкой.

— Лошади-то, конечно, есть. Но как же мы будем охотиться в темноте?

— Ваше дело, дорогой, оседлать лошадей, показывать дорогу. Остальное — секрет охотника.

— Можно и оседлать, но не шутите со мной. Ночью, да еще на волков!

— Какие могут быть шутки! — с неудовольствием воскликнул Херель.

— У вас лишь собака залаяла, а вы отстреливались. Это, может, и шутка, — ну, а мне шутить ни к чему.

¹ Кашан — изгородь.

² Баглаш — привязь.

³ Прозвище охотника Херела, буквально значит «охотник», умеющий подыгрывать волкам».

Я отправился за лошадьми примерно около полуночи. Холод усилился. С трудом различал в темноте привязанных на аркане лошадей. Приметив меня, вороные дружно заржали. «Куда, думаю, пойдем в такую ночь? Чего он, дурень, затеял!» Но тут же вспомнив, как насмешливо улыбался Херель, быстро оседлал лошадей.

Херель уже снарядился в дорогу. Спутник его спал мирным сном.

У Хереля одна из лучших марок охотничих карабинов, ружье с черным ложем.

Своего ружья я не взял. Зачем оно, если нет патронов, пусть валяется за кашаном.

Ехали молча, в тишине, нарушенной топотом и фырканьем лошадей да мерным постукиванием наших идиков о крылья седла.

— Здесь главная вершина? — чуть слышно спросил Херель, когда мы поднялись на верхушку Кара-Шата.

— Самая высокая гора тут, — ответил я.

— У подножья есть юрты?

— Три юрты есть.

— Значит, остановка наша здесь, — сказал Херель и спешился.

— Ну, слезай? — строго добавил он, видя мою растерянность. — Пора начинать охоту. Или думаешь на лошади ночевать?

— Ночевать — не ночевать, — обиделся я. — Но вашей охоты никак понять не могу. Никогда не видел, чтобы люди охотились ночью.

— Не беспокойся, дело простое.

Выколотив трубку о носок идика, Херель закурил. Потом передал мне свой повод. Приложив ладони к вискам и приседая, он долго вглядывался в горизонт. Показывая поочередно то на восточный, то на западный склон горы, он еще раз спросил, знаю ли я точно — есть там аалы и пасутся ли табуны.

Я ответил утвердительно. Херель вдруг по-волчьи завыл. Низко склонив голову, он прикрыл рот рукавом, чтобы смягчить звук, припадая к земле, продолжал выть жутко и протяжно: «у-у-у... а-а-а....у-у-у...»

Его вой ничем совершенно не отличался от волчьего. Сначала Херель выл в западном направлении. Через минуту он радостно прошелся:

— Слышишь, мои друзья откликаются!

Я прислушался. Где-то в нескольких километрах от нас в ответ завыла стая волков. Волки выли глухо и так же протяжно, тоскливо, как и Херель. Но они делали короткие промежутки: очевидно, прислушивались.

— Отвечают нам только пять волков, — уверенно сказал Херель. — Они недалеко, но гнаться нам за ними нет надобности...

Херель повернулся к востоку и снова, прикладывая руки ко рту, принялся выть на разные голоса.

В том, что волков много, я убедился скоро. Рука тянулась к бижеку¹, моему единственному оружию. Бижек большой, острый, им от волка можно оборониться.

¹ Бижек — нож.

— Постой, — вывел меня из тревожного раздумья голос Хереля. — Слышишь, эти тоже не забывают нас — откликаются. Они неподалеку, километрах в двух. Там три волка. Всего, значит, восемь.

— Но как ты подсчитываешь их? Ничего ведь не видно? — с удивлением спросил я.

— А голос? У каждого свой голос. Теперь можно поспать пару часов.

Мы отошли метров на двести. В седловине, поросшей молодыми лиственницами, для ночлега самое подходящее место.

— Что будем делать? — спросил я, привязав коней.

— Как что? Отдыхать будем. Только не проспать бы. Если проснешься раньше меня, на рассвете — разбуди непременно. Поползут по горам первые дозоры лучей, поскакут к укрытиям звери, а мы с тобой выберем удобное местечко. Пусть звери сами прибегут к нам.

Я хотел отвлечь Хереля от его намерения немного заснуть в окружении хищников, которых он успел накликать из темноты, и начал рассуждать о разных способах охоты, о выгоде самострелов, капканов, отравы и волчьих ям. «Лучше всего — облава, — заключил я. — Ни один не уйдет».

— Всякий способ хорош, лишь бы от него прибавилось волчьих шкур. А мы с тобой будем их подсчитывать на заре, завернувшись в негей¹.

Херель захрапел мгновенно, будто спал не вблизи от волков, а в своем доме.

Я попытался тоже уснуть, но сон отлетал от меня, как только смыкал глаза. Много раз вскакивал, видя перед собой, как наяву, стаи синеглазых. Представлялось, будто они сбежались со всех окрестных хребтов и подкрадывались, ползли на брюхе.

А спутник мой, словно дома, спокойно похрапывал. Ночь казалась мне бесконечно длинной, но вот утренняя зорька! На этот раз она была особенно светлой и радужной, как бы улыбалась пробуждавшейся земле.

— Вставай, светает! — тихо торопил я Хереля. Он проворно поднялся.

— Да, пора. Веди лошадей! — торопливо проговорил Херель, протирая глаза и пристально всматриваясь в даль.

Лошадей подготовили быстро. Занеся ногу в стремя, а другой еще опираясь о землю, Херель указал взмахом руки:

— На тот хребет отправимся. Садись. Торопиться надо.

Метрах в двадцати от намеченной позиции Херель остановил коня и ползком взобрался на пик. Я поспешил за ним.

— Ложись! — остановил он меня. — Наблюдай за той горкой.

Не медля ни минуты, Херель, как и ночью, наклонился к земле, прикрыл рот рукавом и завыл протяжно, жалобно. Не услышав ответа, Херель повысил голос, приподнимая голову, и вдруг оборвал вой.

Так и обмерло у меня сердце, когда совсем неподалеку послышался ответный вой кок-караков. Херель же, будто ничего особенного не происходило, спокойно взглянул в сторону, откуда доносился волчийвой.

¹ Негей — шуба из овчин с длинной шерстью.

— Видишь волков?

Я слышал звериный вой, но ничего не видел.

— Вон там три волка: один большой, сидит в ложбине у камня. Другой на бугорке лежит. А этот, третий, наблюдает из-за бугорка, одни уши торчат.

Я напрягал зрение, но как ни силился, не мог различить ничего.

— Приснились волки вам, — сказал я, — они воют где-нибудь далеко.

— Какой вы непонятливый. Они рядом же, тут, — Херель взял карабин, прицелился:

— Вот, смотри в прицел — теперь видишь?

Я припал к карабину, взял мушку в прорезь прицела. Рядом с камнем сидел огромный волк. Остальных и разглядывать не стал. Протянул Херелю карабин, сам плотнее прижался к земле, полушепотом попросил:

— Херель, дорогой, стреляй, а то убежит...

— Торопиться в таких случаях — нет ничего хуже. Всю охоту испортишь. Лучше подзовем их поближе. Они станут послушны, как овцы.

Припав к земле, Херель завыл еще более глухим тоном: «у-у-у...у-у-у...».

Потом, схватив карабин, отвел предохранитель и замер. Прошло несколько секунд. Не меняя положения и не шевелясь, Херель тихо ткнул меня в бок, показывая под гору. Я с трудом удержался, чтобы не пуститься в бегство. Матерый серый волк, отделившись от остальных, быстро приближался к нам. Время от времени он оглядывался. Пройдя с полкилометра, волк остановился, снова стал прислушиваться.

Тогда Херель наклонил голову еще ниже, почти к земле, и завыл.

На этот раз вой был совсем тихий, обрывистый, жалобно-тоненький.

Волк стремглав рванулсь к нам, уже не оборачиваясь. Расстояние сокращалось с каждой секундой, и вот он перед нами. Сейчас прыжок... но в этот момент раздался выстрел. Матерый несколько раз перевернулся через голову и закружил на передних лапах, издавая странный звук, похожий на собачий визг или рычание.

Я и о страхе позабыл, привскочил на корточки.

Раненый хищник продолжал кружить на месте. Почему он вертелся, надо узнать.

Внезапный сильный толчок вернул меня к действительности. Я едва не вскрикнул от боли и неожиданности, но сильная рука Хереля прижала меня к земле.

— Охотничек! Вспугнешь! — едва слышно прошептал он, не выпуская меня.

К нам скорой рысью мчались еще два волка: один впереди, другой несколько поодаль. Не обращая внимания ни на что, в том числе и на нас, передний волк галопом скакал к раненому. Шел он на визг, может быть, на запах крови, и только взбежав на пригорок, увидел раненого зверя. Волк остановился, видимо, обдумывая, как дальше быть, но тотчас последовал второй выстрел. Зверь отпрянул в сторону, приподнял голову, как-то рявкнул и, подрыгив ногой в предсмертных судорогах, успокоился.

Херель, держа карабин наизготове, зорко следил за третьим и последним хищником.

Тот крупными прыжками приблизился к первому волку, продолжавшему с воем и рычанием колесить на одном и том же месте.

Вдруг он решительно свернулся от нас и кинулся на другой хребет. Вероятно, заметил убитого волка. В недоумении смотрел я то на волка, то на стрелку. Выстрела не было, хотя дуло карабина медленно, как часовая стрелка, поворачивалось вслед за волком. Прошло две-три, может быть, пять секунд. Волк выскочил на хребет, повернул голову в сторону своих спутников. Раздался выстрел, и третий волк, опрокинувшись, покатился обратно в нашу сторону.

Херель встал, стряхнул с себя снег.

— Ну, теперь все... А ты не верил... Какой же ты колхозный скотовод, если не умеешь стрелять и охотиться, не истребляешь хищников? Много тысяч голов скота по Туве каждый год отдаем волкам! Мы с тобой отдаем. Подсчитай урон колхозным стадам?

— Ой, Херель! Вот это охота! Буду теперь истреблять волков! — в восторге кричал я. — Ты первый и лучший охотник во всей Туве.

Но Херель не понимал моего восхищения. Для него такая охота была обычным делом.

— И тебе надо было ружье взять, — сказал он. — Им лучше достреливать нарочно раненного волка. А то, видишь, карабином пришлось достреливать: шкуру немножко попортил...

— Как нарочно?

Херель хитро улыбнулся.

— Я нарочно стрелял в зад тому матерому, чтобы он сразу не издох, но и не мог уйти. Он рычал, сзыпал своих на помощь. Убей я его сразу, волки никогда не подошли бы. К тому же и внимание их не отвлекалось бы от нас. Вот в чем секрет ночной охоты на волков, дорогой мой!

И Херель весело, дружески рассмеялся, показывая свои белые, как снег, зубы.

Возвращаясь домой, довольный крупной удачей, а еще больше полученным уроком от умной и богатой по результатам охоты, я про себя думал: «Научусь охотиться так, как Херель, и буду охранять колхозное стадо от волков». Я понял, что Херель нарочно взял меня на охоту, чтобы научить охранять колхозное добро.

Спасибо Улур-Херелю!



Владимир Багай-оол

СЫН СВОЕГО ВРЕМЕНИ

Вокруг личности С. Тока в настоящее время возникают споры! Государственная, политическая, партийная и творческая деятельность С. К.

Тока проходила в конкретных исторических условиях, и в этом смысле он является продуктом той эпохи. Он сын своего времени. Об этом приходится говорить еще раз, поскольку новоявленные деятели всех мастей после апреля 1985 года рассуждают и дают оценку историческим личностям в сослагательном наклонении, с использованием слов «если бы», «кабы» и т.д. и т.п. Разумеется, сегодня легко рассуждать с высоты времени о недостатках, ошибках и упущениях тех или иных конкретно-исторических личностей. История не знает и не хочет знать сослагательного наклонения. Но одно бесспорно: С. К. Тока внес большой личный вклад в развитие экономики, культуры и литературы как до вступления Тувы в состав СССР, так и после. Невозможно переоценить личную роль С. К. Тока в организации всенародной помощи и поддержки в войне против немецко-фашистских захватчиков. Как видим, положительная роль С. К. Тока в тувинской истории очевидна. Что касается ошибок, то их не делает тот, кто ничего не делает.

За последние десять лет идут нападки и обвинение С. К. Тока во всех смертных грехах, начиная с культа его личности, участия в кровавых репрессиях 30-х, 40-х и начале 50-х годов и кончая экономическим и политическим союзом с бывшим СССР и Российской Федерацией, приведших к потере самостоятельности Тувы. Что сказать по этому поводу?

Массовые и необоснованные репрессии и беззакония в ТНР и Тувинской автономной области в 30-40-х и начале 50-х годов занимают особое место в нашей истории. Действительно, в республике была создана обстановка всеобщей подозрительности и недоверия людей друг к другу и к руководящим органам. Пострадали не только репрессированные «враги народа», но и члены их семей, родственники. Какова же была роль ЦК ТНРП и в первую очередь его Генерального секретаря С. К. Тока в этих событиях? Как они реагировали на произвол и незаконные меры, репрессии следственных и судебных органов? Прежде всего, следует отметить, что ЦК ТНРП одобрил «разоблачительную» деятельность органов МВД, слепо веря в правильность и законность действий органов следствия. В результате этого ЦК ТНРП оказался на поводу, в плену у руководства МВД ТНР. Руководящая роль ЦК партии сводилась не только к одобрению деятельности МВД, но и к политическому обеспечению действий административных органов. Руководство ТНРП считало, что в Туве действительно существуют «враги народа», ставящие задачи свержения революционного строя в Туве, занимающиеся шпионажем в пользу японского имперализма, предающие интересы тувинского народа. Вина Тока и руководства партии состояла в том, что они ослабили руководство органами внутренних дел, доверившись им. Доверие ЦК ТНРП к органам внутренних дел доходило до того, что ЦК получал предварительное согласие МВД на намечаемый состав ЦК, кожуунных руководящих органов, на лиц, отправляемых на учебу в Коммунистический университет трудящихся Востока, передовиков производства, даже будущих участников съемок в кинофильмах. В свою очередь, руководящие ра-

ботники МВД ТНР старались возвысить роль, влияние С. К. Тока в их деятельности. В докладе «15 лет МВД», например, говорилось: «Вождь тувинского народа и партии тов. Тока, как истинный выразитель чаяний и желаний своего народа, уделял и уделяет максимум своего внимания работе МВД. Нужно прямо сказать, что нет ни одного серьезного дела в МВД, которым бы тов. Тока не интересовался и не давал бы своих правильных и всеобъемлющих революционно-партийных указаний». Таким образом, С. К. Тока, будучи уверенным в правильности концепции руководства МВД о наличии контрреволюционных организаций в Туве, требовал от них привлечения к ответственности «врагов народа», на это настраивая и партийную организацию республики.

По инерции репрессии продолжались и после вступления ТНР в состав СССР. В Тувинской автономной области характерным было так называемое «Сут-Хольское дело» 1952 года, которое закончилось полным провалом для его инициаторов. Это, по сути, завершающее дело в истории репрессий в нашей республике. Именно политическое руководство в проведении карательных акций в тот период в отношении невинных людей является самой большой трагической ошибкой и виной Генсека ЦК ТНРП С. К. Тока. Это пятно невозможно убрать из его биографии. Но главная, непосредственная ответственность за массовые и необоснованные репрессии — на тогдашних органах внутренних дел ТНР и их руководящих работниках. Не могла не оказать влияния на тувинские репрессии и обстановка в соседнем СССР, в котором вовсю работал маховик репрессий.

Иногда спрашивают: был ли культ личности С. К. Тока? В период существования ТНР до 1944 года в определенной степени да. Отвечая, таким образом, на данный вопрос, необходимо отметить, что культ его личности копировал опыт строительства социализма в СССР. По опыту Советского Союза в ТНР сложилась, в конце концов, однопартийная система, формальная демократия, применялся административно-командный метод в управлении страной. Другими словами, сталинская модель в тувинском варианте, тот же вождизм. После разоблачения «контрреволюционной» деятельности «врагов народа», группы чурмидажинцев и данчаевцев, была возвеличена роль С. К. Тока в строительстве новой жизни. Появились многочисленные хвалебные оды, посвященные ему. Госхоз «Үюк», стация «Тайга», ряд улиц в кожуунных центрах были названы его именем. Появились песни и стихи в честь С. К. Тока. Вместе с тем у С. К. Тока не было в личном характере тех отрицательных качеств, какие были, например, у И. В. Сталина: грубоść, нетерпимость к мнению других, нелояльность, невнимательность, капризность.

С. К. Тока был широко известен и за пределами Тувы. Пользовался С. К. Тока искренним уважением и популярностью среди русского населения. Это могут засвидетельствовать старшее и среднее поколение русских людей. Отличительной чертой С. К. Тока в кадровой политике было игнорирование земляческих, кровнородственных отношений и национальной принадлежности. В людях он видел прежде всего деловые качества и талант.

Что же касается обвинений против Тока о союзе с бывшим СССР и Российской Федерацией, приведшем, в конце концов, к потере самостоятельной государственности Тувы, то не буду вступать в дискуссию о механизме и процедуре вступления ТНР в состав СССР. Это отдельный, сложный вопрос, требующий специального рассмотрения. Но следует отметить, что стремление большинства тувинского народа к вступлению в состав СССР и России явилось закономерным итогом всего исторического развития Тувы, многовековых исторических связей тувинцев с народами России и, прежде всего, с русским народом. Нелишне отметить огромный авторитет Советского Союза к концу Великой Отечественной войны. Это явилось той огромной притягательной силой, которая побудила большинство тувинского народа к добровольному, исторически обусловленному всем ходом его развития вхождению в состав СССР и Российской Федерации. Разумеется, нельзя исключать возможность дальнейшего самостоятельного существования и развития ТНР как суверенного государства. Но, как видим, история распорядилась иначе. Принятие ТНР в состав СССР и РСФСР открыло новый этап в жизни и истории тувинцев, значительно ускорило социально-экономическое и культурное развитие республики и народа. Разумеется, были допущены и большие ошибки, прежде всего в экономике. Интеграция экономики республики в советскую и российскую экономику привела к местной перерабатывающей и кустарной мелкой промышленности, что, в конечном счете, привело в определенной степени к положению республики как аграрно-сырьевого приданка союзного и российского центров. Это привело и к значительной дотационности бюджета республики. Все это особенно ощущается сейчас, в условиях перехода к рынку и рыночным отношениям. Анализировать и давать оценку прошлому и его политическим деятелям необходимо. Но на это надо иметь как минимум моральное право. В этой связи возникает сакральный грибоедовский вопрос: «А судьи кто?». Когда бывший социалистический строй анализируют и обвиняют те люди, которые действительно пострадали от этого строя в результате необоснованных репрессий, это еще понятно. Но когда этот строй критикуют и предают анафеме бывшие секретари обкомов, называя его тоталитарным режимом, сравнивая его ни больше ни меньше, чем с фашизмом, это вызывает у меня лично чувство протеста. А ведь этих критиков он поддерживал, как мог, и они бок о бок с ним работали. Есть среди них и бывшие сотрудники органов государственной безопасности. Возникает вопрос: имеют ли они моральное право критиковать, а тем более осуждать деятельность С. К. Тока? Почему они молчали в свое время? Ведь эти люди заговорили об отрицательных сторонах его деятельности лишь после его смерти и особенно с началом перестройки.

Некоторые противники С. К. Тока договаривались в свое время до того, что надо сносить его памятники и переименовать совхоз, улицу и школу, названные его именем. Тем самым они становятся на путь вандализма и слепой ненависти, уподобляясь язычникам. Неужели многострав-

дальная история их ничему не научила? Мы ведь это уже проходили после Октябрьской революции. В этой связи хотелось бы им напомнить старую мудрость: «Если выстрелишь в прошлое из пистолета, то прошлое выстрелит в тебя из пушки». Надо уважать свою историю. У всех народов, в том числе и у тувинцев, не принято плохо говорить о мертвых. Некоторые деятели, в том числе и те, кто работал в свое время с Тока, нарушают, к сожалению, эту народную заповедь. Пусть это останется на их совести. Пройдут годы, десятилетия. Люди со временем забудут имена всякого рода критиканов и критиков С. К. Тока и его деятельности. Но имя С. К. Тока как неординарной, противоречивой исторической личности в тувинской истории (да и не только) останется жить еще долго.

*

Виктор Тока **МОЙ ОТЕЦ**

За двадцать лет, прошедших после смерти отца — Салчака Тока, — о нем написано в печати, пожалуй, больше, чем при его жизни. В основном негативные статьи и выступления «созрели» к концу восьмидесятых годов. Читая эти статьи и слушая выступления по радио и телевидению, кажется, что все беды исходят от одного человека. Сегодня это легко. Нужно только подогнать историю под сегодняшний день. Слава богу, прошло двадцать лет, можно вспомнить все личные обиды и свести счеты с умершим человеком, который для меня является не только отцом, но и большой личностью. Думаю, что не только для меня.

Совсем мальчишкой я часто ездил с отцом на рыбалку, на охоту, или он просто брал меня в командировку. Однажды я хотел бросить кусочек хлеба в костер. Отец страшно рассердился: «Ты знаешь, сколько труда затрачено на этот хлеб? Сколько аратов еще живет в голоде и нужде? А этот хлеб подберет мышка или птичка, на худой конец достанется муравью».

На охоте отцу приходилось сталкиваться с браконьерами. Те, конечно, при виде его терялись. Отец строго выговаривал им, разъяснял сроки охоты. В райцентры, в правления совхозов он приезжал, как правило, неожиданно. Вначале объезжал юрты, отдаленные стоянки. Все его знали, отношение к нему было искреннее.

Любил он охоту на волков. «Как увижу след волка, так трясет меня. Пока не уничтожу его, не успокоюсь!» Эти слова я запомнил, хотя был маленьким. В то время, в пятидесятых годах, в Туве было очень много волков. Почти из каждой командировки в районы зимой отец привозил одну-две шкуры убитых волков. Он научил меня пользоваться спиннингом, стрелять. На охоте был азартным, но, как истинный тувинец, знал меру. Добыв одну косулью, например, командовал: «Все! Едем домой». От него

я научился готовить рыбу — как шашлык, заворачивать в мокрую бумагу и класть в золу костра. Стрелял он замечательно, у него была трофеинная немецкая трехстволка “Зауэр”, подаренная ему на фронте. На охоте признавал только пеший вид, загоном пользовался редко. Говорил: «Лучше всего, когда сам выследишь зверя, подойдешь и добудешь».

До сих пор помню чудесные рассветы на рыбалке у реки. В те времена рыбы было полно. Думаю, что если бы он был жив, то не допустил бы того, что сейчас творится с Бий-Хемом, который летом превращается в сточную канаву от Сыстыг-Хема, благодаря «стараниям» старателей, горе-добытчиков золота. Мне кажется, что на территории Тоджинского района, нашей жемчужины, надо запретить всякое ковыряние в земле, воде и воздухе. Иначе наши потомки нас не простят. Чистота природы намного дороже любого золота.

В семье царила атмосфера скромности во всем. Помню, до 5—6-го классов мы ходили в понравившихся нам фуфайках. Они теплые и легкие. А в пальто — не ходили. Не хотелось отличаться от других. Дома нам разрешалось все. Но наказания были — встать в угол. В 60-е годы мы с братом Володей учились в Новосибирской консерватории. Отец посыпал нам по 60 рублей в месяц. Стипендии мы не получали. Приходилось прирабатывать. И свыше этих 60 рублей отец принципиально не посыпал ни копейки. За годы учебы я в магазинах Новосибирска не видел в продаже мяса. Приезжая в Кызыл на каникулы, видел его изобилие. Как-то я спросил об этом отца. Он ответил философски: «Тувинский человек не может жить без мяса!». Эту фразу я запомнил надолго. За этим шутливым выражением стояла борьба с Центром, который хотел вывозить мясо из Тувы за счет поставок.

Как-то вечером на семейном ужине я спросил отца: “Папа, а ты слышал анекдот про секретаря обкома партии?” Он удивился: «А что, есть такой?» Я набрался нахальства и рассказал: “Второй секретарь заболел и ушел на пенсию. Первый секретарь обкома вызывает третьего и говорит ему: “Хочешь быть вторым?” Третий с готовностью отвечает:

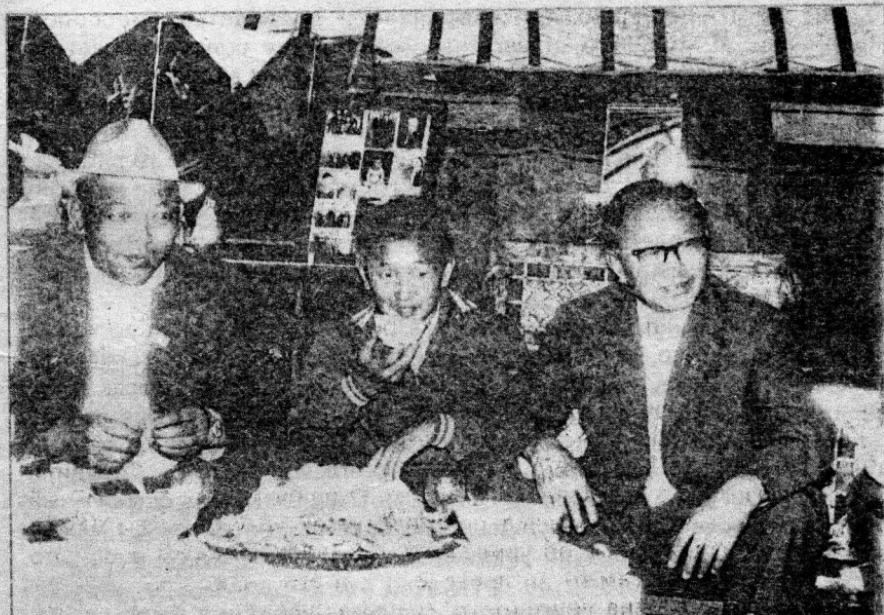
— Хочу!

Тогда первый говорит ему: “Вот тебе рубль, ищи третьего!” Отец долго смеялся. Не надо забывать, что это происходило в 70-е годы. Потом мне говорили, что этот анекдот отец многим рассказывал в обкоме. Он вообще много знал баек, анекдотов, прибауков. Люди, знавшие его, отмечали тонкое чувство юмора. Он хорошо, можно сказать, досконально, знал национальные обычай, ритуалы. Напрасно пишут, что все это преследовалось. Как ни странно, в «застойное время» больше уделялось внимания культуре в полном смысле этого слова. Театр, музыка, художественная самодеятельность были на высоте. А в создании симфонического оркестра, первого профессионального коллектива Тувы, отец принял самое большое и горячее участие. Так в Туве появилась симфоническая музыка. В 50-ые годы в Кызыле работали замечательные педагоги-музыканты: Л. Шевчук, Близнюк, Кайдан и другие. Из нашей семьи трое учились в музыкальной школе: Аня — старшая сестра, Володя и я. Отец всячески поддерживал наше увлечение музыкой. Профессиональными музыкантами стали Володя и я.

Отец вообще очень серьезно относился к искусству, не пропускал ни одной премьеры в театре. Как правило, на всех премьерах в первом ряду сидело все бюро обкома. Он очень помогал начинающим профессиональным артистам, художникам и музыкантам. Да и сам он был очень музыкален. Пел чисто, интонировал верно. Подозреваю, что он имел врожденный абсолютный слух. И когда мой брат задумал крупное произведение, где использована народная мелодия, то заставил отца сесть около фортепиано и спеть «Конгургай», точно зафиксировав мелодию в нотах. А когда эта фантазия для фортепиано и оркестра звучала в зале и подходило это место, то отец толкал своих соседей-слушателей: мол, это я нашел ему эту мелодию.

Отец был очень дисциплинированным человеком. Вставал в семь утра. Сорок минут интенсивной зарядки. Обязательно обтирание смоченным в холодной воде полотенцем. В последние годы жизни каждое утро — укол инсулина. В командировках он сам научился себе ставить уколы. Диабет... Он сидел на строгой диете. Никакого сахара, картофеля, мучного. За всю жизнь он не выкурил ни одной сигареты. А когда узнал, что сыновья покуривают, иногда с высоких совещаний в Москве привозил заграничные сигареты. Знатоком табака не был, а выбирал по яркой обертке.

В марте 1973 года у него случился приступ — обострение диабета. Повезли его в Москву. 11 апреля я поехал на стажировку в оркестр



Салчак Тока с сыном Виктором в Монголии. 60-е годы.

Центрального радио. Но стажировки не получилось — весь месяц пришлось провести у постели отца. Когда он потерял сознание, лечащий врач предупредил: "Шансов никаких — обе почки отказывают". Иногда в бреду отец произносил: "Все равно моя маленькая Тува будет процветать!" Тут, конечно, не удержать слез.

Я часто задумываюсь: почему мы о людях яростно начинаем судить много лет спустя? Причем лидерами критики выступают те же аппаратчики, бывшая номенклатура, экс-министры, журналисты с большим партийным стажем. Это-то многое для меня и разъясняет. Их почему-то одних и слышно. А остальное большинство при личных встречах возмущается, сочувствует. Но против моды не пойдешь. И пусть история и время все расставят на свои места. Давайте не будем делать поспешных выводов.

И последнее: у нас дома была большая библиотека. Отец много выписывал литературы как член Союза писателей. В детстве он мне посоветовал прочитать «Мартина Идена» Д. Лондона. Эта книга потрясла меня. Для меня, как и герой Джека Лондона, отец навсегда останется личным примером доброты, благородства, мужества и справедливости...

*

Владимир Тока **ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ОТЦЕ**

О нем много написано противоречивого в средствах массовой информации. И хорошего, и негативного. Не буду полемизировать с некоторыми «писателями», а хочу поделиться своими воспоминаниями.

Ни для кого не секрет, что раньше к первому секретарю обкома попасть на прием было гораздо легче. Не было этой «бюрократической лестницы», да и, откровенно, многие люди встречались с ним просто так, на улице, в магазине, столовой и даже в городской бане, куда мы всей семьей ходили в субботу. Никому и никогда он ни в чем не отказывал, а наоборот, принимал самое заинтересованное участие в человеческих судьбах. Расспрашивал о быте, здоровье, а если в селе, то о том, сколько скота, сена...

Конечно, ему было трудно работать. Время такое было... Сколько я помню свое детство, мне очень редко приходилось с ним встречаться, поскольку он всегда по районам. Но и в те редкие минуты, когда наша семья вместе, для меня это счастливейшие минуты жизни. В нашем доме, по Красных Партизан, 13, всегда было много народа. С утра до вечера, то из обкома, то из районов, а то и просто его сослуживцы приходили в гости. Всегда было шумно и очень весело. Отец был очень остроумный и веселый человек. В непринужденной беседе он ловко, как бы между прочим, вставлял вопросы об урожае, поголовье скота, да и вообще о жизни народа. Хотя сам-то он прекрасно все это знал.

Часто он просил меня поиграть на пианино народные песни, а сам наигрывал на балалайке. На слух он не жаловался.

Гости подпевали, кто как мог. Жили мы по тем временам просто. В доме — самое необходимое. Отец был человеком неприхотливым. По утрам обливался холодной водой, делал зарядку и, наскоро перекусив, шел на работу (пешком!). По воскресениям, если свободен, то обходит с утра каждую «обкомовскую дачу», сбитую из простых досок, и зовет всех на волейбольную площадку. (Очень много приезжало из города).

Не могу не упомянуть о том, что он азартный охотник и рыбак. Никогда не браконьерствовал. Брал столько, сколько нужно для человека. Но всегда был непримирим к волкам...

Помню случай из далекого детства, когда отец взял нас, меня и Витю, на охоту. В mestечке Шинаты мы заметили волка... Погоня продолжалась всю ночь, и под утро мы его потеряли. Стали возвращаться в Кызыл. Выехали на проселочную дорогу и вдруг видим волка. Волк посреди дороги, и мы в растерянности, не знаем, что делать, и отец странно молчит, думая о чем-то своем... Мы в замешательстве...

Но волк решил все проблемы сам. Измученный, загнанный, раненый зверь бросился на машину. Изумленные, удивленные, мы выскочили из газика. Перед нами предстала такая картина. Разъяренный волк, прокусив номерной знак газика, околел...

Конечно, это маленький эпизод из жизни, но для нас это символично. Бережнее нужно относиться и к зверю, и к человеку. Не загонять, не добивать, а повернуться лицом к нему.

И жить нам всем единой семьей.

*

Vасилий Кривдик

О ЧЕМ ПРОМОЛЧАЛ КАВАЛЕР СЕМИ ОРДЕНОВ ЛЕНИНА...

В нынешнем году жители Тувы отмечают две крупные даты: 80-летие со дня образования Тувинской Народной Республики и 100-летие со дня рождения писателя, партийного и государственного деятеля Салчака Тока. Родился Салчак Калбакхорекович в 1901 году. До 1921 года он батрачил у русского кулака. После свершения народной революции работал курьером в Правительстве ТНР. С 1925 по 1929 годы учился в Коммунистическом университете трудящихся Востока. По 1932 год был секретарем, а с 1932 по 11 октября 1944 года, когда Тува добровольно вошла в состав России, Генеральным секретарем ЦК Тувинской народно-революционной партии. По 1973 год, до последних дней жизни, работал первым секретарем Тувинского обкома КПСС. С 1945 по 1973 год Салчак Тока избирался депутатом Верховного Совета СССР.

Тайну, о которой не стал рассказывать в ~~своей автобиографической~~ трилогии «Слово автора» Лауреат Государственной премии СССР (1951г.), Герой Социалистического Труда Салчак Калбакхорекович Тока, через 28 лет после его смерти поведала журналисту кызылчанка Матрё-

на Лифантьевна Штрейба (Лубошникова). Оказалось, что кавалер семи орденов Ленина, имя которого связано не только с прогрессивными переменами в Туве, но и с периодом репрессий, не только крещен в православной церкви, но и сам был крестным отцом русской девушки Миладоры. В этой же церкви он был обвенчан с приёмной дочерью старообрядца Лифантия Лубошникова Анной.

...Матрена Лифантьевна прожила длинную и трудную жизнь. Но, несмотря на возраст, память ее хорошо запечатлела рассказы и песни родителей, события тех далеких дней, имя первой учительницы... Семья крестьян-старообрядцев Лубошниковых сбежала в Сибирь, спасаясь от гнета саратовских помещиков. В конце прошлого века, предположительно в 1898 году, Лубошникovy из-под Белого Яра, что под Минусинском, перебрались в Туву. По берегам Малого Енисея расселились тогда несколько семей Лубошниковых.

Дом Степаниды и Лифантия, поселившихся в Медведевке, был богат детьми — Еким, Мойсей, Матрена, Груня, Фатей, Яков, Федосья. Матрена родилась в 1914 году. Семья жила в достатке, имела лошадей, свиней, овец, несколько коров. Занимались земледелием: сеяли пшеницу, овес, ячмень. Батраков у Лубошниковых не было, поэтому детишкам приходилось работать в поле вместе с взрослыми с ранних лет. Еще солнце не всходило, а хозяин был на ногах. Он запрягал пару лошадей и отправлялся пахать землю. С собой он брал в поле и семилетнюю Мотрю, которая, сидя верхом, правила «головой коня», а отец — шел за плугом.

Вскоре мать умерла, и отец привел в дом мачеху — Домну Дмитриевну Потылицину. Лифантий Антипович привез ее из Знаменки. Ее мужа Савелия, по слухам, убили партизаны. В дом Лубошниковых она пришла с двумя детьми. Хозяйство Лифантия с приходом новой жены окрепло; она привела семью благородных оленей — маралов, коней, коров, овец.

— В 1921 году я пошла в школу, — вспоминает Матрена Лифантьевна.
— На всю школу была одна учительница, Анна Григорьевна Кокусова. Позже, года через три, в Медведевку приехали еще две учительницы — Маргарита Николаевна и Вера Григорьевна, фамилии их запамятовала. Окончила три класса...

Прошу Матрёну Лифантьевну рассказать о Салчаке Тока.

— Тока был старше меня лет на 10-12. Родился он в Мергене. Семья жила без отца и очень бедно. Старшая сестра у него была высокой, стройной и очень красивой девушкой. Ее взял в жены русский мужик, который вскоре умер. Мать, чтобы прокормить остальных детей, ходила по селениям и просила милостыню. Потом она отдала сына в батраки к Лубошниковым, которые жили в Дерзиге. Тока подружился с их сыном Агеем...

Здесь уместно привести несколько цитат из автобиографической трилогии «Слово арата». Автор, получивший в 1951 году за это произведение Государственную премию СССР, писал: «Мать Агея называла меня «сынок», кормила, как члена своей семьи, обула в новые бродни. Через год я стал работать, как все крестьянские дети». И дальше: «У Лубошни-

ковых я прожил бы много лет. Думаю, навсегда остался бы у них, как родной. Но Агею пришлось уйти из деревни в Кок-Хаак. Я не спрашивал, что заставляет его уходить из Дерзига, где он совсем недавно построил новую избу. Все же теперь догадываюсь, что это произошло по вине Чолдак-Степана, который прибирал к рукам все больше земель на Дерзиге и за это возил подарки салчакскому нойону». Нойонами в Туве называли местных князей.

— Позже, когда Лубошникова уехали из Дерзига, Тока перешел батрачить к зажиточному Степану, кажется, Михайлову, которого тувинцы, а позже и все русские, называли Чолдак-Степаном, Коротким Степаном, — продолжает свой рассказ Матрена Лифантьевна. — Он действительно был маленьким, широкоплечим и толстым. Люди в то время говорили, что Тока был работящим, проворным, умело ходил за скотом, поэтому Чолдак-Степан относился к нему хорошо...

— Позвольте, Матрена Лифантьевна, но в «Слове арата» Чолдак-Степан показан извергом, который издевался над батраками...

— Время такое было. Возможно, так надо было писать. К тому же по деревне в то время шел разговор о лошади Степана, которую Тока отдал партизанам. После этого был скандал. Я же говорю то, что помню. Вспоминается, что Тока всегда был одет лучше своих русских сверстников: новые сапоги, беленькая косоворотка. Он хорошо говорил по-русски. А вскоре он принял русскую веру — его окрестил в православной церкви зять Чолдак-Степана, священник Тит Прокофьевич Иванов. Помню, что Тока зачастил из Даниловки в Медведевку. А вскоре сыграли свадьбу — женился он на моей сродной сестре Анне Савельевне Лубошниковой. Венчал их в церквушке в Медведевке тот же священник. Позже в этой церкви была аптека...

— Но в «Слове арата» ни слова нет об Анне, там говорится о любви к девушке Вере, которая вышла замуж до того, как Тока уехал на учебу в Москву...

— В Медведевке и сейчас живы старики, которые могут подтвердить мои слова. Токе тогда дали хорошую пролетку, корову, овец, плуг, борону, домик купили. Мог работать на земле. Но время было смутное, хозяйство он вести не захотел, а уехал в Хем-Белдири — Слияние Рек, так называли тогда Кызыл. Там он служил в армии, работал курьером в Правительстве ТНР, а потом отправился на учебу в Москву. Анна же родила дочь, которая заболела и умерла. Тока привез в Кызыл жену-москвичку — Шуру. Анна же всю жизнь прожила одна и умерла в Кызыле. Чем руководствовался Тока, когда писал книгу — одному Богу известно, он ему и судья. Было время борьбы с религией, а Тока стал коммунистом. Хотя он не только крестился сам, но и был крестным отцом моей племянницы — Миладоры Федоровны — дочери моей сестры Федосии, которая была замужем за Яковом Осердцовым, а позже за Федором Ашихминым, от которого родила Миладору. Миладора жила бедно, но Тока так ни разу и не вспомнил о своей крестнице. Она к нему тоже за помощью не обращалась. В Кызыле сейчас живут ее дети. Сал-

чак Колбакхорекович вскоре развелся и с Шурой. Он женился на Хертек Амырбитовне Анчиме, которая хорошо пела, была на одиннадцать лет моложе Тока. Она долгое время работала заместителем Председателя Совета Министров Тувинской АССР, сейчас живет в Кызыле.

Матрена Лифантьевна помнит, как в Медведевку приезжали партизаны во главе с Кочетовым, как крестьяне встречали их хлебом-солью. Партизаны остановились в селе и помогали сельчанам косить сено. Помнит она, как работали до седьмого пота. В 11 лет она уже сама боронила землю, в 13 ходила за плугом. По праздникам крестьяне пили бражку, танцевали, пели старинные песни: «Верба», «И туда гора, и сюда гора», другие. Некоторые из них она поет и сейчас...

Когда Матрене исполнилось 14 лет, жизнь с мачехой не заладилась, и она приехала в Кызыл. Устроилась служить к Зое Петровне Абоносимовой, которая работала бухгалтером в Кызылторге и приняла ее как родную дочь. Хозяева были добрыми, но Матрене надоело всех обстирывать, ухаживать за чужими детьми, и в 16 лет она вышла замуж за кочегара пароходства Петра Глушкова. Квартиру снимали, а муж постоянно курсировал по Енисею — от Кызыла до Минусинска. Вскоре переехали в Шагонар, затем на присык в Эйлиг-Хем. Муж работал милиционером на присыке, а Матрена — истопником в бане. Однажды в поленнице дров она нашла спрятанные кем-то самородки золота. Отдала находку мужу, а он сдал государству. В 1933 году у них родился сын Гена. Муж “заглядывал в рюмку”, и жизнь с ним стала невыносимой. В 1936 году Матрена развелась, переехала в Кызыл. Сына приходилось воспитывать одной.

— Подала в суд на алименты, — грустно улыбается Матрена Лифантьевна. — Суд присудил пьющему мужу выплачивать на ребенка 25 рублей в месяц. Идем после суда, а Петр говорит:

«Денег на курево нет. Может, Матрена, дашь на пачку папирос». Отдала я ему последнюю трешку. От него так и рубля не получила...

В те годы одним из первых парикмахеров в Кызыле был Маркел Яковлевич Осердцов, опять же племянник Матрены Лифантьевны. Позже он подался в артисты. Матрена и заступила на его место в 1938 году. Подстригала мужчин, делала прически женщинам. Через четыре года окончила в Красноярске курсы «дамских» мастеров и стала делать зашивки. И только в 1963 году, когда поехала отдыхать в Москву, сама зашла в парикмахерскую и попросила девушек научить делать «химию».

Матрена Лифантьевна гордится тем, что она «приводила в порядок» головы больших начальников. Два раза в неделю она брила и подстригала самого Тока. Но еще больше она гордится своим вкладом в Победу. В годы войны Кызыл был разбит на двадцатидворки. Их было более 30. И она стала председателем одного из подразделений. Женщины собирали подарки для фронта, вязали носки и варежки, шили теплые рукавицы, сдавали деньги в помощь фронту.

Двадцатидворка Матрена заняла второе место в городе. Сама председатель сдала свою легкую меховую шубу из мерлушек. К ней прило-

жила письмо, в котором указала, что шуба эта предназначается медсестре, чтобы та не замерзла в лютые морозы в окопах и вытаскивала из под огня раненых бойцов... О дне Победы Матрена Лифантьевна узнала по радио. Схватила бутылку спирта — он тогда выдавался парикмахерам для дезинфекции вместо одеколона — и побежала в горисполком. Там уже был праздник. Пили, плясали, пели до утра...

Матрена Лифантьевна считает, что жизнь, несмотря на шероховатости и потерпости, удалась. У нее была любимая работа: 35 лет она делала красивыми многих женщин в Кызыле, и те уважали ее, были ей благодарны, помнят о ней сейчас. За свой труд она награждены Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Тувинской АССР, ей присвоено звание «Заслуженный работник бытового обслуживания Тувинской АССР». Четырежды избиралась депутатом Кызылского Совета народных депутатов.

После войны она встретила фронтовика Василия Федоровича Штрейбу, у которого на груди было 12 боевых наград. С ним она прожила 45 лет. Он работал водителем и помогал ей растить детей от первого мужа. Ее сын Геннадий Петрович Глушков окончил летное училище, работал бортинженером в Кызылском авиаотряде, летал на Ил-18 в Красноярске; после 25 лет работы ушел на пенсию. Сейчас он трудится в лаборатории Высшего технического училища при Красмаше. Дочь Валентина Петровна Буймова работает парикмахером. У Матрены Лифантьевны Штрейбы (Лубошниковой) четыре孙女, пять правнука и один праправнук.

Жизнь прожить — не поле перейти. Свою длинную жизнь она прожила не зря. Ей есть что вспомнить. Есть кому помнить о ней.

*

Бронтой Бедюров

СЫН ТУВИНСКОГО НАРОДА

С. К. Тока — это выдающийся сын тувинского народа.

Чем крупнее личность, тем противоречивее оценки, присутствует, несомненно, субъективизм. Счастье для Тувы, что у руля власти находился сорок лет такой незаурядный мыслитель и человек, сын своего времени. Он обладал большим государственным умом и дипломатическим талантом. То, чего он сумел добиться для Тувы, на правах автономной республики, — это благо. С. К. Тока обвиняют в репрессиях, но это идет не только от него, это ошибки всей системы тоталитаризма. Удивительно, что он сам сумел уцелеть в этих условиях. В Бурятии, на Алтае такие люди были уничтожены. «Слово арата» была одной из моих первых книг (на алтайском языке). Роман дал всем читателям СССР яркое представление о малоизвестном народе. Возможно, он пожертвовал своим

талантом, а мог стать выдающимся писателем. Расцвет тувинской государственности — результат активной деятельности С. К. Тока. Оценки личности извне и изнутри — фактор субъективный. Осмыслить, дать объективную оценку этой крупной личности нужно для потомков, молодежи. Кто помнит живую связь с предками, тот благороден. Имя Тока будет жить долго.

*

Чимиза Даргын-оол

«ЧТО ВЫ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ: НАГРАЖДЕНИЕ ИЛИ РАССТРЕЛ?»

На один час уютная квартира Пальмбахов в старом пятиэтажном московском доме на улице Бойцовская стала местом для сбора маленького тувинского землячества. Здесь московские тувинцы встретились с сыном профессора Александра Пальмбаха (1897—1963), одного из создателей тувинской письменности, 100-летие которого отмечалось в 1997 году. С Тэмиром Александровичем и его семьей пришла познакомиться и пообщаться делегация во главе с Чимит-Доржу Ондаром (Ассамблея народов России) и Владимиром Серяковым (30 лет проработавшим в Туве, возглавлявшим кабинет министров республики; сейчас — заместитель руководителя Постпредства Ханты-Мансийского АО).

На долгий обстоятельный разговор мы не могли рассчитывать, так как Тэмир Пальмбах болен, причем серьезно — рак горла. Ему тяжело говорить, он не выходит из дома. Зная о своей серьезной болезни, хозяин дома держится с большим достоинством и сожалеет только о том, что он не может работать над книгой мемуаров. Написано только начало введения книги, которую он уже не надеется дописать. Действительно, ему, как сыну человека, который стоял у истоков тувинской письменной культуры и государственности, самому много видевшему, есть что сказать. Было видно, как Тэмир Александрович рад приходу гостей и как много ему хочется рассказать. Но время от времени наш разговор прерывался, так как ему приходилось отдыхать. Это не было традиционным интервью для прессы, это была встреча людей, которые стремятся сохранить историю Тувы, поговорить о ней и поддержать друг друга.

Имя Тэмир получил от тувинского слова «железо». Что примечательно, родился он в Кызыле в деревянном доме, на месте которого сейчас стоит обелиск «Центр Азии». Прекрасно помнит здесь свое детство, юность (он жил в Туве до 18 лет) и даже несколько обиделся на наши осторожные расспросы: «А помните ли вы?..» Рассказывал о кызыльском пароме через Енисей, который функционировал с помощью 13 лодок, расположенных по ширине реки. По ним пролегал длинный трос парома. Говорил о Салчаке Тока, с которым вместе работал Александр

Пальмбах. Их могилы сейчас расположены на кызылском кладбище неподалеку друг от друга. Тэмир Александрович показал фотографии 1997 года, когда он приезжал на перезахоронение отца (могила была перенесена со старого кладбища на новое), и тихо заметил: «Как в жизни были рядом, так и в смерти».

Научное изучение тувинского языка для разработки основ письменной культуры не было единственной работой ученого А.Пальмбаха в республике. Он редактировал, переводил книгу С.Тока «Слово арата». При этом делался двойной перевод: с тувинского на русский язык, потом с русского — на тувинский. Так сложилось, потому что книга была написана не на литературном тувинском. Только после того, как был сделан первый перевод — на русский язык, этот текст уже послужил для составления литературного варианта книги на тувинском языке.

Блестящему филологу, знавшему много европейских и восточных языков, выучившему тувинский язык в совершенстве, приходилось работать и с государственными документами молодой республики. В те времена при написании писем Сталину необходимо было очень четко и взвешенно составлять короткие письма на одну страницу. Вождь народа не любил длинных, пространных заявлений, а его недовольство стоило дорого. Тока ухитрялся писать по-тувински так, что Пальмбах видел в письме сразу несколько толкований. Поэтому он говорил товарищу: «В этом тексте есть сразу несколько смыслов, на которые могут последовать разные реакции. Один смысл повлечет за собой награждение, второй — будет воспринят нейтрально, третий — приведет к наказанию, четвертый — к расстрелу. Какой предпочитаете вы?» И соответственно текст совместными усилиями переписывался с большей тщательностью: нужный смысл переводился на русский язык и только потом составлялся тувинский текст.

Мнение Тэмира Александровича о работе отца и Салчака Тока было настолько определенным, что вопрос Чимит-Доржу Байыровича не заставил его даже задуматься:

— А давал ли на самом деле Салчак Тока повод для репрессий, грозил ли ему когда-нибудь расстрел?

На это прозвучал сразу ответ:

— Нет. Тока, как и мой отец, был тружеником. Несмотря ни на что, их энергия и активность не могла не учитываться Москвой. Ведь партийное руководство понимало, что поднятие республики, становление целого государства требовало колоссальных усилий именно таких тружеников. Он также рассказывал о наградах отца. В частности, показывая книгу «Ордена советских республик» (авторы — А. Кузенко, Ю. Смирнов; М., 1996), Тэмир Александрович говорил о первом ордене Тувинской Народной Республики. Им были награждены и Тока, и Пальмбах, и многие другие деятели республики. Но учреждение в 1936 году этого ордена, который к тому же на гербе имел изображение всадника, скачущего на восток, было воспринято советским руководством резко негативно. Тувинский орден был сразу же переделан, и судьба многих номиров сейчас неизвестна.



Юрий Кузнецов — самая яркая звезда на поэтическом небосводе России. Он стоит в одном ряду с Михаилом Лермонтовым и Александром Блоком. Его поэма "Путь Христа", написанная совсем недавно, наглядно подтвердила это.

Дай Бог Вам здоровья, Юрий Поликарпович!
А все остальное, как говорят, приложится.

От всей души поздравляем Вас с шестидесятилетием!

**Писатели Тувы,
редакция журнала "Улуг-Хем".**

Юрий Кузнецов

ЕЩЕ НЕ ВЫШЛИ СРОКИ

В который раз горит Москва,
Слова любви жестоки.
Как баба, Русь щипком жива...
Еще не вышли сроки.

От вечной книги дым валит,
В ней выгорают строки.
Мир покосился, но стоит...
Еще не вышли сроки.

1996

ПТИЦЫ

То не шум семейного совета,
То не камень веры пал на грудь,—
На страницы вечного завета
Птичья стая села отдохнуть.

Отдохните, птицы, отдохните,
Подремлите, милые мои,
На страницах самой мудрой книги,
На ладонях матери-земли.

Но трепещут в ужасе страницы,
И кричат все птицы как одна.
Все они клюют больную птицу —
Им такая в стае не нужна.

Пролетали души, пролетали,
А одна осталась умирать...
То ли деды внука заклевали,
То ли дети заклевали мать.

1996

КУБАНКА

Клубится пыль через долину.
Скачи, скачи, мой верный конь.
Я разгоню тоску-кручину,
Летя из полымя в огонь.

Гроза гремела спозаранку,
А пули били наповал.
Я обронил свою кубанку,
Когда Кубань переплыval.

Не жаль кубанки знаменитой,
Не жаль подкладки голубой,
А жаль молитвы, в ней зашитой
Рукою матери родной.

Кубань кубанку заломила,
Через подкладку протекла,
Нашла молитву и размыла,
И в сине море повлекла.

Не жаль кубанки знаменитой,
Не жаль подкладки голубой,
А жаль молитвы позабытой,
Молитвы родины святой.

Клубится пыль через долину.
Скачи, скачи, мой верный конь.
Я разгоню тоску-кручину,
Летя из полымя в огонь.

1996

КНИГИ

От проницательного чтенья
Вся обнажается до дна
Литература самомненья,
Где копошится злоба дня.

Где топчут бисер свиньи быта,
На ум дерзает интеллект,
И у разбитого корытца,
Как вещь в себе, сидит субъект...

Но попадаются глубины,
В которых сразу тонет взгляд,
Не достигая половины
Той бездны, где слова молчат.

И ты отводишь взгляд туманный,
Глаза не видят ничего.
И дух твой дышит бездной странной,
Где очень много твоего.

1996

ЖЕНА

Вот лист, а вот перо, а дальше ветер,
А дальше серый пепел и зола.
Я за словами даже не заметил,
Как жизнь прошла... И надо же! Прошла!

А ведь она сияла семицветно,
Девицы-птицы пили молоко.
И не одну любил я беззаветно,
Хотя и на лету, но глубоко.

Не дымчатые розы увяданья,
Не скатерти, залитые вином,—
Я оставлял им свет воспоминанья,
И до сих пор они сияют в нем.

Однажды на лету земного шара
Заснул, очнулся — около жена.
Сказали мне: — Она тебе не пара.
Какая пара, если жизнь одна!

Я уходил не раз. Она визжала:
— Мы все такие. Лучше не найдешь!
И эта гибель мне детей рожала!
Но что их ждет, когда повсюду ложь?!

Дух на излете, а в душе смущенье,
И в ноздри бьет стыда сернистый пар.
От женщины осталось отвращенье.
— Вот Божья кара или Божий дар!

1997

ОТПУЩЕНИЕ

Мы все бессмертны до поры.
Но вот звонок: пора настала.
И я по голосу сестры
Узнал, что матери не стало.

В безвесье смертного конца
Ее планида изломилась.
Ушла кровинушка с лица?
Оно мгновенно изменилось.

Я знал прекрасных матерей,
Но мать моя была прекрасней.
Я знал несчастных матерей,
Но мать моя была несчастней.

Еще в семнадцатом году,
В ее младенческие лета,
Ей нагадали на звезду,
Ей предрекли родить поэта.

Ни доли нет, ни смерти нет,
Остался темный промежуток.
Горел закат двух тысяч дет
И выжигал ее рассудок.

Она жила среди теней
И никого не узнавала.
«Пустите к матушке моей», —
Так ненарочком и сказала.

Бездомный прах сестра везла.
Была дороженька уныла
В тот город, где уже звала
Странноприимная могила.

О, город детства моего!
О, трепет юности печальной!
Прошла, как искра, сквозь него
Слеза любви первоначальной.

Давно мой дух не залетал
Туда, в забытые пенаты...
На курьих ножках гроб стоял
Под зимним небом, возле хаты.

Да слух ловил средь бела дня
Сребристый звон святой церквушки.
Вздыхала дальняя родня,
Крестились старые старушки.

Я подошел, печаль тая,
Взглянул и вздрогнул, как от грома.
В гробу лежала мать моя,
Лицо мне было незнакомо.

О том не надо вспоминать,
Но что-то в сердце изломилось:
Не узнаю родную мать.
Ее лицо так изменилось!

— И мы ее не узнаем,—
Сказали старые старушки:
— И мы, и мы не узнаем, —
Ее заветные подружки.

Повесив голову на грудь,
Я ощущил свой крест нательный.
Пора держать последний путь
На крест могильный, сопредельный.

На помощь волю я призвал,
Над прахом матери склонился.
— Прости! — и в лоб поцеловал...
И гроб в могилу опустился.

И вопросил я на краю,
В могильный зев бросая шапку:
— Она узнает мать свою?
Она узнает нашу бабку?

Сестра не слышала меня
Сквозь поминальный звон церквушки.

Молчала дальняя родня
И все заветные старушки.

Зияла огненная высь,
Вбиная холод подземельный.
Сошлися и снова разошлись
Могильный крест и крест нательный...

Сестра! Мы стали уставать.
Давно нам снятся сны другие.
И страшно нам не узнавать
Воспоминанья дорогие.

Зачем мы тащимся-бредем
В тысячелетие другое?
Мы там родного не найдем.
Там все не то, там все чужое...

1997

Темные люди

Мы темные люди, но с чистой душою.
Мы сверху упали вечерней росою.
Мы жили во тьме при мерцающих звездах,
Собой освежая и землю, и воздух.

А утром легчайшая смерть наступала,
Душа, как роса, в небеса улетала.
Мы все исчезали в сияющей тверди,
Где свет до рожденья
И свет после смерти.

20 июня 1997



Светлана Козлова

ЦВЕТОВЫЕ ПЯТНА

Повесть

I.

Я возвращался домой с творческой дачи. Домой? Может быть, это сказано не совсем точно. Дом мой в Рязани, там я родился, рос, учился в художественном училище — потом, понятно, были и Москва, и Ленинград, но прежде всего Рязань, — оттуда уехал чуть не сорок лет назад в татары, дальше Тымутаракани, за неведомые Саянские хребты... И туда же, в Рязань, уже года три как воротился из-за этих самых Саянских хребтов. Из центра Азиатского материка, о чём торжественно возвещают надписи на трех языках на монументе, по моему как раз проекту поставленному над узенькой речушкой с грозным богатырским именем. Назовем ее Великой — так это имя переводится на русский язык. И запомним раз и навсегда, на всю нашу повесть: стоит монумент на берегу Великой, в городе, нареченном некогда Великореченском, но впоследствии получившем революционное имя Кумач и ставшем столицей Тайгинской, сперва народной, а потом уже автономной республики. Если я пишу слово «тайга» с маленькой буквы — это тайга, в перемешку со степями окружающая Кумач, та самая, куда добропорядочные кумачане наезжают временами: кто на охоту, кто — по грибы, по ягоду, а наш брат художник — на этюды, что не исключает, впрочем, ни охоты, ни рыбалки, а очень даже плодотворно с ними сочетается. Но если напишу с большой — это Тайга, Засаянская автономия, родная мне пуще Рязани. В ней-то, на самом берегу Великой, почти у самого начала этой действительно великой сибирской реки, находится — о чём, а отнюдь не о моем возвращении в земли отчие возвещают торжественно надписи на трех языках на сером каменном столбике моей работы — географический центр, пуп, сердце, печень, — как хотите, так назовите — пространного и противоречивого Азиатского материка.

В Рязани у меня новая квартира, ревностно оберегаемая женой, Надеждой Филипповной, той самой, с которой уже больше четверти века мы

ляемся да ругаемся, сбегаемся да разбегаемся, а разбежаться никак не можем. И мое имя теперь в списках местной организации Союза художников СССР — там, в Рязани. А здесь... Да, здесь, потому что, куда бы я ни ехал, где бы ни был — «здесь» для меня означает в Саянах, в Тайге, у того самого центра — здесь у меня памятники. И тот, с надписями на трех языках, и еще не один дорогой памятник, моими руками сделанный, моей душой взлелеянный... Расчувствовался, а, старый?

В бывшей моей мастерской молодые художнички ляпают без разбору на холсты, картон, бумагу свои цветовые пятна; и в уме нету, что для кого-то, для старика, например, это не просто мастерская — дом, судьба, жизнь. Тридцать с лишним лет прожито! А еще есть и квартирка махонькая, где ждет меня Юленька, сестричка младшая, такая хорошенская еще и в свои пятьдесят... К ней и еду. Домой. К ней — и к ученикам, которых несть числа за Саянами у старого, престарелого, устарелого уже, должно быть, «маляра»...

Стоп. Вот об учениках-то и разговор. Горький разговор, признался, Алексей Иннокентьевич — а?

Ехал я, значит, тогда домой. Через Саяны, от Абакана — автобусом. Люблю! Самолет хорош, когда торопишься: дела, дела... И ничего с самолета не видно. А тут — сперва на поезде от Владимира или от Ярославля, а то и от самой Москвы — стук-постук колеса, чаек, соседи колоритные, приглядывайся к ним, не торопясь, приживайся — а за окном сперва поля, поля, потом леса пойдут... горы Уральские, а там опять степь... — и, наконец, тайга, сама тайга! — и за степью вблизи Абакана уже Саяны угадываются, поначалу пологие, слово круглые спины лежащих зверей... И все перед тобой живое, многоцветное, в свете и в тенях... Хорошо! Люблю! И от Абакана автобус крутит петли, накручивает по Саянам, а те, знай, полыхают всеми своими красками... А, да что тут слова! Тут — этюдник в руки. И не выпускать из рук до самой реки Великой.

...Часиков пять утра было, как подъехали мы к Кумачу и мост переехали. В начале шестого, выходит, позвонил я у дверей бывшей своей, теперь сестриной и, значит, все равно что моей, квартиры. Август. Тепло. Солнце уже вовсю поднялось, на улицах — ни души... Юленька выскочила на звонок в халатике нараспашку, ночная сорочка в цветочках - эх, сестра, сестра, все ты для меня девочка? А ведь давно уже была девочкой-то... И прехорошенькой, остроглазой такой. Потом в хорошенькую девушку превратилась, в хорошенькую женщину, — не успела оглянуться, как хорошенькой бабушкой стала! Тысячу раз, наверное, начинал писать тебя, сестрица — и все никак не сквачу выражение лица — до того изменчиво. А в выражении-то все дело. Старшую, Олимпиаду, с первого портрета ухватил: у нее лицо неподвижное. А ты...

Что это у тебя глаза испуганные, любимица моя? Охнула, попеняла, что опять без телеграммы, на кухню пробежала, газ зашумел, зафыркал, чайник заговорил... Прибежала опять, а глаза все такие же; брата дождалась, единственного — а радости в них нету, один испуг... Да что с тобой, Юлия ты моя Иннокентьевна?

Я бросил в коридоре свое барашишко, ополоснулся с дороги. В комнату прошел, на собственного производства картину над диваном уставился:

— Ну, Юлия, выкладывай, какие новости, как говорит мой талантливый ученик Монгун-оол Доржу?

Юлия в лице изменилась. Побелела вся, посерела, постарела сразу:

— Новости? — повторяет.. — Монгун-оол Доржу? — и в слезы, да в какие! Пополам перегнулась, голову чуть не между колен спрятала, руки на затылок заломила — и крик этот, крик задыхающийся, давящийся слезами! Как же я знаю, как помню этот Юлин крик!

...Был мартовский день. Блестели сугробы, солнце, как в зеркале, отражалось в затянутой настом степи. Мы шли на лыжах, это было уже довольно трудно, но и то, что — трудно, нравилось нам. Целый день мы с Чамзы, моим самым первым учеником, таскали по тайге гостей, московских художников. И вот — вышли в степь... и замерли, ослепленные. Первым опомнился один из москвичей, огромный мужик, бородатый и лохматый, гривастый даже, будто горный бык-сарлык. Пророкотал:

— Экая красотища какая!

Художница (впрочем, возможно, она была критиком-искусствоведом, такие подробности я уже забыл), зеленоглазая, большеносая, с неожиданными девчоночными белобрысыми хвостиками над воротом яркой лыжной куртки, полуувдохнула-полувзвизгнула, вторя красавцу. Я промолчал, а Чамзы, глянув на этих двоих с той мягкой печалью, которая всегда светится в его глазах, тихо и тоже мягко произнес:

— Очень страшная красота. Такой блеск — это джут, голод, смерть.

— Джут? Что такое? — заинтересовалась дама с косичками. Теперь уже Чамзы молчал, а я принялся, как мог, объяснять гостям, чем страшна — для скота, конечно, не для людей, но люди же здесь веками зависят от своих стад — ледяная сверкающая корка. Разъяснял, пока гривастый не спросил почти извиняющимся тоном:

— Но ведь теперь у вас...как это... создают запасы кормов?

Мы с Чамзы подтвердили, что создают. Все опять повеселели; нас ждало тепло чабанской юрты, свежий хан — горячая колбаса из крови только что зарезанной овцы, стопка-другая коньяка из бутылок, припасенных в моем рюкзаке, сваренные на костре пельмени — Лидины пельмени, к ним прикасались ее пальцы, но я еще не знал, как это надо ценить...

Утром она так не хотела, чтобы я уезжал с гостями! Нет, она не говорила ничего, не уговаривала меня, не просила. Только один раз, уже укладывая в рюкзак мешочек с морожеными пельменями, взглянула... И в ее милых глазах, то прозрачно-серых, то темнеющих почти дочерна, я увидел отражение какого-то неясного страха. И понял: она не хочет. Она хочет, чтобы я остался с ней. Но гости ждали, и я, целуя ее, забормотал черт знает что в свое оправдание: и что погода отличная, мы не простудимся, а какие будут этюды; и что бояться ей нечего, до родов еще, по всем подсчетам, больше месяца; и что не каждый день к нам из Москвы,

из самой Москвы приезжают люди — и, в конце концов, что неудобно, ведь смотрят же!.. А она так ничего мне и не сказала, и больше я уже никогда не слышал ее голоса.

Возвращались мы ночью. Под хмельком — и гости, и я, и Чамзы. Мы не так уж много выпили, и хмель был скорее от чистого воздуха, от тайги, от счастливого риска ехать по сверкающей льдом дороге. От радости жизни, черт возьми!

Звонков у дверей тогда в нашем городе не было. Я постучал коротким стуком, нашим с Лидой условным, как стучался, бывало, еще в комнату ее студенческого общежития. Шаги за дверью послышались сразу, но это были не Лидины шаги. Юленька, моя сестра, совсем еще молоденькая тогда, стояла на пороге, и, увидев меня, с размаху села прямо на пол в сенях, и вот так же голову пригнула к самому половику, пестрому, базарному, и так же закричала, захлебываясь плачем:

— О-ой, Лидынька, Лида, Лидушка-а!..

За спиной у меня переглядывались гости, я стоял на пороге дома, своего дома, который потом стал моей мастерской и где сейчас пробуют кисти молодые художники, и какое-то время еще ничего не понимал. И только глаза Чамзы, такие печальные и нежные, объяснили мне, что Лида умерла.

...Ну, да, да, да, это было, было все, было больше четверти века назад! Потом еще раз я слышал, как голосила Юля — это когда ее благоверного, непутевого мужичонку, придавило бревном на лесозаготовках, пьяного, конечно. Слышал — и мне стало не по себе: ведь он ее в грош не ставил с ее любовью и преданностью, он их бросил, фактически бросил Юлю с семилетним Димкой, за годы копейки не послал, а она даже на алименты не подавала! И так плакать по нем! Плакать, как по моей Лиде — да это кощунство!.. Впрочем, теперь я склонен думать, что кощунствовал-то как раз я, а она просто любила, любила своего непутяшего Митеньку так же, как я — Лиду. Или даже сильней.

Но сейчас-то, сейчас кого она так оплакивает? Что стряслось? С кем? С Димкой? Этот может выкинуть фортель. Он — в отца. Но нет, сквозь задыхающиеся всплески ее слез прорывается женское, девичье имя:

О-ох, Наташа, Наташенька...

Это еще кто? Невестку у нее, кажется, зовут Ларисой. Внучка? Но у Юлии, по-моему, только внук...

— Да перестань ты реветь, скажи мне, наконец, что случилось?

Юля поднимает голову. В глазах — ни слезинки. Спокойным — только губы подергиваются — голосом, поистине голосом педагога объясняет мне:

— Неужели ты еще не понял? Монгун-оол убил свою жену Наташу. Наташи больше нет.

И снова — рыдания.

...Я ничего не понимаю. Действительно ничего. Когда последний раз я приезжал сюда — кажется, как раз в день моего отъезда, по дороге в аэропорт, — видел их обоих, Наташу с Монгун-оолом. Они шли дружно, под руку. Увидели меня, остановились, поздоровались. Монгун-оол, как

всегда, источал некое сияние благополучия. А Наташа была какая-то не своя. Невероятные, невообразимые косы скручены как попало на затылке, шпильки видны. Глаза — вот уж где чистый-то бархат! — откуда-то чуть не из детства, из школы, из сочинений об Онегине и Печорине это слово, а лучше не сказал бы о Наташиных глазах! — неподвижных и чернущими кругами обведенных, я даже сперва подумал, что она так неудачно накрасилась. И губы белые. И осунулась, постарела даже.

— Монгун, — говорю, — ты до чего довел девчонку?

— А, — говорит, — Ксейкентьич, это у нее давление. Двести сорок на сто двадцать.

— Да ты с ума, — говорю, — сошел! У кого тут быть давлению?.. Наташа, сколько тебе лет?

— Скоро тридцать, — прошелестела она, как старушка. А он пустился уже во все тяжкие, что-то о выставках в Париже... в Квебеке... в Токио... да бог весть еще где, я его не слушал. Я опаздывал на самолет.

Дома — в том, другом доме, в Рязани, когда к нам приехала с мужем моя дочь Маришка, я рассказал ей о Наташе, о давлении — все-таки школьные подруги.

— Как это может быть? — раскрыла Маришка серые Лидины глазищи. И обернулась к мужу:

— Как это может быть, Валерик? И вот...

Что я теперь Маришке-то напишу?

— Юля, успокойся. Как это — убил? Наташа умерла, у Наташи ведь была гипертония? Ты думаешь, Монгун-оол виноват?..

— Да нет же. Какая гипертония! Он бил ее. Бил, бил и убил, забил досмерти. Утюгом и еще чем-то — не знаю. У нее все кости переломаны. И кровью она изошла. При детях. И он сидит, Монгун-оол твой! А Наташу сегодня хоронят.

...Лида тоже изошла кровью. Преждевременные роды. Не нашли крови нужной группы, чтобы перелить. Пока нашли, привезли — поздно было. А я в это время конькя пил, пельмени ел, хан... Хан по-тайгински значит кровь... И смеялся анектодам москвичей.

Мы уже двенадцать лет под одной крышей с Надеждой Филипповной жили. Лиды не было уже двенадцать лет. Мы жили впятером — моя старшая дочь Валентина, Маришка с Нинкой и нас двое. На каникулы еще Женя, сын Надежды Филипповны, приезжал. Он у бабушки рос, у первой Надеждиной свекровки. Нина с Маришкой — как близнецы, вместе из родильного, одной грудью вскормлены. Только Нинка покрепче, доношенная, а Маришка все, бывало, прибаливала. Надежда потом хвалилась:

— Я из-за твоей, не из-за своей дочери ночей не спала!.. Это — когда ругались. Только я ведь не об этом говорил. Это так, свое. А я — о Наташе.

Жили мы всё в том же доме, где мастерская. А по соседству избушка была, без крыши —то есть не так, чтобы небом покрыта, но без навеса, плоская крыша, земляная; это в Кумаче у нас так говорят — «без кры-

ши» — совсем бросовая. Хозяев в новый дом переселили, ее наметили, было, под снос, да что-то не торопились сносить. Избушка дрянь, а окна большие, светлые, "саянскоитальянские" — мы их так называли. Вот я и предложил отдать ее Чамзы под мастерскую: квартирка у него была тесновата, детей — выводок. А уж Чамзы поселил в мастерской этого студента, Монгун-оола. Отставили парня от Академии художеств не то за какие-то художества, не то, действительно, как он и сам говорил, по здоровью худосочен был, покашливал подозрительно. Недоучка, а все же — ленинградская школа! Не отпустили мы его к матери в район. Стал работать в городе, как профессиональный художник. Не знаю, может, в этом была наша первая ошибка? А вторая...

Чамзы поселил его, а сам вскоре уехал на академическую дачу.

На полгода. Завидовали: повезло. И от нашей организационной суматохи, и от семейных забот отдохнет, творчеством займется, да и люди какие кругом, имена! Одно общение чего стоит!..

Монгун-оол живет — не живет в мастерской, не понимаю: ни дымка над трубой, ни огня в избушке... А зима, морозы уже к сорока. Захожу как-то днем — открыто. Холод собачий, а он, дите эдакое, в пальто, в валенках, в шапке, весь закутанный, еще и конец шарфа через плечо перекинут, стоит перед холстом и на руки себе дует, чтобы пальцы не отморозить.

— Ах ты, говорю, — художник-передвижник, так твою разездак, марш сейчас же в мою ограду по уголь, по дрова! Печку топить будем!

А он глаза опускает и несчастным голосом:

— Дымит...

Ох ты, какой нежный! Прочистили мы с ним дымоход, печку затопили, сидим на полу, друг к другу приглядываемся. Вообще-то я его еще до Академии знал, сам и направляя туда, ну, да поехало-то их много, а изо всех, считай, в те года он один художником стал. Настоящим. Крутить-вертеть, это все потом уже начал. Тогда — был человек.

А с виду — мальчионка! Воробушек. Сидит на полу, греется, на меня посматривает. А я на него уже насмотрелся. Я больше по сторонам гляжу. По стенам. Дым сошел, этюды выдать стало. Пейзажи, натюрмортики, портретики. Все, как у всех: родные горы, родная юрта, мама чай варит, мальчики, девочки... Голова натурщика — это уже из Академии. И вдруг...

«Девочка с ягненком». Нет, вы скажите, у кого из художников у нас, в Тайге, нет такой композиции? Фотографы, и те... А тут — чудо: сидит она маленькая — ну не совсем маленькая, так лет десяти на вид, худенькая, ягненка на руках держит бережно, и такой у нее на этого скотеныша взгляд — ну, совсем как у матери на ребенка. И губки-то полуоткрыты, не то улыбнется, не то вздохнет сейчас, а уж глаза... Не глаза — очи. Густой черный бархат — ночь. И из глубины ночи — сияние. Платьишко на ней серенькое, вообще все в дымке, в приглушенных тонах, только лицо светится. Чудо!

— Твоя, — говорю, — работа? — Киваёт. — Где ж ты чудо такое нашел?

— Сестренка, — говорит, — дядина дочка, — а сам мне на другую картину кивком указывает. На тот большой холст, перед которым руки отогревал.

Глянул я на холст — ой, батюшки, умираю. Есть из-за чего руки морозить. Недописано, сырье-сырьем, и все же... Опять она. В голубеньком, будто линялом, платьишке, и сама вся полупрозрачная, голубоватая даже. И туман голубой. И из тумана — синие-синие огоньки первоцвета. И те же глаза — черные. Только вроде бы постарше она. И лицо из тумана светится, сияет, счастливое! Откуда что берется? Там, с ягненком, материнская нежность мне почудилась, здесь — любовь! Да такая... «Девушка, собирающая цветы».

Ну, тут я ему сказал. Зря сказал, конечно. Хоть и не своими словами, да ему-то откуда это знать?

— Ты, — говорю, — Монгун-оол, бог, и сам того не знаешь. Я знаю, я! А он хочет, дурачок, наверняка «Моцарта и Сальери» не читал.

А недельки через две и она появилась. Как раз под Новый год. Школьники на каникулы пошли, и приехала к Монгун-оолу эта девочка. Вижу, бежит утром по двору в телогреечке, с ведрами к колодцу, от колодца, да за дровами, да за углем... Как шарик катается, косы за ней так и летят — длинющие, толстенные, с большими бантиками. Написать ее захотелось: бойкий ребенок, трудолюбивая школьница. Окликнул.

— Девочка, иди-ка сюда... — а она глаза подняла, вижу — те самые глаза, веселые да непроглядные, на донушко страшно и заглянуть. Отложил этюдник: чего уж мне, после Монгун-оола, пытаться! И напрасно: хоть бы портрет теперь остался. Есть, правда, один этюд, но там ее — мало.

Елка у нас в доме стояла. Девчонки как раз украшали. Спрашиваю Монгун-оола:

— Сестренка к тебе на каникулы приехала?

— Совсем, — отвечает, — забрал ее, в городе будет учиться, у меня хозяйствничать.

— И правильно, — говорю, — голодный в нетопленой избе сидеть не станешь. Да сильно-то ее хозяйством не загружай, мала еще. Пошли-ка ее к нам, на елку.

Часу не прошло — приходит Наташа. Ватничек у двери на гвоздочек повесила, давай с моими девицами елку украшать. Девчонки радехоньки, обступили ее, живо познакомились, а как узнали, что в одной школе с ними учиться будет, с Маришкой да с Нинкой в одном классе — восторгу не было границ. Любят маленькие девчонки красивых подруг, это я заметил. Зависть, ревность — это все позднее начинается. Валентина, та поодаль держалась: большая, в девятом классе. На молодежный бал-маскарад в театр собиралась.

Ну, а малышня наша, шестиклассницы, дома устроили бал-маскарад. Сундуки распотрошили, достали всякое тряпье. Сами вырядились, кто во что, давай Наташу, как куклу, как елку, наряжать. Платье Лидино из

монгольского шелка нашли. Было, я постраждаться хотел, положите, мол, — да вдруг пожалел девчушку: не в коричневой же форме с фартучком ей Новый год встречать. А другого-то, видать, ничего у нее и не было. Что ж ему, гнить в сундуке, тому платью? Надели на Наташу — до полу ей, ну и ладно, так еще краше. Рукава подобрали, подкололи, в косы бус елочных навплетали — висел у меня в той половине дома, где мастерская, портрет артистки в тайгинском уборе, все по нему сделали. Зарумянилась Наташа, в глазах огни так и сияют.

— Ну, — говорю, — дочка, брат у тебя Монгун-оол — Серебряный парень, а ты у нас Алдын-данына, Золотая царевна сказок...

Смутилась Наташа чуть не до слез, пунцововая вся стала. А девчонки ее к елке, к елке, да танцевать...

Вот ведь чем в краску вогнал — именем! Тайгинские имена просто все переводятся: Кара-оол — Черный парень, а если Каракыс — девушка, значит, тоже Черная; Ак-оол, Ак-кыс, наоборот, Белые. Или по профессиям, Анчи, например — Охотник. По названиям трав, цветов: Чойган, Пихта, самое красивое девичье имя. А то еще и от зверей, зверушек и птиц разных имена, Куске, скажем, Мышка, Чан-оол — Слон, и откуда он только взялся, когда водился в Тайге? Камни тоже... Доржу — алмаз, так что Монгун-оола нашего любящие родители совсем в ювелирное изделие превратили — и серебряный-то он, и Алмазный... А красоты не дали. Разве что к таланту его все эти побрякушки применить... А потом пошла мода на русские имена. Вот бы Наташе цветком каким редкостным или птицей невиданной называться — нет, поскучились родители, русское имя им приглянулось, а оно и не русское вовсе, и какое его значение — иди, ищи в словарях... Зато красотой не обделили.

Это я все тогда, под Новый год, благодушествуя, размышлял, пока дети возле елки танцевали. Настоящего Наташного имени я не знал тогда. Может, и сама она не знала?

Встречать Новый год Монгун-оола я тоже к нам пригласил. Ну, как водится, взрослым гостям одно застолье, детям — другое, пораньше и без вина. К Валентине нашей друзья-подружки забежали, заторопили на бал-маскарад. Она и позови Монгун-оола:

— Идемте с нами, Вы же молодой...

Вроде бы даже заколебался он. А в дверях — Наташа. Очи слез полны...

— Нет, — говорит Монгун-оол, — идите уж без меня, как я сестренку оставлю...

Встретили мы Новый год. Дети поплясали-поплясали да и спать легли. И Монгун-оол с Наташей сразу после двенадцати в свою избенку ушли. А другие гости еще и до утра оставались. Весело! Молодые все. Мне пятидесяти не было.

За каникулы девчонки мои совсем с новой одноклассницей сдружились. Только и слышно: Наташа да Наташа, да Марышка с ней будет русским языком заниматься, а Нина — математикой... Вот и каникулы

прошли, в школу детям пора. И тут, 13-го января, нас в гости к кому-то позвали, «старый Новый год» встречать. Пришли мы из гостей поздно, ну, и проспали утром. И надо же, как назло: ни одни часы в доме не идут и радио молчит.

Мне что, я вольный художник, хочу — работаю, хочу — сплю. Надежде Филипповне к одиннадцати магазин открывать. А девчонкам в школу — к восьми! Что делать? Хоть бы время где узнать.

— А я к Наташке сбегаю, — это Маришка. — Ей ведь тоже в школу, — и побежала.

Залетает назад через секунду. Глаза дикие, волосенки дыбом:

— Папа! — с порога, а потом совсем тихо, на ухо мне. — Там Наташа с Монгун-оолом...как вы с мамкой...в одной постели...

Надежда Филипповна у плиты, конечно, услышала, ах да ох, да что ты говоришь. Я, наоборот, стараюсь это дело замять:

— Мало ли что, Мариша, может, у них всего одна кровать...

— Нет, — спорит, — у них и вторая есть, я видела!

Я опять свое:

— Мало ли что, может, Наташа ночью испугалась чего, помнишь, какая ты раньше была трусиха, все с Валей да с Ниной в обнимку спала...

— Нет! — кричит. — Они не так в обнимку, они по-другому!..

И тут сам Монгун-оол на крыльце. Красный, как из бани, глаза вороватые:

— Простите, Ксейкентыч, извините, она мне не сестра, она дядя не родная дочь...

— Родная, — говорю, — или не родная, это дядя пусть разбирается. А вот сколько ей лет, ты мне скажи? Ведь шестой класс...

— Она, — говорит, — поздно в школу пошла, у нас это бывает. Ей уже, — говорит, — скоро шестнадцать. И мы друг друга любим...

Задумался я. Поздно в школу отдают — в те годы это бывало еще, особенно в дальних районах. Наташа — из такой дали, глупше некуда. Одни сарлыки кругом. И замуж рано, помню, отдавали тайгиночек, я это еще застал. Безобразие, конечно! Но посмотрите на мадонн Возрождения! Девочки, те же Наташи...

«В Вероне много дам почтенных, знатных, тебя моложе, а детей имеют», — так у Шекспира или я напутал что-нибудь? Это сколько же лет было Джульетте, когда мамаша ей такое внушала? А самой мамаше? И полюбила, и тайно обвенчалась Джульетта со своим Ромео в четырнадцать лет! Наташе «скоро шестнадцать»... А вдруг они и есть Ромео и Джульетта, и дай ему право любить ее, творить с ее именем на устах — гениальные полотна создаст наш Монгун-оол! А отними ее у него — захиреет, погаснет дар, потеряем художника... Как я жил, как писал, когда со мной была Лиза!.. А что делаю без нее уже который год? — ширпотреб...

Я махнул рукой. Он понял меня по-своему. Спросил растерянно:

— Что мне теперь сделать для нее?

— Пальто ей купи, Рафаэль, — проворчал я. — В ватнике ходит твоя Мадонна.

Впрочем, о мадоннах речь впереди.

На похороны я не пошел. Но на кладбище в тот день был. Не на том, куда повезли Наташу — новом, еще почти пустом, километрах в десяти от города, — а на старом, в черте города, “перенаселенном” и заброшенном, где покончился моя Лида. Шел к ней, но первым увидел другой памятник своей работы — профессору Тэмиру. Вот человек! Надо же было родиться в Белоруссии от полячки и немца, знать в совершенстве три или четыре европейских языка, получить редкостное по тем временам образование — и все для того, чтобы, влюбившись в бесписьменный и безвестный азиатский язык, уехать в эту невообразимую глушь, где только и было тогда, что юрты да угтые домишкы «без крыш», степи да леса, да горы, да река Великая... — уехать и пожизненно здесь прожить, пока не стал этот самый азиатский язык не только письменным, но и литературу обрел, и науку... И уехать, и опять вернуться сюда — как будто ненадолго, не то конференцию научную проводить, не то семинар, не то еще, как тайгинцы говорят, «хурал» какой-то, — а вышло-то навечно. Значит, надо. Жаль старика: жену схоронил рано, сыновей вырастил — и не вернулись с фронта сыновья... А вспомню, как шел народ за его гробом — нет, тут не жалость, на зависть скорее похоже. Каждому был так. Люблили, любят. Учителем звали и зовут.

Вспомнилась мне Айыжи, женушка нашего Чамзы. Простенькая она, неученая, всю жизнь на швейной фабрике проработала. Не бесталанна, нет — и работает хорошо, и в своем роде художница: дома детишкам сапожки меховые на загляденье шьет, коврички из обрезков шкур такие строит — прямо мозаика, чудо! Но в ту осень ей не до чудес было: шестого ребенка родила, четвертый или пятый болел, в санаторий отправляли. С горькой вестью заходжу во двор к Чамзы, она навстречу из сараюшки бежит с охапкой дров, печку топить. На бегу здоровается.

Я ей, вместо “здравствуйте”:

— Ая, — говорю, — профессор Тэмир умер.

Она хлоп своюю охапку оземь — так и рассыпались полешки, насилиu потом собрал. Стоит растерянная:

— Да как же это?.. — спрашивает.

А старик был суховат; не любил сентиментов. Прижимистым слыл, хотя многим при нужде помогал. Кто-то ему под самый конец его жизни и кличуку придумал — «кибернетическая машина». Как кто-то? Да Монгун-оол же!

...В один из последних наездов нашего профессора в Тайгу мы как раз выставку открывали. Впервые в ней участвовал Монгун-оол. Двумя работами: «Девочкой с ягненком» и «Девушкой, собирающей цветы». Пришел и профессор Тэмир на открытие. Смотрел наши пейзажи, портреты, натюрморты — и до работ Монгун-оола добрался. Слышим вдруг:

— Разрешите познакомиться с автором?

Монгун-оол тут как тут, сияет весь, еще не самодовольствием — детской

радостью. Чуть поодаль Наташа стоит, на мужа не налюбуется. Поглядел на Монгун-оола профессор — и говорит:

— Молодой человек, вы хорошо передали красоту тайгинской женщины. Но вы забыли, что это — новая женщина, молодой человек! Зачем вы столько робости, стыдливости, неуверенности в себе вложили в ее черты? Она смелая, она уже и работать для будущего, и воевать ради будущего научилась. Ей солнце в глаза смотрит! А у вас — все в тумане. Жаль, молодой человек, обедняете вы светлый образ нашей красавицы-тайгинки!

Вот так, словно по-писаному, и сказал. Монгун-оол понурился и вон из зала. У входа остановился, Наташу подождать. Подошел и я, ободрить. А он засмеялся мне в глаза и говорит:

— Разве эта кибернетическая машина понимает человеческие чувства! Тэмир понимал. Это только имя себе на тайгинском языке он взял железное, а сердце у него было, как у всех людей. Да нет, что я — как у всех!.. Такие сердца только у самых добрых, самых душевных людей бывают. За два дня до смерти хорошего парня в Союз писателей рекомендовал. Не пригодилась рекомендация — нельзя от покойников, не положено. Но парню в трудные дни поддержкой послужила, как раз прижимали его тогда. И до сих пор уважаемый писатель ее хранит. И я эту бумагу видел, и дату под ней запомнил — точно два дня Тэмиру жить оставалось. Вот и кибернетическая машина, и чувств не понимает. А какие чувства понимает теперь Монгун-оол?..

Ладно уж.

В ту осень, как раз после выставки, Монгун-оол заболел. Что-то с ним серьезное приключилось, вроде горловой чахотки. Думали, не выживет. И сам он, видать, так настроился, потому что телеграммой через медсестру вызвал родителей из района. А Наташу ко мне прислал, да еще и записку написал, просил о ней позаботиться, когда его уже не будет, помочь ей получить «ср.техн.образование». Эти сокращения до сих пор перед глазами у меня. Однако выжил. Больше всего Наташа его поддерживала. Каждый день, ни свет, ни заря, в больницу ездила и до темной ночи там с ним сидела. Кончится посетительское время, отправят ее врачи домой — она выйдет, за угол завернет, под окно, на завалину встанет, до форточки дотянется и все смотрит на него. Под ее взглядом, как под лучом солнечным, ожила Монгун-оол...

...Пластом лежал я на свежем, чуть снежком припорошенном лидином холмике. Лежал, ни о чем уже не думая, ничего не желая. И не встал бы, наверное, и не встал бы с земли, если бы не Маришка. С Валей, старшей, все было ясно: живет у Юли, вернее, у свекрови Юлиной. Были тогда Юленька с непутевым Митькой молодые, только поженились, своих детей не имели еще — в случае чего, пропасть бы не дали девочке. А Маришка... В роддоме еще была, слабенькая, говорили, всякого можно ожидать. Я еще и не видел ее, а любил — как Лиду. По-другому, конечно, но так же крепко. Лидой бы и назвал, если бы не сама она, любимая, перед смертью успела выговорить, на ребенка глядя: «Марина»... И вот,

когда коченеть уже начинал на этом холмике, ударяло в сердце слово — Марина, Маришка — и поднимался я, и тащил себя через город к больнице, под окошко. Веселым парнем, лихим сердцеедом, бесшабашным гулякой знали меня здесь — все верно, все так и было, до Лиды еще, да и при Лиде, семейным став, я своего мужичьего «авторитета» не терял — ох и тошн же был мне теперь тот «авторитет»! «Тронутым» прослыть я меньшее боялся. Да ничего не боялся вообще. Как умерло во мне вместе с Лидой — одна струна живая, одна кровинка — Маришка.

Однажды поднялся с холмика, а рядом, смотрю — Чамзы. На меняглядит, на могилу... Как увидел, что осмысленным взглядом ему отвечаю — тихонько так заговорил:

— Иннокентьевич, памятник делать будешь? Я камня привезу. Мягкого.

Агальматолит. Камень тайгинских резчиков. Верно, мягкий до странности, будто и не камень вовсе. Для малых форм он хорош. Большой скульптуре гранит нужен. Я напомнил это Чамзы, и мы с ним поехали в горы, в места, которые он хорошо знал, и нашли подходящий камень, и перевезли его сюда, на кладбище, и уж тут я от помощи Чамзы отказался, сам, своими руками, один все до последней черточки, до окончательной шлифовки сделал. И стоит теперь она, моя Лида, как живая, смотрит на меня. Нету с ней рядом меня — вдаль смотрит, ждет, когда приеду, приду...

Это все, конечно, не скоро и не сразу получилось — и поездка за камнем, и памятник... Между тем разговором с Чамзы и поездкой еще одно в моей жизни случилось.

Прихожу, как всегда, в больницу. В родильное, под окно детской палаты: оттуда мне медсестра Маришку показывала. Зовет меня санитарка к главврачу для разговора. Думаю, что такое, не с Маришкой ли что? Главврач высокая, брови черные, лицо резкое, грубой лепки, но красивое, убедительное лицо: глаза светлые, безжалостные, голос мужской.

— Вы, — говорит, — намерены, папаша, ребенка домой забирать?

— Простите, — отвечаю, — не подумал. А ее можно забрать? Не случится с ней ничего?

— Ничего, — говорит, — не случится. Окрепла ваша девочка. А условия, — спрашивает, — у вас есть, чтобы ее воспитывать? Или лучше передать в Дом ребенка?

— Что вы, — отзываюсь, — о каком еще сиротском Доме речь, найду нянью, вырастим...

— Найдете или нашли? Или бабушка есть? Родная?

Ну, бабушек не было. Юлиной свекрови еще одну питомицу подсунуть не решился бы: грозна старуха, не раз потом Кабанихой называл. Наши с Лидой матери давно умерли. Молчу. А врач мне:

— Ладно, считайте, что няню вам нашли мы. Эта женщина вашего ребенка с первого дня грудью кормила и кормит, вместе со своим. Мы ее не выписывали — некуда. Одиночка она. Завез ее один подлый человек в неизвестное место и бросил беременную, еще и обобрал напоследок. Домой ехать ей далеко, на Украину, денег на дорогу нет, профессии никакой. Пусть она у вас поживет в домработницах, она соглас-

на. Подрастит детей, сама окрепнет, поедет на родину. А вы тогда девочки в ясли отадите. Согласны вы? Надя, идите же сюда!

И входит в кабинет врача женщина. Небольшого роста, ладная, не толстуха, но в теле. Лицо гладкое, спокойное. Белая косынка больничная до бровей повязана. И что-то в ней такое... основательное, что ли? И похожа она на тех кормилиц, которых крепостные живописцы на барских семейных портретах изображали. И совестно мне стало: что я, барин, кормилицу нанимать? У самого родители под Рязанью крестьянствовали... А главврач, мужским голосом:

— Вижу, вы согласны, так идите, подготовьте дом к приходу новорожденных. Завтра и заберете.

До полуночи мы с Юлей скребли, мыли, отчищали мою холостяцкую грязь, невесть когда скопившуюся: Лидины вещи — платьица, кофточки — я подальше в сундук убрал, благо, пышнотелой «кормилице» они все равно не впору. Только портрет Лиды — последний, еще недописанный, из мастерской в комнату перенес, на стену повесил. Так он и остался недописанным. Навсегда.

Надежда Филипповна потом рассказывала, как побаивалась меня поначалу, особенно когда пропадал я на лидиной могиле, памятником занятый: а ну, как и впрямь человек не в себе? Как только под осень, когда и от груди уже можно было молочных сестренок обеих отлучить, и уезжать бы ей самое время — как раз под осень почувствовала, что привыкла к дому, ко мне, к моим детям, и вовсе никуда ехать не хочет — что же от добра добра искать! — и зла уже у нее на того «подлого человека» почти нет. А тут еще Валя «мамой» ее начала называть. И я, как нарочно, будто впервые увидел, кто же меня столько месяцев уже кормит, обстирывает, обиживает... Заметил ее, по-своему заметил: выбрал час, усадил ее у печи, занавеску ситцевую на печь пoyerче, на плечи ей — шаль цветастую, малышек обеих на колени взять велел, Вале сбоку стать и за юбку держаться.

Кустодиев, да и только! «Материнство» назвал я этот этюд. Выставлял. Но переписать по-настоящему, законченной картиной сделать не смог. Лиза не дала. Глянула со стены, с недописанного портрета, глазищами бездонными, серыми дочерна — и не смог. Четверть века с лишним в одной постели спим — но портретов Надежды Филипповны у меня нет.

Никуда она не уехала. До самой Рязани. Курсы продавцов потом окончила, торговала, магазином заведовала даже. «Вместных», как в Сибири говорят, детей не было у нас. И не надо.

Надежда Филипповна моя и детям, и мне самому, и всей нашей художнической братии всю жизнь — кормилица. Не Мадонна — кормилица. Мадонна — Лиза.

... Я не рассказывал еще, как мы с ней поженились — с Лизой? В конце войны получил я из Рязани телеграмму о смерти матери. Отец мой умер года на два раньше, когда никаким образом не мог бы я из-за Саян добраться до родного, в центре России, дома. Да, не удивляйтесь — на фронте я не был. В Тайгу уехал за год до войны, в самостоятель-

ное государство, — за границу, с большой группой советских специалистов. И все по искусству: режиссеры, дирижеры, балетмейстеры... И художников двое. Имя второго теперь всему миру известно — дочь его прославила, хоть и умерла в ранней юности, но наследие оставила огромное, тысячи рисунков первом, удивительных, неповторимых. Я не знал ее. Отца ее и мать, балерину-тайгинку, знал отлично, а дочку не видел ни разу. Она не в Тайге родилась.

Долго ехали мы через Саяны, но весело. Молоды были, нового хотелось, а как добираться — не все ли равно, верхом так верхом, пешком так пешком, только бы добраться. Приехали. И пять лет с тех пор не переезжал я Саянского хребта.

Не думайте только, что я от войны спрятался. Кое-кто упрекал меня этим. Нет. Никто не знал точно в сороковом году, что через год грянет война. И мы не знали. Она, кстати, могла начаться и здесь, на Востоке, ведь столько раз японские самураи наскакивали на соседнюю Монголию! Так разберитесь, от войны я ехал, или — к войне?

Когда грянуло, я думал, что меня возьмут на фронт. И заявление подавал: отсюда, из-за границы, брали только по заявлениям, добровольцами. Даже женщин брали. Но особо ценным специалистам возвращали заявления. Мы — художники, режиссеры, дирижеры, балетмейстеры — считались особо цennыми. Наряду с учителями и агрономами — их тоже было мало в Засаянье. Мы остались. Нам было стыдно. Я стыдился писать матери в Рязань о том, как хорошо здесь живу: знал, что на двух моих братьев пришли похоронные. А мать в письмах радовалась, что хоть я один не на фронте, и, значит, уцелею. Я делал здесь «Окна ТАЙГАГА» — как Маяковский «Окна РОСТа»; поэт Бак-кыс, мужественный человек с девичьим именем, писал к ним тексты, пока не пришел утвердительный ответ на его заявление, и не отправился он на фронт, молодой художник, мой ученик, Кас-оол, принявший русское имя Слава, Вячеслав. А следом за нами ходил, как привязанный, мальчишка с огрызком карандаша и ученической тетрадкой в руках — Чамзы...

Война подходила к концу, Тайга влилась в состав Советского Союза, я был теперь уже не «за границей»... А мать умерла. И пока я ехал через всю Сибирь, ее давным-давно похоронили, матушку мою. Старшая сестра Олимпиада почти сердито встретила меня, как будто нарочно заставил я ее одну, без всякой помощи, обоих родителей хоронить. Я без спору отказался в ее пользу от своей части родительского дома, и тут только поинтересовался, где же Юля? Младшую сестру помнил девочкой-подростком, удивился, что она не дома.

— Одурела от сиротства, — бросила Олимпиада. — Подружке в дочки набивается, глупая. Отыщи, вразуми.

Отыскать Юлю было нетрудно. Общежитие пединститута, где она училась, знал в городе каждый. Первокурсница Юлька жила в одной комнате с выпускницами, дружила с одной из них — Лидой Матуриной. Как сумела Лида, сама сирота военная, горя навидавшаяся, стать моей Юле роднее родной сестры? Трудно сказать. Но — сумела. И мне тоже, почти сразу, как увидел.

Она не была красавицей. Веснушки, гладкая русая прическа, крупный рязанский рот... Одни глаза... Но как увидел ее, с полотенцем на плече торопившуюся в комнату из общей умывалки, с косичками в мелких водяных брызгах, заплетенными по тогдашней моде надо лбом и над непышной волной распущенных сзади волос, пронизанных утренним солнцем — я почему-то подумал: «Королева» — и отчетливо: «Будет моя». Я тоже не красавец и не был им никогда. И ростом не так чтобы очень вышел, и глаза только что острые, и гряды художнической отродясь не отпускал. Серый... Зато — волк. В Тайге все пять лет не святошей жил. Жениться не думал, но в видных женихах ходил, к тому же «ценный специалист» — это как бы существо из другого мира. И, как желаниям инопланетного пришельца, моим желаниям не было отказа.

Не потому ли — подумалось сейчас — так беспощадно глядела мне прямо в совесть светлыми глазами роддомовская главврачиха, сводя, да, бесстыдно сводя безутешного вдовца с одинокой Надеждой Филипповной? Не потому ли, что знала обо мне что-то давнее, еще с тех времен, когда рядом со мной не было Лиды — давнее, тайное и стыдное? Возможно, знала... Сам я ничего тогда не хотел знать и ни о чем не задумывался.

Лида поразила меня простотой и незапятнанной чистотой всего облика. Я сразу заявил сестре, что хочу написать ее. Юля передала это подруге, и та согласилась.

Я писал Лиду у окна в строгой и бедной комнате общежития с книжкой на коленях, с солнечным лучом в волосах. Писал ее на студенческом воскреснике, разбирающей развалины возле железной дороги. Тогда еще всюду полно было развалин. Я писал ее на практике, в школьном классе, у доски с географической картой. Писал с полотенцем через плечо, с брызгами в косах, как увидел впервые. Не помню, говорил ли я ей, что люблю. Она все поняла из моих этюдов.

Разгоралось лето, в Саянах склоны гор казались застланными ярчайшим ситцем — так много было цветов. Мы ехали втроем — Лида, Юля и я.¹ Мы глядели вокруг, вбирая глазами неимоверную эту красоту, мы пели — мы праздновали Победу, мы радовались жизни. Лида уже несла в себе нашего первого ребенка — Валентину.

III

Когда вспоминаешь дни счастья, так не хочется обращать память к другому, пасмурному для тебя времени!

К Монгун-оолу пришло мастерство. А для меня началась, пожалуй, самая трудная в жизни полоса.

Как легко все давалось мне в первые прожитые здесь годы! И поездки по сумонам — слово теперь почти уже не употребляемое, а такое емкое, сочное, хотя всего-то и означает “единицу территориального деления Тайгинской народной республики, приблизительно равную сельсовету” — так, кажется, в справочном словаре. И мгновенные наброски — пейзажи, или, скажем, голова мужчины, повязанная платком — этакая геройская голова! И очередной плакат ТАЙТАГа, где эта “геройская голова” уже призывала, агитировала аратов...

Потом, когда в моей жизни появилась Лида, бесшабашная эта легкость сменилась строгим, уверенным мастерством. Теперь я уже имею право сказать так о себе. Мастерство, осененное счастьем — что может быть лучше? Я говорю не только о тех работах, в которых присутствовала на полотне сама Лида — скажем, "Урок географии" с тоненькой, чуть намеченной фигуркой учительницы в глубине у карты, и сияющими, изумленными, такими разными лицами учеников — тайгинских ребятишек, разными, но одинаково озаренными счастьем открытия мира! Был я как-то недавно в сельской школе на уроке географии.

Рисуясь перед художником, крепкая немолодая женщина вызывала лучших учеников, но как казенно, заученно отвечали они, как давился тайгинский мальчик названием крымского плоскогорья Яила, произнося его с ударением на первом слоге! По примеру учительницы... Поставь она ударение, всего лишь ударение правильно — неужели бы не понял и этот мальчик, да и остальные вместе с ним, по звунию хотя бы, что речь идет о чайлаге, о родных для них, чабанских детей, горных выпасах; неужели не удивились бы им эти пастбища в цвету, не пролетел бы по классу горный ветер? А без этого — какой уж там урок географии!

Лида была учительницей не по названию, а по призванию. Недаром же до сих пор встречаются мне в Тайге уже немолодые люди, радостно и смущенно сообщающие: «Я учился у Лидии Александровны»...

Да что же я опять отвлекся! Не о Лиде речь — о мастерстве.

Лиды не было на холстах, посвященных Победе: портретах тайгинских добровольцев и вообще фронтовиков, девушки-шоффера с мальчишеским лицом и в солдатской ушанке, в групповом портрете братьев-минометчиков. Но там была Победа, а Победа и Лида порой для меня, в моем воображении, почти сливались в одно, и если бы я писал Нику — я придал бы этой греческой богине облик рязанской девушки Лиды. Было мастерство, пронизанное счастьем, и оттого вдвое — мастерство. Я упивался работой. Лиды не было в моей «Весне» и в знаменитой «Облепихе», но казалось, вот-вот выйдет она из-за этих опушающихся прозрачными иголочками лиственниц на тропинку, и над янтарным полыханием ягод засияют ее глаза. Я чувствовал это так. Другим, должно быть, виделось другое, но как иначе объяснить успех этих работ?

А потом все умерло. Все. Памятник Лиде был пределом, последней ступенью вверх: мастерство, пронизанное отчаяньем. Потом осталось одно мастерство. Пустое, холодное. Постепенно и оно сошло на нет. Теперь я уже не боюсь сказать себе и это.

К Монгун-оолу мастерство пришло как-то сразу. Он так и не доучился, в Союз был принят после того, как «Девочка с ягненком» и «Девушка, собирающая цветы» поехали на Международную выставку. Мы с Чамзы с удовольствием написали ему рекомендации, а третью, ко всеобщему изумлению, приславшую из Ленинграда такое мировое светило, что имя-то его произносилось не иначе, как почтительным полуслепотом. Когда и где успел наш новоявленный гений познакомиться с академиком? Слухи разные ходили. Сам Монгун-оол за стаканом вина с наслаждением повторял неубедительную баечку.

Будто опоздал он, студентом, однажды с каникул, это само по себе вполне вероятно и очень на него похоже, — и, выпутываясь в деканате из затруднительного положения, врал — не краснел, что до дому добираться ему очень сложно, сперва самолетом, потом поездом, потом автобусом, потом верхом, потом на оленях, потом на собаках...

— Потом на кошках, молодой человек, что же вы кошек-то забыли? — якобы перебил его сидевший в стороне старичок. — А потом еще на мышках, длинная такая упряжка...

Монгун-оол опешил, уставился на старичка. А тот:

— Ну, что же вы, что же? Не стесняйтесь, продолжайте фантазировать. С такой фантазией, думаю, из вас получится художник. Бывал я в ваших местах, еще в двадцатые годы, ни на каких собаках уже и в те поры (светило гордилось происхождением из псковских крестьян и могло при случае еще и не такое словечко ввернуть) не езжали... Ну, ну, это ничего, это все понятно. Главное, этюдов-то много привезли? Покажите-ка мне ваши этюды.

Вот это, уверяет Монгун-оол, и был академик. И с тех пор они якобы «подружились». Дружба льва с мышонком!

В рекомендации за подписью светила, впрочем, были такие слова:

«... При условии, что он продолжит ученье и завершит образование». Это все читали, и Монгун-оол клялся, что завершит. Клятвы, разумеется, не сдержал, но светило об этом узнать уже не могло: погрузилось вскоре в безвозвратный мрак.

А Монгун-оол сиял. По всему его лицу, вообще-то невыразительному, круглому, как лепешка, было разлито спокойное, ровное сияние, ни дать ни взять масло по блину. Его имя упоминалось в серьезных искусствоведческих изданиях, и столичные корректора, наконец, научились уже не делать ошибок в этом непривычном и непонятном им слове. Но мастерства тогда у него еще не было.

Что оно пришло, мы узнали, когда Монгун-оол написал «Саянскую мадонну».

Наташа сидела вполоборота к зрителю, на фоне многоцветных, переливающихся красками гор. Платье было спущено с одного плеча, — так прежде делали тайгинки, работая в юрте, у очага, — и обнаженное розовато-смуглое плечо, рука и грудь нежно контрастировали с зелено-ватым колером одежды. На коленях у нее, прильнув к соску и как бы поддерживая материнскую грудь ручонками, полусидел ребенок, голенький и тоже розовато-смуглый, и темный пушок на его головке, казалось, был ощутим. Распущенные волосы Наташи окутывали ей спину и второе плечо, словно черная шаль или плащ, а может быть, крылья? Окутывали, но не скрывали, а лишь подчеркивали мягкую женственность линий. А в глазах Наташи сияло солнце! Вообще в картине было много солнца — не иначе как критику профессора Тэмира, к тому времени уже покойного, принял к сведению наш Монгун-оол. Солнце играло в многоцветности гор, солнце дымно-красноватой сделало юрту, видневшуюся на заднем плане. Солнце, всюду Солнце. И мастерство, с которым выписана каждая деталь, пронизано солнцем.

Картина эта поражала еще уверенностью, зрелой твердостью руки автора — вот чего не хватало ему в первых работах ... Только значительно позже пришло мне в голову, что, потеряв обаяние робости, неуверенности, осенявшее ранние полотна, Монгун-оол много потерял.

Он был счастлив. Он с ума сходил от счастья, от успеха своей картины. Тотчас же ее забрали в Москву и затем — в Международный художественный салон, ни одному из нас и не снившийся. Затем оригинал «Саянской мадонны» был за безумные деньги продан какому-то японскому миллионеру, и Монгун-оол хвалился нам этим и делал, делал, делал копии. Они были не совсем точны: то он изменит наклон головы Наташи, то по-другому усадит ребенка, а то и в фон внесет изменения. И каждая копия по-своему хороша. Но это был уже не оригинал. Мастерство в этих копиях чувствовалось даже больше: вот так, а не иначе, положен мазок, вот такой световой эффект... Но это как раз и настороживало, если хотите — даже пугало.

Так было и у меня — с «Портретом актрисы». Давно еще, при Лиде, я написал эту молоденькую тайгинскую певицу, написал легко, без напряжения, и после выставки подарил работу своей модели. Через несколько лет меня попросили повторить портрет для музея. Взялся, разыскал старые этюды, снова встретился и с самой певицей — она стала еще красивее уверенной, зрелой красотой. Но не было юности, не было робости в ее взгляде, оставалось одно мастерство. Я тщательно выписывал детали, этнографические подробности костюма, украшений, старался сохранить особую выразительность улыбки. И все сделал, как надо, и работа была принята — вон он, портрет, в музее висит, идите, глядите — но как-то вдруг сам ощутил, что такое мастерство, такая скрупулезность в выписывании деталей граничат со старательностью посредственного ученика.

Монгун-оол писал свои копии, их покупали разные почетные организации, дарили делегациям из других республик, приезжавшим в Тайгу; наши делегации, отправляясь на различные представительные — я уже упоминал это слово, нравится оно мне — «хуралы», увозили с собой такие же копии. «Саянская мадонна» стала чуть не символом нашей маленькой горной республики. А Монгун-оол все делал и делал копии, даже вновь для себя жанре попробовал делать: вырезал на линолеуме, сильно уменьшив, отпечатал уйму крошечных линогравюрок. Знакомым и незнакомым стал раздавать их вместо визитных карточек.

— Эй, Монгун, опомнись, — остерег я как-то, — в ремесленника бы не превратиться.

Как он взглянул на меня! Глазенки у него узенькие, щелочками, но цепкие. Глянул искоса — а прожег насквозь, и ясно было написано в этом его взгляде: ты-то, мол, кто? И — кто бы говорил!...

И меня ударила мысль: никому-то я здесь не нужен. И одиночество схватило за горло.

«Ценный специалист» начала сороковых, я привык к сознанию своей независимости. Время шло, художники, которых я знал мальчишками и

девчонками, мужали у меня на глазах, но ни один из них не стал мне, как говорится, поперек дороги, и никому из них не стал поперек дороги я. Мы были несоизмеримы. И даже не потому, что у каждого своя манера, свой взгляд, свой стиль, свои краски — просто потому, что я был учителем, они же — все! — оставались для меня учениками. Приехавших из-вне молодых художников с хорошим образованием, учившихся прежде у больших мастеров, я тоже принимал в ученики, потому что со мной они отправлялись в первые поездки по республике. Я знакомил их с заветными уголками, я раскрывал перед ними свой мир, свою Тайгу. Конечно, не только я — и Чамзы, и тихая, стеснявшаяся своего крупного роста художница с контрастным именем Куске, и многие еще — хотя бы и тот же Монгун-оол. Но ведь они-то уж точно были моими учениками? По крайней мере, так казалось мне...

Они все начинали, вольно или невольно, с подражания моим работам. Они все приходили ко мне за советом, приносили свои этюды. Но наступало время, когда каждый из них обретал собственное «я», то самое творческое «я», которое так неустанно призывал я их искать. Обретали — и я становился уже им не нужен; непрошеные советы и попытки вмешаться в творчество только тяготили их.

Чамзы упорно разрабатывал свою тему — историю восстания на исходе XIX века горстки смельчаков, поначалу ошельмованных, как разбойники, а потом гордо поименнованных богатырями. Он то углублялся в предысторию, в прошлый век, то приближался к современности, и помогал себе закреплять необходимый при такой тематике этнографический материал многочисленными натюрмортами с изображением оружия, орудий труда, домашней утвари тайгинских охотников и скотоводов. Натюрморты эти, как правило, были выдержаны в мрачноватых тонах, в дымных красках юрты. Колористику же он поддерживал светлыми пейзажными этюдами. Трудно было поверить, что автор пейзажей и натюрмортов — один и тот же человек. Однако в немногих, законченных Чамзы тематических, исторических полотнах этот контраст светлого, как бы невесомого пейзажа и суровых, словно придымяленных человеческих лиц, фигур, доспехов производит на зрителя сильное впечатление. Если бы еще ему не приходилось так часто отвлекаться, отрываться от творчества ради организационных, правленческих дел или просто чтобы заработать побольше для своего ненасытного семейства, оформляя какие-нибудь стенды или выполняя другие подобные заказы! А то ведь и жизни может не хватить, чтобы осуществить задуманное...

Роман Захоперский, ветеран войны, резал на линолеуме бесконечную графическую серию «Друзьям, которые не вернулись».

Куске, стыдясь своего телесного изобилия и как бы в пику чересчур расщедрившейся для нее природе, писала крохотные миниатюры: те же натюрморты, но в легком, чуть затуманенном цвете, и милые жанровые сценки.

Григорий Меженцев то увлекался индустриальными пейзажами, а то на целые месяцы переселялся в горы и выдавал потом хаотические на-

громождения красок, теней, света, причем все это в пределах реалистического понимания и узнаваемости изображаемых мест.

Михаил Кол, уроженец самого высокогорного, таежного и отчасти даже тундрового района республики, видел свою на редкость прекрасную малую родину в обрамлении оленевых, лосиных, или маральных рогов — так и показывал ее миру.

Неустанно компоновала разнообразнейшие букеты цветов —таежных, полевых, степных, садовых, весенних, летних, осенних и даже зимних, если можно назвать цветами или приравнять к цветам веточки кедра, сосны, ели с тяжелыми или, наоборот, легкими почти до прозрачности шишками и шишечками — Таисья Никольская. И она же, как это ни странно, с такой же неустанностью, буквально по клеточкам — есть такой противо-показанный творчеству метод, — почти не отрываясь от фотографий, писала однообразные портреты передовиков. Но какое отношение ко всему этому имел я?

Монгун-оол хватался за все. Копировать самого себя ему быстро надоело, а новая большая тема не обожгла, не скала сердце с такой силой, что невозможно не писать: не напишешь — задохнешься. Он кинулся вдруг в театральную декорацию, оформил два-три спектакля, и помню, хорошо помню, как поднялся зал, аплодируя, вызывая художника еще до начала действия, едва отдернулся занавес и представал перед нашими зрителями-кумачанами, бывавшими или не бывавшими в Ленинграде, вид на Неву и Петропавловскую крепость, и, кажется, даже ветром морским повеяло с залива... Второй раз столь же ошеломляющее впечатление произвела на всех созданная им для тайгинской исторической драмы панорама родных гор — сочетание свежести таежной долины с желтеющей в отдаленье выгоревшей степью. А после этого Монгун-оол оставил театр и занялся книжной иллюстрацией.

В то время в Тайге много издавалось приключенческой литературы и на русском языке, и в переводах на тайгинский. Книжки такого рода хорошо раскупались и давали издательству доход. Монгун-оол оформил приключенческую повесть «Камо» — об известном герое-революционере, много лет в тюрьме притворявшемся сумашедшим, — и это был тоже своего рода шедевр его мастерства. Помню — и не один я, вряд ли стерлась эта иллюстрация из памяти кого-либо из читавших книгу в тайгинском издании — расширенные, остановившиеся, мертвые, непроницаемо-безумные глаза, в которых невозможно прочесть ничего — и можно прочесть преданность революции.

Как страшно, как кощунственно пригодилось это потом Монгун-оолу! Впрочем, не буду забегать вперед.

Книжная иллюстрация, театральная декорация — все это было, конечно, как бы передышкой. Как раз к очередному приезду членов Всероссийского выставкома Монгун-оол написал несколько блестательных, конкретных и обобщающих пейзажей и поверг в изумление почтенных судей нашего труда. Все остальное, что представили тогда мы, не шло с его работами ни в какое сравнение. Один из членов выставкома так и изволил заметить, ткнув перстом как раз в мою работу:

— Ну, что это после “Скалы предостережения” — цветная фотография.

«Скалу предостережения», работу Монгун-оола, я никогда не забуду. Не простой это был пейзаж. На первый взгляд казалось, что на зеленой лужайке, на фоне каких-то кустарников и светлого, прозрачно о неба стоит спиной к зрителю высокая стройная женщина в тайгинском наряде. Стоит она, и у ног ее вьется, серебристо поблескивая, змея. Но взглядишься — нет, не змея это, а шоссе, даже машины видны на нем, мелкими бусинками катятся. И не кустарник у ног женщины, а густые таежные чащи. Да и не женщина это вовсе, а скала, радугой камня переливаясь, застыла над дорогой...

Человекоподобные горы и скалы в Тайге — не редкость. Известны легенды об окаменевших воинах, охотниках, прекрасных девушкиах и жестокосердых ханах. Возможно, одна из таких легенд и вспомнилась Монгун-оолу? Но почему все-таки “Скала предостережения”? Почему именно предостережения? Кому? От чего или против чего? Искусствовед, писавший об этой работе, понял ее так: сходство дороги со змеей не случайно; автострады, изрезавшие землю до самых заповедных уголков, уродуют ее лицо и могут умертвить, ужалить, как змея, или задушить, как удав, неповторимую красоту земли. С таким пониманием согласились: экология входила в моду. Мне показалось иное. Я поручился бы, что «змея» не угрожает «женщине», а служит ей, как служили тайгинским шаманам и шаманкам их «священные змеи». Что она наделена, «наслана» женщиной-скалой, может быть, шаманкой, умеющей превращаться в камень — но на кого? И почему змея все-таки оборотилась дорогой? Этого я объяснить не мог: что поделаешь, не искусствовед.

Работы Монгун-оола — и «Скала предостережения», и другие пейзажи — снова пошли по большим выставкам, по стране и за рубеж. Вскоре ему пришел вызов: в составе группы советских художников он выезжал в Италию. Приглашение было на два лица — «с супругой», но Наташу Монгун-оол с собой не взял.

— Детей не с кем оставить, — отвечал на недоуменные вопросы.

Да, у них уже было двое или даже трое сыновей. Все, к сожалению, довольно невзрачные, в папу, но зато какими звучными и значительными именами наделил он их! Чыргал — Счастье, Чечен — Искусство, Мерген — Мастерство... Надежда Филипповна моя все, бывало, советовала Наталье родить девочку, «да такую же хорошенькую, как сама». Мне тоже очень бы этого хотелось — не должна такая красота пройти и уйти бесследно! — но что здесь может зависеть от сторонних советов и пожеланий?

«Ср.техн.образования» Наташа так и не получила. Сидела дома с малышами. Стоило Монгун-оолу только пальцем шевельнуть — нашлись бы детям места в яслях, в детском саду, а Наташе — работа, хоть на швейной фабрике. Айыжи и предлагала, и Наташа, по ее словам, была не против — воспротивился Монгун-оол.

Она, видите ли, была нужна ему дома — всегда дома и всегда рядом!

Хотя сам он дома бывал меньше всего. Мастерскую-мансарду получил один из первых, и если не там работал — пропадал у друзей.

У друзей? А были у него друзья? Не знаю. Он бывал у меня, у всех наших художников, актеров, часами посиживал в редакциях газет, изда-тельстве. Но кто был ему настоящим другом? Не знаю.

Тайгинцы дружат крепко. Есть древние законы родства и соседства. Но крепче всего, пожалуй — интернатское братство. Как в пушкинском Лицее. Иной раз диву даешься: с чего бы это перспективный ученый или руководящий работник, опора нравственности, так нянчится с какими-нибудь спившимся, опустившимся подонком? А они, оказывается, десять лет за одной партой просидели, и койки ихние в школьном интернате стояли рядом. Были у Монгун-оола такие друзья? Наверное, должны быть. Но не знаю.

Мне в ту пору вообще было не до Монгун-оола. Не до его поездок за рубеж, отношений с Наташой и друзьями. Все заслоняла своя беда. Я был в тупике: ни одной из представленных мной работ выставком не принял.

IV

Ну и что же? Я не мальчик, чтобы плакать от неудач. Мне давно за пятьдесят. Не мальчик — вот и понимал, что не случайная это неудача, а итог. Итог определенного этапа в творчестве — или всей жизни? Страшило последнее.

Я знал, что давно уже не работаю так, как прежде. То есть работать-то я мог даже больше прежнего, но как же редко мне этого хотелось! Усталость? Возрастная лень? Пустяки, то и другое можно преодолеть. Не было желания работать. И темы — той, которая зажгла бы душу, сдавила сердце, силком погнала к мольберту — не было!

Я неплохо зарабатывал, выполняя различные заказы на оформление улиц, учреждений, общественных зданий.

Я был примерным отцом семейства. Дочери, окончив школу, поступили в вузы и не бедствовали там, получая ежемесячные добавки к своим стипендиям.

Дом мой был полной чашей и всегда открыт для гостей. При желании я мог позволить себе ехать, куда захочу и на сколько захочу, в ту же Италию, по туристической путевке. Не хотел!

Лень работать... Но я и дома не мог сидеть. С отъездом детей мне все чаще не хотелось идти вечерами домой, возвращаться в это теплое гнездышко, ухоженное руками Надежды Филипповны, к ее огурчикам и грибочкам, крученой смородине и домашнему салу. И я стал приходить все позже и позже.

Засиживался в ненужных гостях у людей, которые были мне не так чтобы интересны — лишь бы время провести. Разумеется, не обходилось без бутылки: то я угощал, то меня угощали — и в конце концов я начал основательно пить.

С Надеждой Филипповной мы уже не разыгрывали нежных супругов. Взаимные обиды, накопившиеся за годы совместной жизни, прорывались

то и дело. Конечно, обижал больше я ее, особенно за последнее время: выпивки эти, знакомства с женщинами. Она же как будто и не грубила мне, и выходки ее, якобы оскорбительные для памяти Лиды, я, скорее, теперь уже могу в этом признаться, придумывал или — додумывал...

Скажем, стоит Надежда Филипповна, еще молодая, перед зеркалом и внимательно себя рассматривает в нем, то и дело переводя взгляд со своей белой груди на портрет Лиды, тоже отраженный в зеркале. И что? Мне ведь, мне хотела понравиться. Усмотреть в этом издевательство или оскорбление памяти умершей соперницы мог только необъективный, враждебно настроенный человек. Вот и я был необъективен. Не любил Надежду Филипповну, и все.

Притом я не лгал себе, обнимая ее по ночам: в этом она мне очень подходила. Может быть, даже больше... Ну, хватит, далеко зашел. Но разговоровочных с ней не терпел.

Как замучила она меня ревностью, когда почувствовала себя не домработницей, а женой и хозяйкой! Лиза, бывало, умела обратить в шутку любые попытки приятелей вернуть меня в беспощадное прошлое. Конечно же, ей это было больно, она ревновала, но никогда не показывала этого ни мне, ни другим. А Надежда Филипповна — какие основания она могла иметь для ревности, какие права на меня? Так думал я тогда, и даже сейчас, вспоминая, невольно заражаюсь прежней злостью. А не надо бы...

Больше всего я злился на нее, когда уже вступил в полосу неудач. Знал, что со смертью Лиды оставил меня прежнее веселое вдохновение, и бессмысленно винил в этом Надежду Филипповну. Мне казалось, что она отняла у меня вдохновение, заставила разменять мастерство на денежные заказы: она, все она... попадись мне тогда эта женщина в лихой час под пьяную руку — неужели?..

Нет, Монгун-оол, я не сделал бы этого. Знаю, что не сделал бы. Единственное, чего я хотел — уйти. Дети выросли, это стало возможным.

К тому времени я переселился в небольшую двухкомнатную квартиру со всеми имевшимися в нашем городе удобствами. В старом доме осталась мастерская. Я все чаще стал в ней ночевать, и вполне сознательно. Расчет был таков: Надежда Филипповна привыкнет к моему отсутствию и не будет в особой претензии, если я вовсе не вернусь. Ведь у нее останется квартира, все эти коврики, кресла, зеркала, хрустальные фужеры — все, что так дорого ей. А у меня — картины, этюды, или я среди картин, этюдов в милю лидином доме. Мне мерещилось даже, что мастерство и вдохновение вернутся ко мне, едва я окажусь один на один со своими работами...

Не вернулись. Может быть, потому, что один на один я с ними не остался? Разные люди, все больше случайные, никакого отношения ни ко мне, ни к искусству не имевшие, повадились в мастерскую. Что вело их ко мне? Любопытство? Сочувствие? Ведь за бутылкой я не то что бы жаловался на свою жизнь, но довольно едко и беспощадно осмеивал ее, а это вызывало жалость — или презрение? «Жалость хуже

презрения», — лет полтораста назад или даже больше сказал один умный человек; он был романтик, значит, немножко все приукашивал, но эти слова, по-моему, справедливы и нет в них никаких прикрас. Разве те, кто, жалея меня, приходил и приносил бутылку или еще приводил с собой размалеванных, тоже жалостливых женщин, не презирали на самом деле опустившегося художника, не радовались падению еще недавно недосягаемого для них, обывателей, человека искусства? «Ты же ниже нас, мы выше тебя!» — говорил мне недобрый блеск их глаз. И я не обманывался: знал, что их побуждения достойны самого жестокого презрения. Но остановиться уже не мог.

Меня остановили грубо, болезненно. Больней некуда. Кто-то посоветовал Надежде Филипповне, после того, как очередная попытка задобрить меня, вернуть домой окончилась неудачей, обратиться с заявлением в нашу партийную организацию. Да, я ведь был коммунистом. Когда делал свои агитлистки и вообще всегда. В двадцатых годах вступил в комсомол и... да что тут говорить!

Меня не думали исключать. Партию намечало ограничиться выговором — в основном, за пьянку. Но я сорвался сам. Алкоголь ли ослалил мою волю (в тот день, конечно, я был трезв — ну, а накануне?). А за три дня, за неделю? Или вырвалась на свободу накопившаяся злость, только на собрании я кричал черт знает что о сплетнях базарных баб, о тонне семечек, якобы необходимой для их обсуждения, и это показалось всем особенно обидным — и о том, конечно, «кто из вас без греха»... А когда собрание возмутилось и посыпались гневные реплики, положил на стол партбилет. Говорю об этом, и странно: физически ощущаю в сердце пустоту, плоскую прямоугольную пустоту, как будто билет вынул прямо оттуда. После такого не восстанавливают. А убеждения мои с двадцатых годов и до сего дня — при мне.

После собрания я закрыл для всех двери своей мастерской. В конце концов, кому какое дело до меня? Один, изгнан из коллектива. Лишен уважения и доверия — так пускай уж совсем один.

И это не получилось. Выходить все же надо было, хотя бы на обед. Прихожу однажды из столовой — в мастерской чистота, пол вымыт, раскладушка моя белоснежным бельем застелена, а за веревочку, где я носки сушил, аккуратные «плечики» зацеплены, на них два костюма — прямо из магазина. И никого. И в кармане одного из пиджаков — записка:

«Алексей Иннокентьевич, поступили на базу. Примерьте, который пойдет. Надя». Пришла, значит, со своим ключом (замок сменить не догадался!), навела порядок, оставила приманку и подалась. Костюмы я мерить не стал, не продался, но такая вдруг навалилась усталость... Лег на раскладушку в чистое, прохладное белье — и как умер. Сутки или двое проспал, не знаю. Просыпаюсь от женского плача. Обе тут — Надежда Филипповна и Юленька, сестрица. И, кажется, Чамзы. Не разглядел. Снова глаза под лоб. Нервное истощение. Это у здорового мужика пятидесяти с лишним лет!

После того до самой пенсии меня никто из художников, кажется, все-рьез уже не принимал. На оформительскую работу заказы все хорошие доставались, и, пожалуй, не случайно. На этюды выезжал, передвижные выставки возил — нормально как будто. На зональные кое-что проходило. И как будто все вежливы, почтительны даже — а все, как с не-живым. Может, потому и уехал отсюда.

Тут еще одно: подозрителен я стал, недоверчив к людям. Вроде бы всем и каждому от меня что-то надо. Чамзы идет — что он, председатель правления Союза художников республики, член партбюро, забыл в моей мастерской? Куске странно как-то поздоровалась и в сторону глядит — с чего бы? Знать дураку следовало, что у бедной нашей крупнотелой «Мышки» свои заботы: сын замучил, безотцовщина двухметровая, весь в мать и в рыжего великана-геолога, проработавшего в тайге только один сезон; от рук отбивается, со шпаной дружить начинает... А Чамзы, живая душа, проводить меня хотел и ничего иного. Надежда Филипповна — опять мы с ней вдвоем под одной крышей оказались! — мою подозрительность подогревала, ей было на руку, чтоб пореже я в чужих людях бывал, а чужие у меня. Так из компанейского мужика я бирюком стал. Сам ни к кому, к себе — никого.

Исключение сделал лишь однажды, для Монгун-оола с Наташой и младшим ребенком. И совершенно напрасно.

Монгун-оол явился ко мне не в мастерскую — на квартиру, в крахмально-хрустально-полированное царство Надежды Филипповны. День был не то праздничный, не то около того, к тому же на каникулы приехала наша студентка Маришка. Валентина к тому времени окончила вуз и жила уже своей семьей, Нинка после сессии в экономическом институте отбыла, кажется, в стройотряд, а может, к брату на Украину, зато Маришка — домой, в Тайгу, ко мне! Трудно представить себе, как я был рад, да, кажется, и Надежда Филипповна тоже. Дочь совсем по-школьному с утра подхватывалась и бежала — летела купаться, то на речную протоку, огибавшую кумачинский парк, а то и на саму Великую, как раз под мой обелиск, на быструю чистую волну. Дни проводила то в беготне к подругам, сколько их могла еще разыскать, встретить в нашем городе, а то вдруг нападет на нее — и сидит дома, стяпает какие-то кулинарные чудеса по невероятным, в институте, что ли, усвоенным рецептам. Хотя институт отнюдь не кулинарный, а педагогический, иностранных языков.

В такой хозяйственный маришkin день и явился к нам Монгун-оол с женой и грудным малышом. Важный, сияющий довольствием, нарядный. Наташа тоже выглядела неплохо, модно одетая, но от того не потерявшая особенного в своем облике — ох, как важно в современной одежде, всех перекраивающей на один салтык, этого особенного не потерять! Наташа была вся и во всем достойна своих портретов — и ранних, и «Саянской мадонны», и опять склонялась над ребенком с такой нежностью, хоть снова мадонну с нее пиши. Только, пожалуй, такого облия солнца не было бы в новой картине, если бы за нее взялся я: глаза Наташи показались мне затаенно печальными.

Монгун-оол шумно приветствовал нас, восхитился тем, как повзрослая Маришка (она высынулась из кухни поздороваться с гостями и теперь обнималась с Наташой). Надежда Филипповна завладела малышом и тетешкала его. Вот уже наш гость уселся самым обычным образом, бросил свое обычное:

— Какие новости? — и, не дожидаясь ответа, сам начал делиться новостями. Он рассказывал о поездках за границу, об успехе своих новых работ, о блестящих предложениях, которые делали ему, якобы, «в деловых кругах» различных стран, сыпал именами всемирно известных художников, небрежно, как будто знал их с детства, упоминал о встречах с ними... Все это несколько напоминало Хлестакова, но, впрочем, выглядело вполне правдоподобно. Наташа не вмешивалась в разговор: помогала Надежде Филипповне с Маришкой накрывать на стол. Когда все было готово, Монгун-оол торжественно извлек из-под кресла, на котором сидел, вместительный когээр — тайгинский кожаный сосуд для хмельной молочной араки. Я не очень люблю араку — кисла и кефиром отдает, Надежда Филипповна вообще ее не переносит, но когээром невозможно было не залюбоваться: такое прекрасное тиснение, строго национальный узор, отличная форма... Где же сохранились еще мастера, способные творить такое?

— Не сам делал? — спросил я, указывая на когээр, когда мы выпили по первой. Монгун-оол усмехнулся:

— Ну, зачем же! Нашел. Знаю, где найти. Хорош? В музее нет такого? И не будет. Не отdam. У меня вообще скоро все будет только такое. Все эти ковры, мебель полированную из квартиры уберу. Будут у меня аптара разных размеров с узорами, чем эти сундучки хуже импортных «стенок»? — будет орун с расшитой подушкой, ширтеки войлочные строченные. Юрта будет, только ханская или такая, что и хан не мечтал. Посуду оставлю только национальную. Все!

Что ж, мне это даже понравилось. Я против обезличенной обстановки, делавшей все квартиры похожими одна на другую. Но где найдет Монгун-оол все, что назвал сейчас? К нашему глубокому сожалению, в свое время, ратуя за обновление быта тайгинцев, мы недальновидно растеряли, упустили многие старинные ремесла. Одно искусство — резьба по камню — процветает, а тиснение по коже, чеканка, художественное литье, изготовление узорных войлоков и кошм, ширтеков, посуды, — все фактически заглохло. Умирают старые мастера, а новых нет... Может быть, Монгун-оол узнал секрет, как спасти эти искусства, сделать их общенародным достоянием?

— Я, дорогой Ксейкентьевич, — сказал мой ученик, — много знаю. Да не всякому скажу. Вам с достоуважаемым Чамзы Тюлюшевичем, безусловно, не скажу. И музейным искусствоведам — тоже. Старики живы, старики свое дело делают, хансскую юрту в квартире пятиэтажного дома мне воссоздадут, будет что зарубежным гостям и показать, и подарить, а в остальном... За ваши действия Монгун-оол Доржу — простите, не отвечает. Вы кричали: «Искусство принадлежит народу», а сами-то народ-

ное искусство вытесняли эмалированными кастрюльками — вам и ответ держать перед потомством. Монгун-оол Доржу не из тех, кто узоры с алтаря или ширтеков в альбомчики перерисовывает, Монгун-оол Доржу — самобытный художник, творец, узорные коврики да сундучки для него — условия творчества, но не само творчество! И адресов не даю: езжайте сами, ищите, может, найдете что.

Вон как он заговорил, скромный студентик из нетопленой мастерской! Правда, тут, пока речь шла о народных мастерствах, я не осмеливался возражать: не разделял, конечно, его ликующе-потребительского индивидуализма, но и виноватым себя не признать не мог. Все же мы упустили, допустили угасание мастерства, а он, пусть для себя, но отыскал мастеров и успел возродить их секрет. Талантливый человек во всем талантлив, это я знал.

Наташа слушала застольные откровения Монгун-оола, не поднимая глаз. Надежда Филипповна старалась ввести разговор в более мирное русло, подкладывая на тарелки гостям разную снедь. Маришка, к счастью, завершила на кухне отделку своего кулинарного чуда и ничего не слышала. Не то, наверное, взрыв произошел бы раньше.

Когда, оставив свое «чудо» «отдыхать» под полотенцами на кухонном столе, она вошла в комнату и присоединилась к нам, разговор шел уже о другом. Впрочем, первую скрипку все так же играл Монгун-оол. Раскрасневшийся от выпитого (в ход пошло уже кое-что и покрепче араки, из наших с Надеждой Филипповной запасов), лоснясь самодовольством, он утверждал, что ... недоволен собой.

— Ну, посудите сами, Ксейкентьевич, как мы пишем? Это же размалеванные фотографии, это скука и тоска. Почтенная Таисья Евграфовна расчертил фото на клеточки, перенесет все на холст — и это называется портрет? Не менее почтенный Чамзы выписывает ленточки на шапке чиновника и капельки крови на икрах истязаемого арата — и это называется реализм? Милая мышка Куске штампует свои натюрморты, как будто на плите русские блины печет — и это мы называем искусством? Не-ет, позовите не согласиться! Ваш покорный слуга (и откуда он таких выражений набрался?) «Ваш покорный слуга», «позовите не согласиться, почтенные, достопочтенные» — у академиков, что ли? — бывал на лучших вернисажах мира и осмеливается судить, что такое искусство. Искусство, дорогой Ксейкентьевич, это вам не «Саяны пробужденные». И не «Минометный расчет братьев III.». Так и запишите в энциклопедию...

Вон куда забрался, милый ученичок. Да, еще в начале 50-х годов мне повезло: в том «Художественной энциклопедии» на букву «Т» была внесена такая запись: «Темнин Алексей Иннокентьевич, род. 1913, русский советский художник, основатель тайгинской советской национальной художественной школы. Известны его работы: «Саяны пробужденные», «Минометный расчет братьев III», «Урок географии», «Облепиха». Все работы лидиного времени, кроме «Саян пробужденных» — эту я написал раньше, все действительно неплохи. Пожалуй, лучшее, что у меня есть за всю жизнь. Итак, они — не искусство? Пока он болтал о Таисье

Никольской да о Куске, возражать не хотелось, да и возразить, пожалуй, было нечего. Только неудобство ощущалось: судачим об отсутствующих, как кумушки. Чамзы мне стало жалко, но разве я сам не считаю чрезмерное выписывание деталей недостатком? И вот — на тебе, получай в лоб: не искусство! И не возразишь: зажим критики, да еще засильной...

Искрна-серыми лидиными глазами глянула тут на Монгун-оола Марышка:

— Должно быть, Монгун-оол Бижекович, вы объясните нам, непросвещенным, что же такое искусство?

Монгун-оол не спеша допил вино из фужера, поднял его к глазам и довольно долго смотрел сквозь хрусталь на мою dochь. Затем, чуть отведя в сторону руку с фужером, медленно и важно заговорил:

— Искусство, деточка (дурак, дурак, неужели не знает, что двадцатилетние не терпят таких обращений?) — искусство, моя девочка, заключается в том, чтобы совместить блеск хрусталя с твоими глазами, вот такими злыми глазами, и удержать это в воображении. Чтобы глаза уехали в институт, слепнуть над конспектами, хрусталь — раз! — тут он разжал пальцы, фужер грохнулся на стол и рассыпался мелкими осколками. Наташа ойкнула и принялась их собирать, а Надежда Филипповна забормотала «Ничего, ничего», хотя заметно было, как она расстроилась. Монгун-оол же, как ни в чем ни бывало, продолжал: — А в памяти, в воображении это все должно сохраниться и проявиться на полотне, но это не обязательно будет портрет студентки Марины с бокалом в руках. Может быть, получится свет звезды, отраженный и преломленный гранями горного ледника, а может, что-нибудь еще — откуда же я знаю? Художник не знает, что он пишет, пока не написал. Напишет — узнают и он, и другие.

Вон она какая теория, подкрепляемая битьем посуды! Где-то я это читал, но до конца не мог согласиться. А Монгун-оол развивал дальше свою философию:

— Вообще, дорогой Ксейкентыч, все эти реализмы, этнографизмы — свалка старья. Главное в живописи — цветовое пятно, контрастное пятно, оно и делает картину картиной, будь она трижды реалистической или четырежды абстрактной. Абстракционисты отличные ребята, они понимают цвет. Вы, Ксейкентыч, один раз в жизни поняли тоже, в «Обленихе» — бессознательно, однако получилось. Очень жаль, что только один раз. Миша Кол иногда близок к пониманию. А больше никто, у нас в Тайге никто, да и там, в России, мало. В Армении понимают. Не все — но и то хорошо. Но за рубежом я видел полотна... Чистый цвет, ничего больше. В России это было, веке в тринадцатом, а потом — только Петров-Водкин. И никто иной. Выпьем «петровской» водочки в память его! — и, нагнувшись под кресло, он вытащил очередную бутылку. Наташа, молчавшая до тех пор, тихо сказала ему несколько слов по-тайгински. Смысл я уловил: хватит, мол, куда еще, и так посуду бьешь. Монгун-оол по-тайгински же оборвал ее, резко, и, как мне показалось, чуть не

бранным словом. Он и вправду много выпил, и я не отставал от него, но почему-то оба мы не пьянели, а когда он цыкнул на Наташу, в глазах у него мелькнула трезвая холодная злость.

И снова вмешалась Маришка:

— Интересно, — нараспев, растягивая слова, начала она. Видно, так принято у них, в студенческих спорах. — Выходит, апология Петрову-Водкину недоказуема без «Петровской» водки? А не кажется ли вам, что это, как выразился папа, кощунство? И — неужели вы, Монгун-оол Бижекович, всерьез способны утверждать, что на Руси тринадцатого века и до Петрова-Водкина настоящих художников не было? Или — хотя бы понимающих цвет? Как можно отказать в понимании цвета Коровину? Нестерову? И раньше, раньше — ну, хотя бы Бенецианову? Не называю имен, которые у всех на устах. Я, конечно, не художница и не бывала за границей, но выставки, поверьте, не пропускаю ни одной, с детства приучена. И в Москве не пропускаю. Ни наших, ни зарубежных. Абстракционисты — образец понимания искусства или хотя бы цвета? Познакомила бы я вас с вашим единомышленником. Вы тут походя обозвали меня ребенком, а сами рассуждаете, как первокурсник. Есть у нас такой Боб, все бы ему абстрактная живопись, конкретная музыка... А зачета сдать не может. Вы-то, кстати, завершили образование?

Я думал, он кинется на Маришку или перевернет стол. Но он спокойно откупорил свою бутылку, налил по стопке себе, мне и Надежде Филипповне, Наташе, кажется, тоже, а все остальное вылил в огромный фужер — точно такой же, как разбитый — и с улыбкой протянул Маришке:

— Я вас внимательно слушаю, молодая защитница авторитетов. Я не сердусь на вас за ваши намеки. Вы прелестны в гневе. Мужу вашему будущему не завидую, но для художника вы — отличная модель. Выпейте же это во славу Петрова-Водкина, и вы сами увидите чистейший цвет. Только, чур — до дна. Ну, ну, не притворяйтесь школьницей, я ведь знаю современных студенток! Современные студентки пьют и курят. Вы же курите, Марина, только от родителей скрываете? Не стесняйтесь. Выпьем, закурим и помиримся.

Наташа несколько раз пыталась прервать эту его тираду, но он только отмахивался от нее, словно от мухи. Марина сидела как на иголках. Внезапно, на что-то решившись, она протянула руку через стол и взяла фужер:

— Спасибо. Правда, я не совсем современная студентка в вашем понимании — не пью, не курю и абстракционистов не люблю, — но если вы так настаиваете, могу и расправиться с содержимым этого сосуда. Не хуже, чем вы — с авторитетами. Ведь вы настаиваете? Не так ли и отца пытались недавно споить с круга вы или вам подобные? Но мы с отцом не робкого десятка, нас не так легко споить! Смотрите! — она встала, распахнула дверь в кухню, и с порога, движением фокусницы, выплеснула водку в раковину. Поставила фужер на стол, села.

Монгун-оол напружинился, готовый вскочить с места. Но сдержался. Сгреб со стола стопки, приготовленные для нас, составил на тарелку с какими-то обедками и широким жестом протянул Марине:

— Вылей и остальное, раз ты такая... несовременная. И запомни: Монгун-оол Доржу, художник, Тайга, СССР, с твоим отцом и всем вашим семейством отношения прерывает. Вам не надо моего, мне - вашего угощения. И вашего искусства. А Темнину Алексею Иннокентьевичу, род. 1913, советую заглянуть в энциклопедию на букву «Т»: не прибавилась ли там, рядышком, еще одна дата? Я немножко шаман... Вечная вам память вместе с вашими классиками и отжившим реализмом.

Он встал и твердой, трезвой походкой направился к двери. Наташа вскочила, вскрикнула по-русски:

— Монгун-оол, прекрати! Мне стыдно...

— Что бы ты понимала, дурочка, — тоже по-русски, по-сибирски даже ответил он и хлопнул дверью. Наташа засуетилась, побежала в комнату Маришки, собирать спящего ребенка. Я слышал, как Надежда Филипповна уговаривала ее оставаться, попить чайку, муж, дескать, на улице охолонет, придет домой, проспится, а ей можно и у нас переночевать... Маришка упрашивала тоже, чуть не плакала, что не попробовал никто ее «чуда», так и забытого на кухне под полотенцами. И, наконец, завернула Наташе все это «чудо» — для детей.

Я не чувствовал опьянения, но сидел, придавленный к креслу, как будто руки-ноги у меня налились свинцом. Но когда Маришка набросила на себя плащ — провожать Наташу, я встал и пошел с ними. Мы шли рядом, все трое, я нес ребенка, был чудесный теплый вечер. Наташа молчала, и мы с дочерью молчали тоже. Наконец, Наташа подняла глаза и заговорила:

— Не обращайте на него внимания, Алексей Иннокентьевич. Монгун-оол теперь такой. Стал таким. Он сам ничего не понимает. Я еще не знаю, как сделать его прежним. Но я подумаю. А вам за все, за все спасибо.

Нет, Наташа не была дурочкой. По-моему, она была умнее своего многогоречивого мужа. Она снова умолкла, и мы еще шли по вечернему городу, и я нес на руках ее ребенка, сына своего ученика, своего врага. И оставалось еще шесть лет.

Шесть лет до убийства.

V

Больше Монгун-оол у меня в доме не бывал. В мастерскую тоже не заходил. Впрочем, о разрыве «дипломатических отношений» заявлено было все же вгорячах и, пожалуй, спьяну.

При встречах в правлении Союза художников, на выставках, на улицах он всегда здоровался первым и начинал разговоры. Нормальные разговоры, без провокаций, хотя и не без хвастовства. Вот только в застолье мы больше не встречались. Наташа попадалась на улицах, в магазинах, тоже на выставках — больше никуда, даже в кино, в отсутствие Монгун-оола она не ходила, да и при нем почти никуда. Уж она-то при встречах вся тянулась ко мне, к Надежде Филипповне, к приезжавшим девчонкам — ну, словно к родным. Дома у них тоже не бывали. А те, кто бывал, Чамзы, в частности, и его жена Айыжы, рассказывали, что Монгун-оол и вправду все полы застелил белоснежными узорчатыми ширтеками, Ната-

ша только и обрабатывает их день-деньской пылесосом; по стенам, действительно, алтаря многоцветные, ширээ — это подставочка для буддийских статуэток, своего рода иконостас — со всяческой литой и каменной малой скульптурой; даже книжные стеллажи оформлены в национальном стиле. Сам делал их или и на это нашел мастеров, неизвестно. Картины, даже свои, он из квартиры убрал, только два холста абсолютно необъяснимой абстракции оставил — «подарки зарубежных друзей». Жить в такой, с позволения сказать, «юрте» приходилось осторожнее, чем даже в полированном царстве Надежды Филипповны: ребятишки ходили по квартире на цыпочках в белых вязаных баретках, да и не очень ходили, а больше сидели в своей, обособленной и более обычной, комнате, и Айыжы очень их из-за этого жалела. Впрочем, они один за другим поступали в школу и учились все прекрасно. Сам же Монгун-оол работал в мансарде и по-прежнему много ездил: на творческие и академические дачи, выставки, в составе выездных бригад художников России, Сибири и т. д., ну и, конечно, за рубеж.

Не было его в Тайге и в то время, когда я отмечал свое 60-летие, то есть, фактически, проводы на пенсию. Проводы — это проводы, почти похороны, что уж тут веселого. Тем более многие знали, что я собираюсь уезжать в Рязань. И все же — веселый был вечер, как будто снова вернулась ко мне молодая бесшабашность. В зале старой столовой, которую я помню еще первым в городе рестораном и которая к моему юбилею порастеряла былую респектабельность, пообносилась, а как отпраздновали мы — тут ее, родную, месяца через два и снесли, — вот в этом зале все всласть не только пили и ели, но и произносили разные тосты, стараясь друг друга перещеглять в остроумии, и пели на все голоса, и плясали, и снова пели... И все это было искренне, без принуждения, без натяжки, Айыжы помогала Надежде Филипповне и работникам столовой готовить, и наготовила таких тайгинских блюд, что представители Союза художников РСФСР, прилетевшие из Москвы, и на следующий день облизывались. Чамзы подарил мне охотничий нож с узорчатой рукоятью из лосиного рога, и я выплясывал какой-то якобы казахский танец с этим ножом в зубах, и все смеялись, и было мне хорошо. Дочери, все трое, и Нина тоже, взрослые, замужние, приехали и украшали зал своей разнородной красотой и единой у всех молодостью. Они на перебой разглядывали и обсуждали мой портрет, написанный Таисьей Никольской. Она изобразила меня в профиль, у окна, на фоне букета цветов, тщательно скомпонованного, и хотя поза, избранная Таисьей для меня, больше подошла бы женщине, что-то в этом было. Уж не знаю, фотографией она пользовалась или старыми набросками, но я ей не позировал, вышло все сюрпризом — и неплохо вышло, раз даже дочери признали.

Если кого-то мне не хватало в том застолье, так это Монгуна-оола с Наташей. Но его не было в Тайге, а она без него, как известно, никуда не ходила. И все-таки я ждал их обоих — и когда произносились тосты, и когда захмелевшая Куске, шурша длинным платьем (интересно, сколько

метров монгольского шелка пошло на него?), пригласила меня на «белый танец, дамский вальс», как она выразилась, и восторженно делилась новостью: ее отбивавшийся в свое время от рук сын Вовка не только исправляется, но еще и проявляет незаурядные художественные способности! Я кивал головой, радовался вместе с ней, а сам все ждал, что вот-вот откроется дверь и войдет Монгун-оол. Верным учеником или злым врагом, — но войдет! И за ним — Наташа. И когда плясал с охотничьим ножом в зубах — тоже ждал.

Они не пришли. Среди вороха поздравительных телеграмм была одна — от Монгун-оала, совершенно стандартная. И это было единственным, что омрачило мой юбилей.

Вскоре уехал. Пошли хлопоты о квартире, о переводе пенсии в Рязань. Занят я оказался больше, чем до пенсии, но — не делом, Жить стало скучно. Дотерпел кое-как до лета, и — в Тайгу. Вот теперь мы встретились с Монгун-оолом. Собственно, я видел его и в Москве, на открытии выставки «Художники России». Там были его полотна, написанные в новой манере, очевидно, с тем самым пониманием цвета. В одном, «Ночь в горах», что-то мне почудилось знакомое... Дикая, совершенно дикая природа. Не тайгинская даже. И где он такое нашел? Какой-то космический пейзаж. Острые пики гор, ледник — настоящий глетчер, я и не видел таких в Тайге. Все прорисовывается в синеватой тьме не резко, но вот этот глетчер горит, сверкает, преломляя лучи звезды, стоящей над ними в небе. Искрена-серебристое сияние... Глаза Маришки сквозь хрусталь, вон оно что! Попробуй, догадайся, при чем тут моя дочь! В общем-то, ничего нового в принципе для Монгун-оала тут нет: и в первых его работах из тумана, из дымки выступало сияющим пятном лицо Наташи, здесь прием почти тот же. «В чаще» — другое дело: там действительно пятно, причем, кажется мне, нарочитое, искусственное. Всё зеленовато-коричневое, и деревья, переплетающиеся ветвями, и маралуха, как будто сливающаяся с ними — как мохом поросла! — и только маленький брыклий мараленок резко высвечен солнечным лучом, причем не что-нибудь, а хвостишко его, отчасти — задние ноги и круглое светлое пятно на заду. Вот уж где точно цветное пятно! Нужно ли только оно?.. Мы расселись по креслам в самолете, Шагдыр-оол расстегнул свой туго набитый портфель, вытащил тоненькую брошюрку и, с неожиданной смущенной улыбкой, протянул мне:

— Вот, товарищ Темнин — у вас еще нет такой? Поглядите. Я поблагодарил без особого энтузиазма — думал, что-нибудь по вопросам закона и права, — но смотрю: каталог!

— Откуда у вас?

Грозный расплылся в улыбке и превратился в добрейшего Ивана Васильевича, а может быть, даже в дядю Ваню:

— Сын подарил. Прямо из типографии. Видите — «Б. Шагдыр-оол»? Это он! На художественное отделение поступил. Сначала в милиции работал, я думал, он и учиться пойдет по нашей части — но оказалось, у него способности...

И не понять, стесняется этот отец того, что сын пошел «не по нашей части» или гордится его способностями...

Листаю каталог. Имена все больше незнакомые — русские, тайгинские... Фамилии молодых камнерезов, за редчайшими исключениями, совпадают с известными, прославленными даже, но при каждой такой фамилии — три-четыре имени, а то и больше: Иргит Эрес, Иргит Зоя, Иргит Алдын-Херел... Династии. У резчиков так и передается мастерство; от отца — к сыну, от деда — к внуку, а теперь вот и к дочери, и к внучке.

Поймав на себе ожидающий, нетерпеливый, почти страдающий взгляд Шагдыр-оола, нахожу репродукцию работы его сына. «Байыр Шагдыр-оол. Личное время». Что бы вам представилось, услышь вы такое название? Оказывается —натюрморт: широкий подоконник, на нем — гитара, книжка раскрытая, черемуховая ветка в стакане и... милицейская фуражка. Надумано? Может быть, и нет. Вообще ничего особенного, но как судить по одной работе?

Можно судить. Вот Роза Монгуш, ученица Кас-оола: «Степь предгрозовая». Рука уверенная, не ученическая, да и не девичья рука; сгущающийся над степью сумрак даже на репродукции кажется плотным, тяжелым. Эта не будет выписывать завиточки-ленточки и перерисовывать портреты с увеличенных по клеткам фотографий. Еще школьница... Только бы ничто не помешало развить, развернуть дарование — ничего, даже семья, так много отнимающая у женщины... Хотя — и много ей дающая. И даже любовь.

Вон она, любовь — за моей спиной принкли друг к другу двое студентов, парень и девушка, шепчутся тихонько и, по-моему, даже целуются. Весь самолет спит, одни они... Напевают: «Ты — моя мелодия, я — твой преданный Орфей»... — это парень, конечно, а она смеется тихо-тихо, закрывает ему рот — не мешай, мол, людям спать. Думаю, что не мешает. И удивительно сливаются с напевом мотора.

В каталоге тоже то и дело слова «Любовь», «Невеста», «Свадьба», «Молодые» — понятно, выставка-то молодежная. Есть даже «Гора любви», жаль, без репродукции. Пытаюсь представить себе, что это может быть такое... А вот «Вдоль деревни» Люды Щукиной, помню ее в училище, теперь, должно быть, взрослая. Название уводит куда-то в тридцатые годы, ан нет — лист (Люда — график) оформлен как окно сельского дома в резных наличниках, северных, кружевых (где она видела такие? На творческой даче?) и как бы сквозь окно видна горница, девушка перед зеркалом, примеряющая фату, и на заднем плане, в глубине зеркала, позади ее отражения — улица, тоже, конечно, отраженная, и праздничная толпа, и непременная «Волга» с шариками... Сложновато — такая многослойность! — и в то же время простенько, Люда, поглубже надо бы...

Ого! Вот это интересно. «Екатерина Куске, Владимир Зевластов. Семейный автопортрет». Как это — Зевластов? И с каких это пор наша Куске выставляется с молодыми? Репродукция объяснила все: рука об руку, оба — с палитрами, этюдниками, кистями стоят два художника — мать и сын. Закончили работу, утомлены, но, пожалуй, удовлетворены

сделанным. Над чем работали — видно: за спиной юноши горный пейзаж, написанный несколько небрежно, широкими сильными мазками, за спиной женщины — привычный для Куске тщательно проработанныйнатюрморт. Так же тщательно, любовно выписана каждая черточка в лице парня, довольно-таки нескладном еще, полудетском, не русском и не тайгинском лице: узкие глаза, прикрытые большими круглыми очками, рыжеватые пробивающиеся усы, пушок на округлых щеках, младенчески беспомощные губы, даже родинка... Женское лицо, наоборот, набросано теми же резкими, крупными мазками, деталей не видно, но характер читается. Так, значит, сын писал портрет матери, а мать — портрет сына! Что-то в этом есть очень важное, не знаю, как назвать. Преемственность? Только ли? Вырос мальчишка Вовка, о котором так беспокоилась его одинокая мама Куске, фамилию унаследовал от отца, а руки — от нее, матери? И свое, новое, уже сумел внести в ее дело, ее искусство, потому что теперь оно — его искусство, его дело!

Сыновья и дочери, дочери и сыновья... Ученики и ученицы... У каждого — свой путь, свои находки и потери впереди.

И споткнется каждый, наверное, не раз, но лишь бы сумел распрямиться. Наверное, дорога художника не может быть совсем-то уж ровной, без камешка и выбоинки — иначе, кто знает, куда можно по ней докатиться?..

И опять вдруг увиделась мне «Скала предостережения» и змейка гладкого, сверкающего шоссе, выбегающего из-за подножия скалы... Неужели он мог провидеть свою судьбу, неужели он, Монгун-оол, предостерегал себя от соблазнов любви и славы — слишком легкой, безоблачной славы и неправедной любви? Но для этого действительно нужно быть гением — что же, он и тут не ошибается?

А вот это утверждать не могу, не хочу и не смею. Если бы это было так — большей несправедливости не ведал бы мир. Гениальность в творчестве и мелкая мстительность или расчетливая жестокость в жизни — совместимы ли они? Или — гениальность художника и преступная безжалостность убийцы? Да, наконец, просто самовлюбленность до самоупоения — вяжется ли она с тем, что мы называем старинным словом «гений»?

Не знаю, Монгун-оол. Не могу поверить тому, что писал ты и любимой женщине, и критику. Не думается, что ты, после всего содеянного, способен еще создать подлинные ценности искусства. Жаль, конечно, твоего дара, но кажется мне: убив Наташу, ты убил его в себе. Ни на Родине, ни на чужбине — нигде этого не воскресишь. Возможно, будешь тешить себя игрой цветовых пятен... И даже успешно... Все равно мертвое мастерство без живой души долго жить не может. А душу ты убил.

Когда-то я, полуслыша, цитировал ему «Моцарта и Сальери». Прочел ли он потом, успел ли и захотел ли прочесть мудрейшее из созданий Пушкина? Слышал ли, по крайней мере, о несовместимости гения и злодейства? Не знаю. Но ты и не был Моцартом. Мог быть, но не захотел, и сам стал для себя Сальери...

«...Ничто на земле не проходит бесследно», — мурлычет студент за моей спиной. «И юность ушедшая все же бессмертна», — тоненько

вторит студентка. Заурядная песенка, ничего особенного ни в музыке, ни в словах. Но сейчас она поражает меня правдивостью утверждения: ничто на земле, действительно, не проходит бесследно! Ничто. Никогда. Ни в чем.

Не напрасно боролась за сына робкая Куске. Не напрасно долгие годы в далеком селе прожил Вячеслав Кас-оол. И даже горькая жизнь и страшная смерть Наташи не бесследны: вон какой орленок оперяется в бабушкиной юрте!

И еще в одном права песня: бессмертна юность. Даже ушедшая навсегда. Юность Лиды, Наташи, Славы Кас-оола. И моя. И юность вообще. Наверное, об этом я буду говорить на открытии выставки. А когда она откроется, когда познакомлюсь со всеми ребятами, ее авторами — славные, должно быть, ребята! — и нагляжуся на них, на их работы, наговорюсь с ними, тогда настанет время нам с Чамзы снова ехать за камнем. Хороший нужен камень, твердый и податливый. День и ночь, как в ту незабвенную, в ту страшную для меня весну на могиле Лиды, стану я работать на наташиной могиле. Памятник ей должен превзойти все прижизненные портреты — от «Девочки с ягненком» до «Саянской мадонны». Я уже вижу его. Но говорить о том, каким его вижу, рано. Многое еще уточнится в работе, многое мне подскажет сам камень. И всего одно слово будет на постаменте — ее имя. Ее ведь не Натальей звали. Я только недавно узнал настоящее имя ее — Найдан. Вечная.

1978—1979 гг.,
Комарово—Кызыл—Переделкино.



Күулар Черлиг-оол

ПОЮЩАЯ ПЕЩЕРА

(Главы из повести «Шораан». Начало в журнале № 2, 2000)

Сильный дождь все приближался. Тепло солнечных лучей, влажные запахи луга Шораан ощущал всем телом. Чуть слышный ветерок поглаживал его лицо, а в ушах порывисто звучало: «Я принес весну».

Снег начал таять. Совсем недавно по сугробам можно было ходить легко, а если сейчас наступишь в сугроб, — захрустит-захрустит, и провалишься, упадешь.

Если бы видели глаза! Любовался бы сосульками — теми, что висят на скалах, точно сабли. А для слепого приход весны — это прежде всего пение птиц. Вечерами из-за юрты слышится крик совы, он похож на горький плач поранившегося ребенка, даже страшно становится. Ошеломляют ночные звуки весны, а утренние — прекрасны.

Скоро запоют жаворонки, вот тогда по-настоящему порадуется сердце. А когда вступят звучными голосами перепелки, то услышишь, как заиграет, словно целый оркестр, веселое лето. «Белый цвет похож на снег. Луна тоже белая. Солнце красное, огонь красный, все это я знаю от мамы. Как странно: красный цвет горячий, а белый — холодноватый. Скалы желтые, голубые, темно-синие... Я слышу только их эхо. Эхо бывает разное: глухое и звонкое, высокое и низкое. Земля черная. Черный — это спокойный. Вечер тоже спокойный. А для меня все темным-темно. Ничего не вижу. Только с помощью звуков да наощупь я делю все так: крутой, вытянутый, высокий, гребенчатый, тонкий...»

Скалы высокие-высокие, острые-острые, твердые, холодные, а поверхность у них гладкая. Они задерживают звук и рождают эхо? Удивительно! Ау-у! Мой крик повторила ближняя скала, скала напротив нее — тоже. Ну, а теперь все стали аукать. Какие озорные.»

Пока Шораан грелся на солнышке, предаваясь своим мыслям, подошел дед Сандак.

— Сидишь, сынок? Над Буурой собираются черные тучи, скоро ветер подует. Пойдем, послушаем хоомей Эдер-Куй?

— Ой, как хорошо! Конечно, пойдем, дедушка. Я только что думал об этом. Когда дуют весенние ветры, говорят, Эдер-Куй начинает петь. Как жить, не услышав хоть раз сказочную песню пещеры?

— Молодец, правильно! Споем: «Живя на земле, как бурными нам не быть?» Такие парни, как ты, Шораан — цветы земли. Пойдем!

— Пошли!

Два человека — один ослепительно седой, другой — черный и кудрявый, взявшись за руки, шли вверх по Шогуру.

— Мы поднялись на склон Эдер-Кuya. Чувствуешь, какая высота, сынок?

— Как не чувствовать, вон какая крутая гора! Сердце так сильно бьется, будто мчится куда-то. Если упаду отсюда — колесом покачусь вниз, — засмеялся Шораан. Старый Сандак тоже засмеялся.

— А сзади скалы хохочут! Ау-у!

— А-у-у! А-у-у!

— Как особенно звучит это эхо, дедушка!

— Это ветер начал свистеть. Теперь слушай.

— Боже! Какая-то огромная дудка дудит! А теперь будто в бубен бьет. Вот, вот!

— Сыгыр! Сыгыр! Свистит, призывает!

Ветер усиливался.

— С-с-и-и! С-с-и-у-у!

— Куус-куус! Еще больше задуло. Послушай теперь.

— Мамочки, начал свой хоомей!

— О-у-у! У-у-х-у-у!

— Господи! Точно, хоомей. А там что за пещера, дедушка?

— Через скалу, на стороне леса, есть пещера с несколькими выходами.

Пещера — веретено. Ветер гуляет по ее трубе и поет свой хоомей. Кто знает, может, в стародавние времена наши предки, восхищаясь этой пещерой и подражая ей, и начали учиться хоомею.

— Ага. Сейчас еще звонче начал бить в бубен. Боже мой, настоящий хоомей!

— Эдер-Куй находится на вершине самой высокой горы. Долина Чая-Холя уходит аж во-он туда. Будто белый аркан, извиваясь, ползет вниз, к Улуг-Хему. Тебе, вступающему в жизнь, будущее открыто, как эти просторы. Птенец всюду летает, дитя человеческое всюду бывает. Не грусти, что не видишь, сынок. Люди переживают любые трудности. Всегда помни, как мы с тобой переваливали через хребет Шогура. Есть такая вещь: настоящий мужчина своего достигнет. А на самом верху этого хребта есть дерево, сраженное молнией. Сейчас мы отрежем от него кусок для бызаанчи.

Взявшись за руки, два человека — стариk и мальчик — пришли на перевал, к серым, сухим, зубчатым скалам.

— Говорят, дерево после удара молнии можно использовать только после трех лет. А я этот кедр всю жизнь видел. Как молния в него ударила, так и лежит, обугленный. Нижнее дерево для нашего бызаанчи Човулээр взяли отсюда. А верхнее делали из ели, высущенной дымом. Боже мой, впечатlительный человек, услышав его звук, начинал плакать.

— А разве можно делать это из двух разных деревьев? Какой смысл?

— Большой. Для бызаанчи и полость, и голос нужны, чтобы как следует раздавался звук. Ель делает этот звук нежнее, он становится похож на человеческий голос. А кедр нужен для того, чтобы придать звуку твердость, твердостью украсить его. Любое засохшее дерево звучит сильнее, лучше. Это настраивает тон повыше и делает более мягкой мелодию.

Между разговорами Сандак пробил в стволе отверстие нужной величины. Когда он стучал, внутри древесины слышались явственные шорохи.

— Ого! Звук, наверное, будет необыкновенный, да, дед?

— Какой разговор! Теперь осталось только вырезать бызаанчи. Прславленная Шойгур-Тайга! Музыка высочайших скалистых гор станет другом, облегчающим человеческие судьбы. Услышали Поющую Пещеру, взяли кусок звонкого дерева. Спасибо большое, используем это только на благо людей. Одаренные сокровищами твоей музыки, избегая одинокой дороги, вдохновляясь среди тысяч слушателей, заслужим такую же высокую честь, как и ты, Эдер-Куй!

Текучий Песок

Солнце село на вершину горы и стало похожим на алый утюжок в раскаленных углях. А когда ненадолго спряталось за облако, тень Алага-

Тайга хмуро нависла, как страшное чудовище. Когда это облако расстает, уголок солнца появится снова, будто чудовище не может заснуть, все открывает и открывает свой багровый глаз. И небо потому красивое, что завтра будет очень сильный зной...

— Овцы уходят, дедушка.

— Пускай идут, сынок. Пока не жарко, пощиплют траву на Текучем Песке.

Дед Сандак оседлал своего коричневого вола и взял за веревку белого теленка с колокольчиком на шее. Теленок сразу пошел рысью.

— Наверное, песок очень горячий, правда, дедушка?

— Нет, сынок. Текучий Песок вообще никогда не нагревается. Как лед. У него особая поверхность — отталкивает жару. В самые знойные дни он шумит, как шуга осенней реки.

— О-о! Пойду послушаю?

Лесная сторона Иштий-Халыын до сих пор в тени. Здесь еще веет холодное дыхание утра. Тихо идущие друг за другом через поле овцы начали пасться. Когда все стадо с жадностью принялось щипать траву, в воздухе появился острый запах дикого лука. Шораан чихнул.

— Пахнет луком, дедушка. Что такое?

Старый Сандак засмеялся, и его темный морщинистый лоб, покрытый потом, прямо-таки засверкал на солнце.

— Когда столько овец и коз разом начинают косить траву, ее запах испаряется в жарком воздухе. Ну, они отсюда никуда не уйдут. Пойдем, покатаемся на Текучем Песке?

— Давай!

— Подожди, надену путы волам. Если они побегут от пестрых оводов, никто их не догонит, этих плоскоротых.

Текучий песок Арты-Халыынна — еще одна волшебная загадка природы. Смотришь издалека — будто книга закрытая лежит с тупыми горками-вершинами. И тут же игра ветра меняет все: вот уже песок напоминает караван уставших и остановившихся верблюдов, перевозящих груз через всю Землю, или цепочку сказочных спящих кругленьких муравьев.

Шораан шел босиком. Иди по песку интересно. Ноги ныряют глубоко, а когда их по очереди вытаскиваешь, песок щекотно течет между пальцев. Иногда идешь, будто по сугробу катишься, иногда песок становится жарким, словно раскаленное просо. И почему-то вспоминается мама, расчесывающая свои длинные волосы, и слепому мальчику песок кажется нежным, красным...

— Мы на самом верху. Здесь я вырос, катаясь по текучему песку. Дай Руку, спустимся вниз. Дава-ай!

— Ур-р-аа!

— Откинь голову назад! Вот так. Если упадешь, может засыпать, и тогда уже никто не поможет.

— Ур-ра! Шумит, как самолет! Др-р!

— Обваливается, вставай быстро! Руку давай! Бегом отсюда, скорей!

Неподвижный всю зиму, стывший под снегом песок внезапно двинулся с шумом и перехлестом, как студеная вода. Его поверхность местами будто взорвалась: «Шыг-г-г!» — и, свистя, он пошел, раздавшись в стороны. Странный песок! Будто наводнение хлынуло на головы двух испуганных людей. Все видевший и все испытавший Сандак и то растерялся. Наверх, в ложбинку — туда, где спасительные кусты, изо всех сил рванулись старик и мальчик.

— О господи! Такого я еще не видал. Испугался, сынок?
— Песок шумит, в ушах гудит! — крикнул Шораан, радуясь, что опасность миновала.

И только тогда они расхохотались.
— Что за ненадежный я человек! Ум, что ли, меня покидает? Пока песок не проснулся, нельзя кататься. Э-э-те, что за жалкий я, забыл наказ предков.

— Почему так вышло, дедушка?
— Не знаю, сынок. Всякие слышал глупые разговоры. Говорят, в текучем песке собираются привидения, ведьмы — опасное это место. Нехорошо здесь, больше не ходи сюда, сынок. Если бы вы с Олчан, маленькие, пришли сюда одни, вас бы завалило. В Тибете, говорят, есть страшная песчаная гора. Однажды вихрь смел вниз все завалы с ее склона. Там костей человеческих — миллион. Когда поднимается солнце, черепа скалят зубы, будто смеются.

— Иий, страшно!
— Ужас. Никому не говори, что мы здесь были.
— Да.

Пастухи — старый и малый — вернулись домой и никому ничего не сказали. Все пережитое стало тайной двух друзей.

Шораан долго еще думал о чудесах природы. Текущий Песок, Поящая Пещера — мир полон загадок. А без загадок человеку скучно. Только наука может объяснить тайны. Скорее бы в школу!

Дорога к счастью — в слезах муки

Шораан, ты меня прости. Когда я писал эту книгу, то все время боялся слова «слепой». Потому что это слово грубое и жестокое. Вот сейчас сижу и вспоминаю, что наши предки очень часто избегали называть некоторые вещи прямо, своими именами. Не говорили, например, «умер», а говорили: «Ушел за красной солью». Так зачем же — «слепой»? Глаза плохо видят, незрячий. Да мало ли как еще можно сказать? Мы ведь никогда не побежим рядом с хромым человеком, баухаясь своими сильными, здоровыми ногами. И недаром народная мудрость учит, что надо обращать внимание не на физические недостатки, а на духовную сущность человека, на его культуру и разум.

По большому счету ты был одиноким мальчишкой, Шораан. И вот я тебя, подросшего на всей божьей воле, привел в так называемый интернат. Здесь живут десятки детей с совершенно разными характерами и

судьбами. «Пестрота змеи снаружи, пестрота человека внутри». Конечно, пословица эта больше годится для зрячих, но ты ведь умный парень, Шораан, и постепенно научишься узнавать и различать людей — кто из них душой светлый, а кто и черной ночи черней.

Звук звонка: зов к знаниям. Это — дорога судьбы. И если вдруг настанет полоса препятствий, никогда не сдавайся и не падай духом. Не забывай наказ деда Сандака!

Почему мама назвала тебя Шорааном? Твоя судьба — как труднопройденная, скалистая, отвесная гора. Но ты не тужи, сынок, настоящий мужчина умеет преодолевать любые трудности, и никакого значения не имеет, как его зовут. Ну, вот и закончилось мое маленькое лирическое отступление, и мы с тобой снова возвращаемся в школу.

Олчанмаа, взяв брата за руку, привела его в класс и посадила во втором ряду, недалеко от двери.

— Если сядешь возле окна, будут мешать посторонние звуки. А с последней парты плохо слышно учителя. Вот здесь — самое лучшее место. Можешь, держась рукой за стену, входить и выходить из класса, брат.

Олчан сказала: «Брат», и он понял, что рядом с ними никого нет. При людях она бы так не сказала. Олчан знает: неудобно, что старший брат учится классом ниже младшей сестренки. Он глубоко вздохнул.

— Олчан, как прекрасно сидеть за партой! Удобно! Мягко! Эх, был бы зрячим да умел бы писать...

— Ты не будешь долго сидеть в первом классе, — забеспокоилась сестренка. — Директор сказал, что посмотрит на твои способности и, может быть, переведет в старший класс. Ты только не волнуйся! Когда учитель начнет задавать вопросы, думай, как следует, и отвечай хорошо.

Опять прозвенел звонок. Сквозь ясный сентябрьский день, сквозь золотую листву пролетел чистый звук бронзы, заглушив даже пение кукушки в лесу.

Скрипя резиновыми подошвами (все, как один, в новехонькой обуви!) мальчики и девочки хлынули в класс. Шораану показалось, что сразу сто глаз окружили его, и он даже вспотел от волнения.

Потом дверь открылась, и сзади кто-то громко шикнул:

— Учительница идет, вставайте!

Ученики быстро встали, будто гоняли куропаток. Шораан тоже встал.

— Здравствуйте, ребята! Садитесь.

Голос учительницы был таким мягким, что Шораану почудилось, будто мать ласкает свое дитя.

Она называла учеников по журналу, знакомилась с каждым, писала на доске буквы, обращала внимание детей на линии в тетради. К некоторым подходила, показывала, как правильно держать ручку.

Когда она подошла к Шораану, то увидела, что он выкладывает на парту буквы, вырезанные из картона, — в той же последовательности, что и на доске. У нее перехватило дыхание, когда она поняла, что слепой мальчик учится по своей, особой методике. И, совершенно не зная, как ему помочь, учительница на мгновение растерялась.

Какой вопрос она задаст незрячему человеку? Класс затих.

Полную тишину нарушила только муха, застрявшая между стекол,

— Кто тебе сделал эти буквы? — неловко спросила учительница.

— Отец вырезал. Все 36 букв знаю руками. Все ваши слова могу составить из этих букв, учительница.

— Хорошо, Шораан. Тогда составь предложение: «Сегодня первое сентября».

Мальчик, достав из сумки кассу, раскрыл ее и, вкладывая буквы в кармашки, составил предложение.

Ребята смотрели на него во все глаза.

— А до скольки умеешь считать, Шораан?

— До тысячи. И дальше. Делю и умножаю неважко, а складываю и вычитаю хорошо.

— Тогда зачем терять время? Соберем комиссию и подумаем о переводе в следующий класс. А чем занимается твой отец?

— Строитель. А мама — председатель женсовета.

— Образованная семья. Конечно, это влияние родителей. После уроков поговорим, хорошо?

Опять прозвенел звонок. Олчан из своего класса привела какого-то мальчика и сказала:

— Познакомьтесь, Шораан. Это твой друг. Будешь жить с ним в одной комнате.

— Меня зовут Шораан.

— А меня — Кечил. Давай руку. Будем друзьями. Возьмись за меня, прогуляемся.

— Олчан, сестренка, ты иди. Пусть Кечил меня немножко поводит. Эй, друг, я по сравнению с этими плаксами не очень большой?

Кечил, отметив бойкость нового знакомого, обрадовался: «Как не подружиться с таким парнем?».

— Ни один из этих сопляков даже до пояса тебе не достанет. Звонок, давай отведу в класс.

Вся эта учебная суeta доставляла Шораану какое-то необъяснимое наслаждение: вот послышался скрип ручек, кто-то громко шмыгнул носом, а потом, когда наступила тишина, опять очень громко загудела застравшая между стеклами большая муха.

Даже не видя узоров синих чернил на белой бумаге, Шораан восхищался прилежанием пишущих соседей. Ведь они изо всех сил изучали буквы, при помощи которых будут общаться с целым миром!

Звонок опять объявил перемену. Шораан, держась за край передней парты, только-только хотел выйти из класса, как вдруг нечаянно задел и опрокинул круглую стеклянную чернильницу соседки. И буквы маленькой Шенне, написанные с таким старанием, сплошь покрылись синими потеками.

Новая тетрадь! Ох, как жалко новую тетрадь! И Шенне, совершенно потеряв голову, истощно закричала:

— Что, слепой, что ли?

Так Шораан получил свой первый удар. Горя Шенне он увидеть не мог, не мог увидеть и ее отчаянных слез. Но его обозвали слепым, — будто изо всех сил ударили по лицу! И он, сорвав черные очки, швырнул их на пол и растоптал:

— Да, я слепой! Слепой! Смотрите!

И, закрыв лицо руками, разрыдался. Болельщики, жалевшие испорченную тетрадь Шенне, немедленно перешли на сторону Шораана.

— Ну, не плачь, братик! Шенне не знала...

— Я не знала, что ты не видишь, Шораан, прости! Пожалуйста, прости, брат!

Дрожащий голос Шенне, ее испуг, ее искреннее раскаяние — и то, что она назвала его братом, сразу высушили слезы Шораана. Представив себе, как он, такой большой, воет среди этих первоклашек-промокашек, мальчик развеселился.

— Возьми мои тетради, сестренка. Я ведь все равно не пишу в них. И Шораан, вытащив из сумки несколько тетрадок, положил их перед Шенне. Та, смущенно взявш однажды, засунула остальные обратно, в сумку Шораана.

— Пора поесть. Пойдем, провожу тебя.

И Шенне, взяв за руку Шораана, направилась в столовую.

Так дорога к счастью началась слезами муки.

До свидания, дедушка!

Привыкший к тайге скот не выносит в низинах комаров, мух и всякой другой мошки. Не зная, куда от всего этого добра деваться, животные начинают бегать, бесноваться, носиться туда-сюда.

— Если бы человека так донимали, закричал бы о своих мучениях. А бессловесные твари не могут сказать, что зачервивели, вот и бегают, повесив хвосты, — пришел к выводу старый Сандак. — Уезжайте, дети, в цветущую тайгу. Учет скоро закончится, привезу Олчан.

— А как вы в долине проведете лето, дедушка?

— Наш скот привык, каждое лето здесь. И еще есть работа: сторожить пшеницу. Что делать, обязанность. Как-нибудь проживем.

— Зачем сторожить зерно, дедушка? Это ведь не скот, не убежит.

— Ха-ха! Конечно, не убежит. Да только очень многие хотят полакомиться этими зернышками: овцы, козы, мыши, птицы-журавли — кого только нет! Надо скорее ставить чучело, журавлинная жадность никакого предела не знает, всю пшеницу вытопчут своими длинными ногами. В сказках, говорят, одно зернышко может прокормить целый мир. Война только-только кончилась, люди голодают, трудное время сейчас, сынок. Стыдно сидеть, сложа руки. Отец твой торговлей занялся, а я хоть скот да хлеб сторожить буду.

— Необъезженного коня учат, новую вещь осваивают. Попробуй-ка, брат, — сказал Багыр и протянул старику бызаанчы сына.

— Да, точно. Новую вещь настраивают. Есть у тебя смола? Дай, Шораан. Друзья восхищались бызаанчы, сделанными Сандаком. Его серд-

цевина из бело-желтого кедра, поэтому цветом он похож на смолу, а верхняя часть — из чуть коричневого кедра. Голова коня и уши из красно-коричневого кустарника. Струны из конского волоса, как белый снег. Отличный вид у инструмента!

Намазывая смолой струны, Сандак продолжал:

— Пойдем в юрту. В жаркий день звук снаружи плохо слышится.

Он сел на почетное место, настроил бызаанчы в лад со своим голосом и начал петь песню предков:

Буурарган Буураны
Бугаланган Демир-сугну
Кажаарган Буураны
Кажааланган Демир-сугну.

Чистая и протяжная музыка будто вторила краскам утреннего пейзажа: светлой ранней заре, бликам света на вершине Бууры, тонким прозрачным облакам, плывущим в вышине. А лучи солнца вдруг зазвучали таким золотистым мажором! Музыка становилась все нежнее и нежнее, и, когда Сандак восхвалил Бууру, то тихо проговорил:

— Даже молодого коня учат, чтобы не загнать. И бызаанчы тоже постепенно приручают. Бызаанчы живой, как человек, послушный. Ведь даже с неба не сразу гремит. Оно сначала становится пасмурным, потом сверкает молния, и только после этого начинается ливень.

Сандак начал играть «Лебедя-сироту».

— Эта вещь сама поет, сынок. Вначале кажется, что пронзительно, потом привыкаешь, а потом как будто человеческим голосом кричит жалобно. Это дерево знало столько жизней... Доброту рук старого человека никогда не забывай, сынок. Пусть музыка станет твоей дорогой к людям.

— Спасибо, дедушка. Я обязательно научусь хорошо играть. Отец! Подари, пожалуйста, козу деду. Он сделал мне бызаанчы.

— Ничего-ничего, сынок. Это мой подарок.

— Молодец! Да ведь рукам умелого мастера всегда что-нибудь перепадает. Это традиция предков, — засмеялся Багыр.

— Ладно! Зачем отказываться от козы? И подоить можно, и жена обрадуется.

...В первый день первого месяца лета Чакыймаа угощала первой пиалой чая Бууру. В этот день они переехали в Чингете. Старый дед поцеловал голову слепого внука.

— До свидания, дедушка!

Забирая Олчан из школы, Сандак наказывал ученикам:

— Этой осенью к вам придет учиться слепой мальчик, мой внук. Он умный, бойкий. Помогите, дети, человеку. Он перенес тяжелую болезнь. А в народе говорят, рядом с хромым нужно ходить, прихрамывая, а с одноглазым говорить, прищурив глаза, — так учили наши предки.

— Олчан, ты идешь впереди, указывай дорогу, доченька. Забыл я, куда идти и с кем здороваться.

— Ничего, отец. Коней привяжем к забору и пойдем к директору. Я вас провожу и подожду в коридоре.

— Лучше пойдем со мной. Может, понадобишься. Он ведь очень много спрашивает, сама говорила в прошлом году, Олчан.

— Да я тогда приврала. Не бойся, не бойся, Шораан, никто не спросит того, чего ты не знаешь. Тогда у нас был учитель Сынаа, сильно уж строгий. А теперь учитель Хайлакаа, помягче...

— Я не вижу твердость и мягкость. Не подойдешь ведь и не потрогаешь его.

Все рассмеялись. Шораан, как всегда, был находчив и быстро сумел успокоить свою растревоженную душу.

Багыр посмотрел вверх и увидел золотистую высоту осин Шанчи. Они горели ярким пламенем, потому что, наверное, первыми почувствовали осень. Холодный ветерок коснулся лица, и Багыр невольно потянул к себе узду Челер-Оя.

Из продымленной юрты — в светлую школу, потом к белоснежным Дворцам науки: так начался путь слепого мальчика в жизни. Эта дорога нелегка даже для зрячего человека. Через ее скалистые склоны и отвесные хребты пройдут только горячее желание и закаленная воля.

Олчан быстро шла в толпе школьников. Чтобы успеть за ней, отец, держа за руку Шораана, чуть не бежал. Отутюженные складки синих костюмов, белые воротнички, красныегалстуки, букеты цветов, радостные лица... Ничего этого не видел Шораан. Он только изумлялся шуму, как ястреб в скалах, защищающий птенца. Если здесь постоянно так кричат, то как можно услышать слова учителя?

— Эй, ты, глаза открой! У тебя впереди человек стоит!

Однако строгие окрики взрослых парней быстро успокоили шалунов, уже готовых «наехать» на новичка. Сотпа, где ты?

— Эй, пацаны, это слепой! Чш-ш!

Дразнящий шепот жалил, как рой диких пчел. Шораан не ошибался: на него было устремлено множество глаз.

«Растяпы! Чего уставились? Затихли, как будто им рты пробками затыкали. Ни разу, что ли, не видели слепого человека?»

— О-о, отец и сын, здравствуйте! Об этом мальчике рассказывал учитель Шумбуу. Как тебя зовут?

— Шораан.

— Сколько лет?

— Двенадцать.

— Это ничего. Михаил Ломоносов из Архангельска стал ученым, великим ученым, хотя знатные недоросли и смеялись, что он старый. При чем возраст, если есть желание учиться?

— Постараюсь изо всех сил, учитель.

— До скольки умеешь считать?

— Легко — до тысячи.

— А как дела со сложением и вычитанием?

— До тысячи все могу.

- Тогда какой смысл тебе сидеть в первом классе?
— Я за лето выучил все, что знает Олчан.
— Мы проверим твои возможности и, если все в порядке, посадим сразу во второй класс. А вы, товарищ, возьмите эту записку и отведите сына в интернат. И не волнуйтесь, пожалуйста. Учителя Шорааном займутся особо. Об этом я сам позабочусь.

В интернате

Когда в ясную погоду смотришь на водопад, что вырывается из расщелины, которая появилась будто от огромных изрыганий дракона на теле багровой скалы, что высится посреди зеленой тайги, яркие лучи солнца переливаются в водяной пыли, как бесчисленные искры пышного хвоста сказочной птицы Алдын-Доос, так и играют, и горят, радуя глаз.

Я бывал во многих городах, видел прекрасные, радужные фонтаны, но этот водопад в ущелье Хан-Дээр, созданный самой природой, красивее и волшебней любого из них.

Когда черная-пречерная ночь закрывает этот несравненный пейзаж, голос волшебной воды слышен только внутри водопада. И так жалко становится, что почти затихает он!

В лесу темно. Между вершин высоких елей виден только клочок неба. Далеко за рекой — хребты скалистых гор. Ночь укрыла своим покрывалом бесконечные просторы земли. Когда нет огня, тоскливо и одиночко. Так тревожны крики сов! Что стало бы с нами, если бы не костер? Он ведь нужен не только для приготовления мяса и варки чая, он дает тепло и свет. Поэтому именно ночью мы так дорожим им и ценим его.

Здорово смотреть на прекрасный и озорной танец, когда его исполняют в богато и красочно убранном театре, где горят сказочные хрустальные люстры... Но в тайге, у осеннего костра жарить жирного хариуса или поддумывать в золе смолистую кедровую шишку, слушать потрескивание горящих веток, — нет, никогда не забуду я этих мгновений своей жизни. Если есть Бог, то только за такие минуты я стану вечно молиться и верить ему.

Эх, чудо, рожденное водопадом! Хариусы, резвящиеся в прозрачной горной воде; огромные кедровые шишки, свисающие с темных веток! Если бы Бог был, я бы молился и молился, чтобы он хоть раз показал созданный им мир моим бедным слепым друзьям. Зрячему этого не понять. А слепому остается лишь надеяться на чудо. Прозреть бы!

Но этому не бывать. Бедный Шораан, не поддаваясь судьбе, что уготовала ему не видеть солнца, начал жить и учиться в интернате вместе с другими детьми. Стремился к наукам, подчиняясь суровой мудрости народной поговорки: “Безграмотному даже утром тьма”.

Сначала он очень удивился тому, что даже на чусть слышный звук в коридоре стены откликаются эхом, как скалы, когда сзываешь коз. А в юрте так не бывает. Сколько ни кричи — звуки гаснут, исчезают, словно уходят в войлочные стены. Зато здесь — побеленные высокие потолки. Какое раздолье человеческому голосу!

Так, моя кровать стоит справа от двери. А какая она, эта комната, по размерам? Что, если узнать, измерив шагами? Раз, два, три... Длина — восемь, ширина тоже. Квадрат. Рядом Кечил, потом Сесер-оол. В левом углу Кыргыс Кызыл-оол. Нормальные ребята, помогают товарищу.

Не такая уж большая комната, так зачем я ору, когда разговариваю с Кызыл-оолом? Потому что я родом из Кашпала? Мои предки жили возле быстрых, шумных горных рек, поэтому и разговаривали очень громко. Теперь постараюсь определить расстояние между собой и собеседником. А то еще подумают, что я не только слепой, но и глухой.

В интернате безлюдно, все уехали на картошку. Шораан поэтому мог и разговаривать сам с собой, и вслух зубрить таблицу умножения. Когда не получалось, он высыпал на стол спички и пальцами, наощупь решал задачи. Так и учился.

Вдруг он услышал, как с улицы в комнату зашел человек: "Па, а почему здесь никого нет? Где мой бедняжка-сын?"

— Неужели мама? — подумал Шораан и, протянув руки вперед, выбежал из комнаты. — Кто здесь?

— Сынок! — отозвался голос матери уже из другого конца коридора.

— Подожди, сына, стой там, я сейчас подойду.

Даже кобыла ласкает повзрослевшего жеребенка, а мать человеческая неизмеримо сильнее любит свое дитя. Чакыймаа обняла Шораана и ласково поцеловала его.

— Мама, заходи в нашу комнату. Там на дверях цифра девять, да?

— Я даже не заметила, откуда ты вышел, сын. Искала тебя совсем в другом месте. То-то и разговаривала громко, надеялась, что ты услышишь.

— Я сразу узнал твой голос, мама! Хорошо, что дверь в комнату была открыта. Когда я выбежал, ты уже далеко ушла. Садись на табуретку.

— А где твои товарищи, сынок? Никого кругом, я и удивляюсь.

— Уехали на картошку. Шефствуют. Меня оставили — боятся, что наступлю на ядовитого паука. Вот я один здесь и радуюсь, учу уроки.

— Трудно учиться, сынок?

— Среди такой оравы сначала было неуютно. А теперь начинаю по-немногу привыкать. Олча все лето со мной занималась. И это здорово помогло. Учителя проверили мои знания и перевели во второй класс.

— Как хорошо, сынок! Молодец! Теперь не обижайся, что отстал от ровесников, ладно?

— Ровесников все равно мало. Есть несколько, да это все второгодники да третьегодники.

— Какой предмет самый трудный, сын?

— Родная речь — ерунда, послушаю внимательно и расскажу сразу. По математике тоже нормально. Друзья вырезали из картона цифры. Пальцами наощупь нахожу нужные и выполняю все задания учителя. А вот по пунктуации я не очень подготовлен, потому что мало пишу. Если будет диктант, наверное, у меня получится плохо с правописанием... Мама, купи мне пластилин. Попробую слепить какие-нибудь фигурки. Хочу понять формы разных предметов.

- А что такое пластилин, сынок?
- Ну, то, что похоже на замазку. Окна на зиму ею заделывают.
- А-а, да-да, поняла теперь. Лепить разные фигуры... Я поищу, сынок.
- Хочется учиться музыке. Как прекрасно радио! Так много узнаешь. Слушаю песни — и хочется их играть.
- И это можно, сынок. Я договорилась с продавцом Чанзан-оолом обменять на семь пудов тараа гармошку. Завтра принесу. Вот тебе чокпек с черемухой и вареное мясо. Давай руки!
- Как хорошо! Я соскучился по мясу. А чокпек оставлю на потом. Положи вот в эту тумбочку, мама. Я друзей угощу.

— Конечно, сына...

Наутро Чакыймаа принесла гармошку.

Вечерами в интернате реже стал звучать игил, зато все чаще пела-разливалась русская гармонь.

Не прошло и месяца, а Шораан познакомился почти со всеми интернатскими. Кого по походке, кого по голосу, а кого и по характеру стал узнавать. Кежикмаа ходит быстро, мелкими шажками; Зоя ступает мягко, словно иноходью; и голос у нее тоже особенный, красивый. А парни ноги ставят твердо, будто к обуви прибиты тяжеленные кованые подошвы. Но есть и такие мальчишки, которые, как зверьки, подкрадывающиеся к солнцу, ходят совершенно беззвучно.

Нерях слышно издалека: сопят соплями, как бараны. Курящие обдают табачным перегаром: кто — махоркой, кто — самосадом, а кто и "Беломором". Даже одежда у всех пахнет по-разному.

Шораан учится понимать чужую душу не по выражению лица, а по смыслу и произнесению сказанного. "Человек опаснее человека, а боль чернее соболя". Поэтому, прежде чем что-нибудь сказать, хорошенько обдумывай свои слова. Некоторые мальчишки чересчур заносчивы и неразборчивы в выражениях. Пока они, словно берданки, всплеснут разбрасываются дробью криков, Шораан одним-единственным словом попадает в самую точку.

«Его гармошка шаманит»

Шораан быстро запомнил по голосам тех ребят, что каждый вечер играли на дворе в волейбол. У Сонгар-оола голос низкий и, когда близко подходил, его голос звучал, как будто наверху гремела отвесная скала.

А Хеймерек-маленький: «Ну-ка, браток, пни сюда мячик, что рядом с тобой!» — кричал он таким высоким тенорком, что его голосок звонким колокольчиком звенел в ушах Шораана.

Куштаааран вечно картавил и заикался: «Да-а-вай, сю-у-да, по-по-поставь, бы-ра-ра-ток», — произносил он, словно впадая в транс. Игравшие в волейбол ребята, бывало, подшучивали над ним. Тогда он от злости как прыгнет над сеткой, как ударит по мячу — мяч ракетой взовьется так, что никому не остановить его. Смертельный пас — так это называ-

ется у него. Ребята знают его характер, и когда их команда начинает проигрывать, начинают дразнить Куштаарана: «Кук-ку-да, ку-ка-ре-ку-у! Короткие крылья сделай, и-ий!» Куштааран тут как тут...

- Мяч на игру!
- Господа, не уступайте!
- Бей, как Кумаяк!
- Нет! Нет! По-колхозному!
- Впереди угол свободен!
- Кук-куда ждет, ку-ка-ре-ку устал!
- Выше подними мяч!
- Давай! Убивает!

Этот момент самый напряженный. Куштааран вышел на позицию! Болельщики и игроки считают, что все теперь зависит от разыгрывающего. Этот сверхумелый повесит мяч Куштаарану над сеткой. А звали его, широкоплечего, плотно сбитого парня, с хрипучим, басистым голосом, Дырышпан. О господи, он поднимал мяч классно! Над сеткой ровно на один вершок выше. А Куштааран, словно кошка, прыгающая на воробья, который на крыше, резко подпрыгнет, пасует! Он не пропустит малую цепь даже между двойными блоками, пробивает. Когда блокирующие, пропустив его мяч, цокают языками от досады, Куштааран от радости и удовольствие аж подпевает. Если посреди поля стоял слабак, то, бывало, он его валил своим пасом. Настолько быстро летел мяч. Даже более сильные пацаны побаивались брать пас Куштаарана, то и дело ломали свои пальцы и долго с этой травмой не играли в волейбол. Мощный был пас у Куштаарана.

Шораан скоро тоже стал заядлым болельщиком, и чтобы накалять и без того накаленную обстановку, своей «хромкой» подражал крику петуха, когда Куштааран подпрыгивал для паса.

Однажды в ноябрьские праздники в гости приехали волейболисты из Чадана, оказались крепкие ребята. Они, резко взяв темп, довели игру до «восьми — ноль». Чахольцы стали опускать руки. Куштаарана тоже нет, уехал играть в волейбол в Кызыл.

У каждого глаза в сторону Кызыла: когда же приедет автобус, когда же приедет Куштааран? Иначе хозяева поля позорно проиграют чаданцам.

Когда счет дошел до девяти — ноль, чаданцы возомнили себя уже победителями, стали показывать «японские», «китайские» подачи, различные невиданные пасы и приемы. Короче, начали дурака валять.

В это время ребята, встречавшие автобус из Кызыла, прямо на руках притащили самого Куштаарана. Морально упавшие, приунывшие чаахольцы, услышав имя «Куштааран!», словно косой прошлились по рядам, освобождая ему дорогу до игровой площадки.

Куштаарана поставили вместо слабого игрока. Чаданцы не знали способностей Куштаарана, и когда его выставили на поле вместо такого же низковатого по росту парня, даже не заметили этой замены. Вот так Куштааран вышел на пасовую позицию и стал пробивать блоки противников.

Бык становится героем в своем хлеву. Хозяева поля, почуяв силу, вновь проснулись от неудач.

Притихшие было болельщики снова начали подавать голоса, сыпать острыми словечками.

— Прыщавый капитан руку вывихнул, да?

— Перевяжите ему задницу, иначе от него уйдет невеста!

Прибаутки, под аккомпанемент гармошки, на ходу превращались в едкие частушки.

Парни из Чадана, из Чадана,
Придурки, круглые дурачки.
Вначале их просто уважали,
А они возомнили себя героями.
А какой пас у Куштаарана!
Как замахнется, замахнется!
К хвосту чаданцев привяжет
Берестяную метлу и те удерут, позор-позор!

Не выдержав острых слов болельщиков и лихих атак Куштаарана, чаданцы начали нервничать и налетать друг на друга: «Зачем пропустил, почему проморгал?». Счет был в пользу чаданцев: одиннадцать-один. После замены Куштаарана он быстро сравнялся. Затем морально задавленные чаданцы не смогли оказать решающего сопротивления и позорно проиграли, как про них пели в частушках Шораана.

Гости с «берестяным веником в хвосте», возвращаясь домой и обсуждая прошедшую игру, то с досадой щеками языками, то смеялись до упаду.

— Хоть и маленький ростом, но оказался молодцом тот пацан, а, ребята? — восторгались они Куштаараном.

— А как сильно пасует! Я палец повредил, принимая его мяч.

— Через себя бьет, даже левой рукой ударит, зверь, а не человек. Имитирует удар правой, а левой бьет в свободное место. Я так и не смог взять его мяч.

— Да, обманывает классно!

— А какой прыжок у него! Как у кошки. Хоть и ростом невелик, по грудь высекивает над сеткой.

— И руки длинные. Бьет над блоком. Не человек, черт.

— Слишком не хвалите его, воробы! Главный виновник в этом деле — тот разыгрывающий брюхатый малый. Точно повесит мяч над сеткой. Как по заказу.

— Нет, главные — болельщики!

— Да-да, особенно тот слепой! Как начнет заводить болельщиков, словно в огонь льет масло. Гармошка его прямо так и шаманит.

— Он, подражая крику петуха или быка, делает чудеса! Ха-ха! А Куштааран, услышав гармошку слепого, словно заводится. Таких чертей кто видел, а?

- Вот и ты, отвлекаясь на него, столько пропустил, да?
— Нет, браток! Суворов сказал, что без музыки не идет в бой.
— Вот-вот, дух этих наших противников поднял тот слепой гармонист!
А наши ребята, — “где собака бежит своя, где хойтпак на крупе коня”¹, ни черта не смыслят. В ответ два-три слова кинут и заглохнут.

— Ладно! После драки чего кулаками махать-то?

Вот так чаданцы всю дорогу обсуждали ход прошедшй игры и пришли к выводу, что ее главными героями были все-таки Куштааран и Шораан.

После этой победы школьники Чая-Холя очень полюбили своего слепого товарища. А Куштааран клялся и божился: “Он мой единственный настоящий брат! Я его всегда храню под своими крыльями. Если бы он, мои короткие крылья остались бы без перьев и сломались бы мои шея и ноги! В самую трудную минуту его хромка как запоет, словно походная труба. И мой дух взлетает над сеткой, пас — и мяч на девятке!” Вот так похваставшись, Куштааран, даже не покраснев, гордо посмотрит по сторонам на ребят; лукаво подмигнет огромным глазом. Все знают, он недалек от истины...

Умный игрок не забудет того, кто поднял дух людей в трудную минуту. Куштааран верил Шораану. И это была вера, оказанная ему всей школой. Шораан добился этой веры искусствой игрой на гармошке и пламенным словом во время игры.

Встреча с композитором

Однажды по селу распространился слух, что приехали артисты музыкально-драматического театра. Ученики повалили в клуб задолго до начала представления. Когда Шораан стоял там среди ребят, к нему подошел отец.

- За тобой в интернат заходил, сынок.
— Папа! Как хорошо! У меня нет денег на билет.
— Я уже купил билеты и тебе, и себе.
— Как здорово! Спасибо, папа. Когда приехал?
— Утром еще. По магазинам ходил. Я догадался, что ты захочешь посмотреть концерт, вот и взял тебе билет. Говорят, приехал композитор Лаптан. Он нам сватом приходится. Пойдем, я тебя с ним познакомлю.

Багыр, взяв руку сына, повел его в комнату, что рядом со сценой.

- Здравствуйте, Сай Сайнович!
— О-о, мой главный сват пожаловал! Проходи-проходи, садись сюда. Ну, как дела, здоровье?

— Все нормально. Не жалуемся!
— А где зимовка ваша?
— Мы сейчас в Шогуре. А вот мой сын. Он здесь учится в школе. Музыку очень любит. После концерта послушай его и дай ему совет, ладно, сват?

¹ Тувинская поговорка, смысл которой — «Приехали, не зная куда и зачем».

— А-а, я слышал про твоего сына. Хорошо, что пришли. У нас есть баянист. Его зовут Безъязыков. С детства не видит. Но играет на баяне лучше всех. Даже лучше меня. На концерте послушаете. Идите, скоро начинаем, займите места. Народу много. А после концерта поговорим.

«С таким известным артистом прямо как с товарищем разговаривает. Мой отец — не простой человек», — подумал с гордостью Шораан.

Ведущая концерта приветливо поздоровалась со зрителями, открыла представление и подвела к стулу на сцене слепого баяниста, посадила. «Слепой», «Он не видит», — пронесся шепоток по залу. Этот шум больно отозвался в сердце Шораана. Струнный оркестр вдруг заиграл, словно по степи поскакали резвые кони, прозвенела веселая музыка. Шораан чувствовал, как молодые девушки танцуют на сцене, легко ступая по половицам, и его сердце возбужденно стучало.

Слепой музыкант Василий Безъязыков так искусно и талантливо играл на разных музыкальных инструментах: на балалайке, на баяне — старинные русские мелодии, что зрители плакали от восторга.

После концерта отец с сыном зашли в комнату Лаптана. В то время его вальс «Авай» гремел на всю Туву.

— Ну, как играл Василий Сергеевич? — спросил Лаптан.

— Слов нет. Это чудо! — сказал отец Шораана.

— Если захочешь, мальчик, ты тоже можешь так научиться, — обратился Лаптан к Шораану. — Давай, мы тебя сейчас же послушаем, на что ты способен. На каком инструменте играть будешь?

— Пока на игиле. Попробую.

— Василий Сергеевич, идите сюда, перед нами слепой мальчик. Он играет на тувинских народных инструментах. Послушаем его. Сыграй, мальчик, на игиле.

Шораан сначала приоравливался к чужому инструменту, настраивая его и прислушиваясь к звукам. Затем медленно и задушевно заиграл «Седую Бууру».

Как только музыка набрала полную силу, и артисты, и народ, собравшийся возле двери, замолчали. Мальчик перестал волноваться, словно растворился в мелодии. Затем сыграл «Лебедя-сироту» — еще более задушевно. Когда он перестал играть, со всех сторон послышались восторженные голоса:

— Да он создан быть музыкантом!

— Из него получится прекрасный музыкант!

Мальчик очень обрадовался похвалам настоящих артистов.

Василий Сергеевич, пригласив клубного баяниста Муравьева, сказал:

— Володька, ты ведь хорошо играешь на баяне. Научи этого парня нотной грамоте. Это моя просьба. У него абсолютный слух. Он должен быть музыкантом. Постарайся, ладно?

— Я постараюсь, Василий Сергеевич! — обещал Муравьев перед всеми.

Эта встреча родила сильную мечту в сердце Шораана и окрылила его надеждой.

С тех пор Шораан стал часто приходить в клуб. Володя, дав в руки Шораану один баян, а сам взяв другой, начинал урок. Он дал Шораану

имя Толя. Ему было так удобней произносить. Шораан вскоре знал все ноты и ни разу не ошибся, когда начал сам играть. Муравьев был поражен способностями Шораана и стал еще более настойчиво учить своего удивительного приемыша.

Шораан, играя на баяне какую-нибудь новую мелодию, всегда импровизировал. Это было для мальчика очень интересно и занято.

Результат любого творчества приходит от настойчивости и трудолюбия. Шораан открыл это для себя сам и очень хорошо усвоил. А потом, переступив порог неуверенности и волнений, стал выступать перед народом и на вечерах лихо играл на баяне «Амурские волны».

А Володя Муравьев явно гордился результатом своего труда и радовался тому, что появился помощник, который может заменить его в долгие субботние вечера в клубе, аккомпанируя танцующим.

Встреча с хорошим человеком всегда оставит неизгладимый след в душе. Наказы Лаптана и Безъязыкова круто повернули судьбу Шораана. От двуструнного игила он перешел к настоящему инструменту, открыв себе путь в большую музыку.

Перевод Галины Принцевой.

*

**Эдуард
Мижит**



Из цикла “СЕМЬ СВЕТИЛЬНИКОВ”

О тенях

Как говорил один из семи мудрецов Тувы, которые скрытно и незаметно живут в тайге, в горах, среди степей, лесов и среди народа, у человека есть три тени. Кто-то считает, что теней меньше, а кто-то наоборот. Поскольку я ничего не знаю ни о количестве теней, ни того, о чем на самом деле идет речь, я просто излагаю сведения, приведенные тем самым мудрецом.

Одна из теней приходит к человеку с севера и, естественно, падает на юг. Эта тень старше человека, к которому она пришла, причем намного старше, и поэтому она очень густая и тяжелая. Она навевает человеку

грустные сны и мысли, холодит его сердце, прикасаясь к его груди кусочками льда, на которых, если присмотреться, отчетливо виден лик смерти. Но этот лик почти никому не удается рассмотреть, потому что эти кусочки тают почти мгновенно под воздействием тени с юга, которая, конечно же, падает на север. Эта тень моложе человека. Бывают люди, которые и в преклонном возрасте чувствуют и ведут себя, как восемнадцатилетние юноши и девушки. У таких людей тень с юга намного гуще и видна отчетливее, чем северная тень. Но эта тень легка, как пух, и все время пытается взлететь вместе с тем, чьей спутницей она является. Говорят, что именно эта тень навевает сны о полетах, звездах и бабочках, что именно она строит радужные планы на будущее, словно мальчик, увлеченно и без устали выдувающий из соломинки мыльные пузыри. К тому же, южная тень живет намного дольше своего хозяина и поэтому после его смерти она бродит по тем местам, где он бывал, пытаясь его найти, точно так же, как делает собака, потерявшая любимого хозяина.

Но весь морок этих двух теней уравновешивается третьей тенью, идущей с востока. Она рождается и умирает вместе с человеком. Она подобна стреле, которой две предыдущие тени служат оперением. Эта тень светла и тонка, как луч света, но власть ее очень сильна. Она как бы подталкивает человека, заставляет идти вперед, к жизни, в жизнь и сквозь жизнь. Со временем она становится не просто тенью, а неразрывной частью человека. И по мере того, как она все больше и больше входит в него, человек постепенно начинает светлеть. Седина — это один из первых, но далеко не главных признаков этого процесса. О восточной тени больше нельзя говорить, поскольку она связана со многими тайнами судьбы и Бога.

А тень, которую люди видят со второй половины дня до заката и считают тенью, пришедшей с запада, есть не истинная западная тень. Это всего лишь тень тени. Настоящую западную тень почти никто не видел. Да и те, кто видел, ничего не успели сказать нам о ней, и поэтому мы об этой тени ничего не знаем. «А ведь люди считают, что то, чего они не видят, не существует, — с лукавой улыбкой добавил мудрец, — Поэтому мы и говорим, что у человека есть три тени».

— Но, — добавил мудрец, поведавший мне эти, казалось бы, никому не нужные знания о тенях, — люди видят не три, а намного больше теней и думают, что все они одинаковы. На самом деле все это великое множество теней не является истинными тенями, особенно лунные (так называются тени, появляющиеся при луне). Среди них есть очень злобные и вредные, есть и безобидные, так называемые праздношатающиеся, и тени-шутники, никогда не упускающие случая напугать человека, и тени-дети, которые очень любят играть в прятки, и тени мыслей, слов, желаний и снов, и тени теней, и т.д., и т.д. Один раз в сутки, а именно в полдень, все тени — и истинные, и ложные — собираются на совещание, и поэтому в полдень можно видеть только одну тень, ту, что прячется прямо под ногами человека. А о чем они там говорят, никому неведомо. Может,

рассказывают друг другу обо всем, что они увидели и узнали, ведь ночью все они разбредаются кто куда и путешествуют по самым разным мирам. Все, кроме восточной, которая никогда не покидает человека.

Кстати, только впоследствии я узнал, что этого мудреца в разные времена зовут по-разному, но что все его имена связаны с тенью. Иногда его зовут "Друг Теней", иногда — "Повелитель Теней", иногда — "Уходящий в Тень", а бывают и такие времена, когда его зовут "Выходящий (или "Приходящий") из Тени". Говорят, что он умеет гадать по теням людей, животных, деревьев, листьев, трав, камней, гор, облаков, мыслей, слов, которые, по большому счету, являются лишь бледными тенями мыслей и чувств, и событий (а события есть ни что иное, как результат встречи теней многих желаний), а также по теням прошлого, настоящего и будущего. Также говорят, что он может отсекать и убирать лишние, чужеродные тени, которые то и дело прилипают к людям, как рыбки-прилипалы. Такие тени питаются теми жизненными благами и удачами, земными и небесными радостями, телесной и духовной силой, которые предназначены человеку, к которому они прилипли, и тем самым мешают ему жить.

Впрочем, он умеет не только отсекать, но и возвращать и ставить на место какую-нибудь заблудившуюся тень. Особено это нужно делать, когда теряется одна из истинных теней, северная или южная, чтобы восстановить равновесие оперения стрелы восточной тени.

Поговаривают, что он своей магической силой может уничтожать тяжелые тени прошлого, из-под которых долго-долго не могут выбраться как отдельный человек, так и целые роды, племена и даже народы. Но я думаю, что эти сведения сильно преувеличены, поскольку, по моему разумению, люди и народы сами должны освобождаться из оков своего темного прошлого.

И напоследок, со странным чувством, в котором переплелись тревога и сомнение, я вынужден передать слова одного из приближенных Повелителя Теней. По его свидетельству, Повелитель Теней сам может стать тенью и в таком виде приходит к людям, чтобы защитить, остановить или направить их; чтобы навести порядок в хаосе его теней; чтобы нашептать людям на ухо какие-то знания и т.д. И когда я начинаю думать, что, возможно, большую часть того, что я написал, нашептал (уже после личной встречи) мне именно он, тревога и сомнение настолько проникают в мое существо и с такой силой начинают вытеснять меня из самого себя, что порой я сам ощущаю себя одной из своих же теней...

О жилищах

"Давай зайдем в эту юрту и немного отдохнем," — предложил мне второй из семи мудрецов тувинской земли и народа, указывая на поросшую мягкой стелющейся травой полянку. Как я ни оглядывался, не то что юрты, даже никаких признаков ее вокруг не увидел. Только старая коновязь одиноко стояла недалеко от того места, на которое указывал

мой спутник. На мое недоумение он ответил неожиданно строгим взглядом и жестом велел мне следовать за ним. Подойдя к тому месту, он по традиции негромко кашлянул и, нагнувшись, церемонно переступил через невидимый порог. Я невольно последовал его примеру, в точности повторяя все его движения.

Позже, когда мы, расположившись там, где в юрте должны быть места для гостей, утоляли жажду чаем, принесенным с собой, он неспешно поведал мне кое-что о жилищах. Некоторую часть этих сведений я привожу ниже.

Почти все люди знают, что каждое человеческое жилище (неважно, дворец это или юрта, или простой шалаш) по-разному дышит и по-разному относится к гостям. Многие, а это очень чувствительные люди, физически ощущают на себе их невидимое воздействие. Потом они говорят, что из такого-то дома им хотелось поскорее уйти, потому что сам дом настойчиво выталкивал их наружу, а в таком-то доме им сразу стало уютно и спокойно, словно дом обнимал их, как самых желанных друзей.

Все это известно всем уже давно, но почти никто не знает, что в жилище его дух со своим нравом остается жить даже тогда, когда оно разрушено, и, порой, разрушено до такой степени, что никаких видимых следов от него уже не осталось, или после того, когда люди, жившие здесь, перекочевали на другое место, и долго-долго (десятки, а, может и сотни лет) это стойбище терпит на себе знак покинутости, и даже после того, когда и этот знак стирается окончательно. Наверно, многие испытывали на себе это чувство, когда какой-то уголок природы вдруг начинает притягивать человека, как бы молчаливо, но приветливо приглашая войти и отдохнуть, или же, наоборот, отталкивать с еле сдерживаемой враждебностью. Если вы встретились с такими местами, то можете с большой долей уверенности сказать, что здесь когда-то, возможно, стоял дворец, дом или шалаш.

И я сам вместе с тем же своим спутником побывал во многих таких местах, где ветер, каким бы стремительным и напористым он ни был, обходил какой-то кусок пространства посреди открытой голой степи, словно натыкаясь на невидимые стены. И по этой упругой границе ветра можно было определить размеры и форму стоявшего здесь когда-то жилища. И даже нещадно палящие лучи солнца не разящими стрелами падали на траву этих мест, а поглаживали теплыми и мягкими, как любящие женские руки, волнами.

Побывал я и в таких местах, где ночами слышны голоса невидимых людей, плач или смех ребенка, протяжная грустная песня или глухие звуки бубна, пронизывающие сердце и толщу времен трепетом необъяснимой тревоги. Также я узнал, что обитатели некоторых жилищ, из тех, которые построены на местах исчезнувших или разрушенных много лет и даже веков назад, порой видят в снах не свою, а чью-то чужую жизнь, не своих близких и знакомых, а совсем неведомых им людей, а проснувшись, долго не могут узнать свой мир и вспомнить самих себя. Оказыва-

ется, это означает, что корни тех, исчезнувших жилищ начали пускать ростки и прорастать в нынешние. И тогда каждое событие и каждое слово, произнесенное в этих домах, начинают приобретать двойной и даже тройной смысл, потаенные слои которого так и остаются не услышанными и не понятыми нынешними обитателями. И такие дома, и сама жизнь в них становятся очень похожими на текст "Изумрудной скрижали" Гермеса Трисмегиста, трижды величайшего египетского то ли мудреца, то ли посланца Бога. А, впрочем, это, наверно, одно и то же. Как и все то, что рассказывает мне мой спутник, которое, возможно, является рассказом такого дома.

Этот росток старого жилища может врастти в само существо нового и стать его частью, а может пустить свой стебель или ствол рядом с ним. А ведь всем известно, что бывают такие растения, которые отбирают у соседей все, что нужно для жизни, и тем самым губят их, а также и такие, которые мирно сосуществуют с ними, образуя гармоничное единство, и такие, которые, наоборот, помогают соседям (ведь многие большие деревья предоставляют свои стволы и ветви для выющихся растений, чтобы те могли цепляться и взбираться по их телам поближе к солнечным лучам) и даже облагораживают или по меньшей мере украшают их.

"Весь мир, вся вселенная является таким жилищем, ведь она построена на месте бесчисленного множества бывших здесь прежде и исчезнувших вселенных", — сказал мне на прощание тот самый мудрец, и я до сих пор безуспешно ломаю себе голову над смыслом его слов. И также, как скрытый смысл этих слов, загадкой для меня остается и то, как же можно гадать и предсказывать будущее по положению и очертаниям, по цвету, запаху, теплу и звукам, по огню, дыму и пеплу очага жилища, неважно какого — каменного, деревянного или войлочного; видимого или невидимого; обитаемого или заброшенного. А ведь именно это умеет делать второй из семи мудрецов, семи светильников Тулы. Он также, как и первый, может не только гадать и предсказывать, но и выхвать жизнь в чахнущий огонь очага, обрубать и обезвреживать опасные ростки старых жилищ, когда они начинают сводить с ума людей, подпавших под их влияние. Наверно, поэтому и зовут его "Приносящий Тепло". Хотя он умеет делать и многое другое, видимо, это его умение является главным для людей. Многие из тех, кто что-либо знает о Приносящем Тепло, рассказывают, что были такие случаи, когда одинокому путнику, замерзающему в безлюдном месте, вдруг попадалась теплая избушка или шалаш, иногда пещера или, на худой конец, вместительная звериная нора, где он мог обогреться и спастись. Но самое интересное заключается в том, что впоследствии тот же путник не может отыскать даже следов той избушки или норы. Говорят, что это Приносящий Тепло укрыл его собой. Честно признаться, я не знаю, как относиться ко всему этому. Конечно, легче всего отмахнуться, как от нелепых выдумок. Но сделать это мне мешает одно обстоятельство — в той самой невидимой юрте, в которой мы побывали в самом начале, мне приснилось, что у меня родилась дочь. И даже проснувшись, я долго видел ее лицо и

слышал ее голос. А через год у меня действительно родилась дочка... с такими же точно лицом и голосом...

О птицах

О существовании семи мудрецов Тувы я впервые услышал еще в детстве и долгое время считал это легендой или даже сказкой. Но со временем все больше и больше начал убеждаться, что мудрецы эти совсем не мифические, а вполне реальные люди. А по мере роста этой убежденности мне все сильнее и сильнее хотелось увидеться хотя бы с одним из них. И я под видом собирателя фольклора начал ходить и ходить по всей Туве, используя для этого любые возможности. История моих долгих поисков, история скитаний и метаний из одной крайности в другую — из абсолютного и беспросветного отчаяния и безверия в твердую убежденность в небезнадежности своего предприятия — это тема отдельной книги, которая пишется и будет писаться, пока продолжается мой поиск. Здесь же я отмечу лишь то, что только через семь долгих лет с того дня, как пустился на поиски, я впервые нашупал более или менее реальный след одного из них. И только через два года этот след привел меня к нему. Итак, целых девять лет понадобилось мне, чтобы заслужить честь быть принятым Повелителем Теней. А через три года он смилиостивился надо мной и позволил увидеться с Приносящим Тепло. Но тем не менее, я считаю, что мне жутко повезло, т. к. почти никому, кроме узкого круга приближенных, не удается увидеться и пообщаться с ними. И это притом, что некоторые из них живут среди народа, как обычные люди. Но даже те, кто живет с ними в одном селении, не знают, с кем имеют дело. А это все равно что не видеть и не общаться.

С тех пор прошло еще три года, и вот я сижу рядом с этим странным человеком, который почему-то всегда старался расположиться так, чтобы быть повернутым к собеседнику только правой стороной тела или хотя бы чуть-чуть отвернуться так, чтобы была видна правая часть его лица, на котором выделялся крючковатый нос с горбинкой. Лишь через некоторое время я понял причину его столь необычного поведения. На какой-то мой недоверчивый возглас он вдруг резко и как-то по-птичьи повернул ко мне голову и глянул в упор, глянул так, словно стрелу выпустил из глазницы-бойницы, настолько пронзительным и стремительным оказался этот нечеловеческий взгляд. Да и сам глаз оказался больше похожим на птичий, чем на человеческий — огромный, совершенно круглый, с хищноватым блеском и немигающий — такие глаза я видел только у орлов. Дольше нескольких смертельно опасных мгновений невозможно вынести этот взгляд...

“Ты знаешь, что у многих людей и народов есть довольно странное желание держать птиц в клетках, — начал он, даже не объяснив, почему он вдруг заговорил о птицах, — наверно, им лень пойти в поле или в лес, чтобы там насладиться их пением. А может, их просто гложет изнутри тайная зависть к птицам, из-за чего они и сажают их в клетки, чтобы те

забыли о том, что они умеют не только петь, но и летать, чтобы даже само пение их зависело от того, кормят их хозяин или нет. Но клетка рано или поздно разрушается от времени, и птица вырывается на волю. Попадается и такая птица, которая своим пением разрушает клетку. Встречаются и такие клетки, которые сами открывают свою дверцу, а птице только это и нужно. Иногда, правда, она не успевает упорхнуть, ее хватают и пересаживают в другую клетку и наоборот. А многие птицы настолько привыкают к этой своей клеточной жизни, что сами просят для себя новую клетку. Многие из них переживают таким образом не одну клетку, а десятки и даже сотни. Бывают и такие птицы, которые перестают петь в клетке и замолкают до тех пор, пока не вырвутся на волю, просто потому, что им необходимо летать для того, чтобы петь. И когда такая птица замолкает в клетке, уже не она, а клетка становится главным существом. И хозяева даже не замечают, что давно уже кормят не птицу, а клетку. Иногда птица умирает в клетке или просто исчезает, несмотря на то, что она крепко заперта. Тогда в такую клетку сажают другую птицу. В некоторых таких клетках за всю их жизнь может побывать довольно большое количество птиц, но ни одна из них уже не может там прижиться. Есть и такие клетки, которые начинают ржаветь (если они железные), гнить и ломаться (если они деревянные), когда птицы, жившие в них, вырываются на волю или умирают. Есть и такие птицы, которые, улетая, прихватывают с собой и клетку. Тогда говорят, что не птица в клетке, а клетка в птице. Это надо понимать так, как, например, выворачивают наизнанку рукав, хотя это слишком простое объяснение. На самом деле все гораздо сложнее и проще одновременно. Но это бывает крайне редко. Иногда можно слышать, как ночами скрипит и скрежещет та или иная клетка. По этому поводу есть поговорка: "Когда поет птица, клетка молчит, когда говорит клетка, молчит птица". Может, из-за этого, а может, и по какой-то другой причине, некоторые люди пытаются добиться того, чтобы и птица, и клетка пели вместе и согласно. Говорят, что некоторым это удается.

А вольные птицы всегда знают, где и когда разрушится очередная клетка, и отправляют туда своих посланцев, которые начинают кружить над тем местом, готовясь встретить ту, что скоро окажется на свободе. Пение таких посланцев отличается от обычного щебетания и гомона особой приподнятостью и радостной призвывностью. Если человек не обладает хотя бы сносным слухом, позволяющим ему услышать эту радость, то он может увидеть, что и полет посланцев больше похож на ритуальный танец какого-то племени, чем на простое кружение и перепархивание с места на место в поисках пищи. Если же человек не способен ни на то, ни на другое, значит, он спит, и все в нем молчат.

Когда он рассказывал мне все это, перескакивая с одной линии темы на другую, как птица перелетает с ветки на ветку, из крыла пролетавшей над нами ласточки выпало перышко и, немного покружившись в воздухе, тихо упало на воду прямо перед нами. Глядя вслед перышку, уносимому течением, он так же неожиданно, как и начал говорить о птицах,

сказал, что на сегодня хватит и мне пора уходить. Он так прямо и сказал: "На сегодня хватит. Тебе пора уходить. Уходи вниз по реке." А когда мы уже прощались, он вдруг спросил: "А ты знаешь, почему мелодии наши так свободны и прихотливы, почему они не подчиняются никаким искусственно навязанным правилам, а следуют только движениям души того, кто поет? — и сам же ответил на свой вопрос: — Да потому, что тувинцам никогда, и в голову не приходило ловить и сажать птиц в клетки... Я вижу, ты давно уже украдкой наблюдаешь вон за тем орлом, что кружится над нами. Ты заметил, сколько больших и малых кругов он нарисовал на небе? Точно так же все то, что ты услышал сегодня, имеет разные круги. И когда будешь думать об этом, убери из головы линейку, и кружись, как этот орел, или хотя бы летай, как та ласточка — вверх-вниз, вверх-вниз."

Сказав это, он встал и пошел к своей юрте, стоявшей недалеко от берега. А я так и остался сидеть и смотреть, как он удаляется, как он смешно ковыляет и подпрыгивает при ходьбе. Совсем как птица, для которой этот способ передвижения предоставляется досадным недоразумением, которое она вынуждена терпеть время от времени...

Потом я долго шел по берегу извилистой реки, такой же извилистой, как речь этого непонятного человека, которого, как это ни странно, зовут "Птицеловом". К моменту нашей встречи я уже слышал, что он умеет гадать по полету, крикам и пению птиц, что птицы рассказывают ему обо всем, что творится в мире, что он и сам умеет летать, причем не только в нашем небе, но в небесах других миров, что его левый глаз никогда не спит и может смотреть во все стороны пространства и времени сразу, и даже заглядывать в мысли, воспоминания, мечты и сны других людей и птиц, независимо от того, живые они или мертвые. Думая о том, почему же его, такого ярого противника клеток и ловли птиц, называют Птицеловом, я вдруг ощутил, что весь опутан невидимой сетью, вернее, не весь я, а мои мысли и моя душа. И тогда я понял, что тогда, когда он глянул на меня в упор, он выкинул на меня из своего левого глаза ловкую сеть, и я попался. И понял, что не освобожусь до тех пор, пока не распутаю сеть его слов. Таким образом он заставил меня задуматься о таких вещах, о которых я раньше и понятия не имел...

*

Игорь Иргит

МАРТОВСКИЕ СИЛУЭТЫ

(Рассказы)

Бодров

Весна наступала запоздало. По календарю была уже середина марта, а холода стояли еще февральские. Наконец, как бы без желания, нехотя, начал таять городской, как шлаковая пудра, снег, постепенно превраща-
88

ясь в сплошное чавкающее месиво, затопляя жижей из грязной воды окраинные улицы, тротуары и обочины асфальтированных дорог. Кочегарки крупных городских объектов и маленькие, закопченные избы все еще дымили паровозным чадом, отчего в безветренные дни над городом стоял тяжелый, свинцово-темный зловещий смог. В такие дни достаточно побывать на улице несколько минут, чтобы человек начал отхаркиваться черными, как мазут, шмотками мокроты, все больше набивая свои легкие дымом, смогом, выхлопными газами и еще какими-то гадостями.

В один из таких унылых, как две капли похожих друг на друга весенних дней, Бодров, — человек неопределенных занятий, с плохим здоровьем, устроился сторожить в одну из торговых баз города. Работа как работа. У Бодрова двое малых детей, а жена на дневном заканчивала институт. Поэтому ему приходилось днем возиться с детьми, а ночью сторожить... Бодров был человек бойкий, разговорчивый и поначалу всегда казался слегка легкомысленным, чересчур несдержаным. Но это был лишь кажущийся эффект. На самом деле этот худощавый, неврачного вида человек, выглядавший немножко моложе своих лет, был, как и большинство мужиков, своего рода артистом, причем умевшим неплохо сыграть свою роль, когда надо, а когда нет дела — любил мечтать и изнывать от безделья часами. Конечно, Бодров, кроме мечтаний, сообразно даже не претендовал на главные роли, всегда рассчитывая свои силы и возможности по среднему уровню. Если это выражить на примере воинских званий, то Бодров никогда не стремился стать генералом, но и рядовым он себя не представлял.

Ну что бы мог рассказать Бодров людям о своих прожитых годах? Ей-богу, он бы ни на чем не остановил свою память, скажем, если бы вдруг его попросили вспомнить какой-нибудь яркий эпизод из своей жизни. Настолько бесцельно и однообразно он проматывал свою жизнь. Нет, он не воевал, не отбывал срок, хотя по молодости его несколько раз доставляли в участок, не разводился, у него не случался пожар, у него даже не было тещи, с которой можно было бы повздорить и, наконец, он не пил, не курил, не играл в карты и, главное, жене никогда не изменял!...

Каждый вечер, ложась спать, он вслуш, как бы про себя, бормотал скучным, усталым голосом о своих завтраших нехитрых планах. Эти планы были настолько будничны и просты, что казались навечно прилипшими к его рубашке, портянкам, носкам и, как будто бы, от них пахло мужским крепким, терпким запахом,

Да он, возможно, ничем и не отличался от большинства мужиков: был в меру хитер, в меру обидчив, но одного он боялся пуще всего — предательства! Даже не измены, нет! Измена случается по разным причинам. Но предательство?! Оно, ему казалось, всегда исходит от какой-то дьявольщины, продукта не мира сего. И перед этим душевным явлением Бодров чувствовал животный, суеверный страх. Он иногда любил вслуш выговаривать: «Жене я могу изменить, если полюблю другую женщину, а предать Родину, свою семью, детей, товарищей или даже бывшую

жену врагам — не имею права!» Может, с его стороны это выглядело слишком наивно и наигранно? Но, может, с годами он станет более коварным и изощренным? Может, хуже — вовсе отупеет? Но в то время Бодров хотел быть искренним и ему можно было поверить... «Не дай Бог!» — хрюпло, тихо рычал Бодров, глядя на свою толстушку жену, когда та каждое утро уходила на учебу. «Предаст! Как пить дать... Закончит свой институт за мой счет, на моих плечах — и поминай как звали. И детей не пожалеет. На кой черт я ей нужен буду — необразованный, больной, некрасивый. Квартиру разменяет, за ministra выйдет замуж. За старого, но богатого, с машиной, с пятикомнатной квартирой! Предаст меня! Ой, предаст. Чтобы я не мешал им жить, сфабрикуют какое-нибудь уголовное дело и посадят... А там... там нет жизни! Этохана!»

Тут просыпались дети, и Бодров, невольно забыв свои тяжелые думы, принимался одевать, мыть, кормить малышей.

Старик

Первым человеком, встретившим Бодрова на работе, был его напарник — старик-пенсионер. Ему было далеко за шестой десяток, но он еще желал трудиться: то ли от старой закалки, то ли по какой другой причине — семейной, материальной. Этого никто не знал. Невзрачный, худой, как жердь, с сухим, желтым лицом, но с удивительно живыми, блестящими глазами, — он Бодрову показался каким-то прозрачным, неестественным и ожидающим чего-то очень грустного и неотвратимо страшного.

— Елка зеленая, — говорил он заплетающимся языком, через заметную одышку. В теплой телогрейке он медленно садился на лавочку в коридоре, где проводили дежурство сторожа. Чуть призадумавшись, он резко снимал свою шапку-ушанку, клал перед собой и, глядя на нее, продолжал, мотая седой головой:

— Старость — не радость. Одна нога в могиле, а работать и жить все хочется. Елка зеленая.

Старик работал здесь давно. Его все знали: и работники базы, и водители, что возили сюда и отсюда товары. Поэтому он себя чувствовал в проходной комнате, где обычно ночевали сторожа, как настоящий хозяин. Аккуратной, как у китайца, поступью он двигался по комнате, останавливаясь у каждого окна, всматриваясь куда-то вдаль. А когда вскипал чайник, неторопливо тянул из маленькой пиалы горячий чай с молоком, изредка покрякивая.

— Елка зеленая... Сколько было здесь раньше куропаток. Вот на месте этой базы раньше был пустырь аж до Тоннис-Суга. Дрофы паслись, как овцы. Взлетят отсюда и, примерно, там, возле Хербиса, сядут, а оттуда взлетев, сюда летят. Елка зеленая... И никто не стрелял. Все были сыты, всего было вдоволь... — и, немного подумав, добавлял:

— И люди вроде были другие... Понятливые...

Старик мог ночами напролет рассказывать о Токе, Чымбе и других руководителях Тувы, с которыми учился, работал, дружил. Много тепло-го вспоминал о Москве 30-х годов, о войне. Он все время жаловался на то, что его не хотят слушать его дети. А вот Бодров терпеливо и даже с интересом слушал старика. Это его подкупало, и старик стал более откровенным и доверчивым, стал угощать Бодрова своей провизией. Старик любил вкусно закусить...

В проходной почему-то стоял в углу портрет Ленина. Старик подолгу рассматривал этот портрет, и, качая головой, говорил:

— Вот бы людям дать столько ума! Что стало бы, а? Это от природы. Не каждому дано.

Потом он ставил портрет на подоконник, бережно вытирая мокрой тряпкой раму, клал свою правую руку на портрет и мокрыми глазами смотрел, рассматривал его и шептал:

— С ним можно хоть куда. Если б не он, бай меня забили бы до смерти. Как бы я выжил — сирота? Нет, не выжил бы. Может, кому-то он и враг, но мне дорог...

— Да что ты, старче, скулишь перед образом мертвого русского? Кому он теперь нужен? Так, для карьеристов, чтоб продвинуться по службе. Квартира нужна да машина и трахнуться с красивой русской бабой. Вот что нужно всем, — дразнился один парень-водитель, ожидавший погрузки своей машины.

— Нельзя так говорить, сынок. Дойдет до нехороших ушей, могут и навредить тебе в жизни. Есть такие органы еще... — испуганно шептал старик, блестя глазами.

— Ну давай, давай, доноси, старик! Тебя не винят. Вот моего отца посадили по пятьдесят восьмой, а я вырос, как собака... Не бай меня стегали камчой, а кое-кто другой... Вот с таким билетом, как у этого мертвого русского, понял? — Парень злобно блестел ошалевшими глазами.

— Слыши, мил человек, иди своей дорогой. Тебя сюда пустили, чтобы погрелся — и будя! — спокойно сказал Бодров.

— А чего он так? — начал успокаиваться парень, показывая на старика. — Органы... Навредить... Мне уже навредили, дальше некуда.

— Ну, что я сказал?! Не обижай старого человека. Или не понял?! — начал уже строгим голосом Бодров. Парень уже успокоился и, ничего не сказав в ответ, выбежал из проходной, злобно сплюнув возле крыльца.

— Вот такие тоже есть, — задумчиво сказал старик.

— Всякие есть, — согласился Бодров. — У каждого своя обида, своя жизнь, свое сумасшествие.

— В этом ты прав... Что будет-то? Что будет? Этот парень по-своему прав тоже. Нету уже преданных, как мы. Кругом ворье, жулье. Подавай им высокие должности, квартиры да машины. А именем вот его... — Старик бережно вешал портрет на место. — А его именем в основном спекулируют всякие карьеристы... Что нас ожидает-то? То есть, вас... Меня-то, ясное дело, что ожидает. Вот за вас, за молодых, мне страшно. Уж видно, кто к власти лезет...

Молодой южный русский парень с отборной бранью кидался на старику, обзывая «стары» со всем, зажравшимся, плоскомордым, узкоглазым макакой», когда старики медлили с открытием железных ворот, примерзших за ночь к шарнирам. Старики ломом долбили лед, но лом все время выскользывал из его слабых рук. Парень чуть не сходил с ума: «Ну нах же! Сидел бы ты, старый осел, дома, жрал бы пенсию свою!» Наконец ворота открывались, машина въезжала, наступала тишина.

После каждой подобной сценки старики молчали, глубже уходил головой в воротник своей тужурки. Глаза его печально тухли, лишь зеленая жила у седого виска беспокойно и напряженно пульсировала,

— Что теперь сделаешь, это — представители великой русской нации! — разводя руками, беспомощно, сконфуженно выговаривал. — Народ великого Ленина. Они полмира завоевали, значит, имеют права. И я тоже хорош. Надо было заранее подготовить ворота. Он ведь водитель. Ему время, что воздух! Чем раньше выедет, тем раньше доедет до места и обратно. Он же народу всякого товару везет. И детишкам, и старики. Вот он должен школьные тетрадки повезти. Пусть везет... Только грубоват он, молодой, горячий. Да это у него пройдет. Станет как я, старики, вспомнит меня...

— Добрый ты, дед. Да я бы на твоем месте ломом по башке, чтоб не хулиганил. Русский народ, говоришь. Видел я таких русских в армии. Там свои же русские на место таких ставят. Нельзя со старики так, нельзя, дед...

— Ну да ладно, проехало, — успокаивался старики, уже усмехаясь. Удивительно отходчивый он был. И продолжал вспоминать:

— Старуха моя еще в пятьдесят девятом умерла, а я один вырастил шестерых детей. Все они в люди вышли. Елка зеленая... Тяжело было, аж словом простым не выразить, как мне было тяжело. Я и покойную жену возненавидел лютою ненавистью. Каково, а? Оставить меня одного с такой оравой. Но выдюжил, всех выходил, все с образованием, и все работают, зря никого не обижают...

Он долго, задумчиво сидел, открыв беззубый рот, грустно посматривая в темное окно, моргая такими знакомыми всем теплыми глазами, какие обычно видим у матерей, когда они вспоминают что-то хорошее о своих детях. Эти глаза были не мужские — цепкие и властные, а материнские — нежные и внимательные.

— Младшая моя на мясокомбинате работает, — усмехался старики, шлепая ладонью свои тощие бедра. — Понятное дело, при мясе, колбасе и все такое... Но, чур! Чтоб домой таскала... Ни-ни... И не пойдет на такое. Захочет — купит. А чтоб тайком чужое брать — шиш! Не приучена с детства! Вот так вот!

Старики резко хватал шапку со стола, резко напяливал ее на седую голову, довольный, покрякивая, выходил на улицу, где долго шумно сморкался и кашлял...

Катя

По вечерам на объект забегала Катя. Она — бригадир сторожей: кривая, быстрая женщина высокого роста с красивым лицом и со странными, бесцветными глазами, глядевшими как будто бы всегда поверх головы собеседника.

Катя обычно быстро забегала в проходную и на высоком сопрано, как бы распевая, здоровалась со всеми разом, при этом не жалея ни смеха, ни шуток, ни колкостей. Мужики, как обычно, отвечали ей грубыми, недвусмысленными мужскими шуточками. Но она без обиды, нарочито вежливо отвечала:

— Так провожай ты меня почаше до дому!

После каждого посещения Кати старик многозначительно поднимал свой указательный палец с обрубленным концом, шепотом молвил:

— Вот это-женщина! Жалко мне ее. Ой, как жалко. Тут всякие бабы и мужики сплетни распространяют про нее. Тыфу! Не верьте им.

Она хорошая. Только вот маленько не повезло ей в жизни с мужиком. Не мужик ей лопался, а хрен собачий...

Бодров нутром чувствовал и понимал такое отношение старика к однокой молодой женщине с тремя детьми на руках. Возможно, примерно такое же одиночество и черствое отношение людей к себе он перенес через свое сердце после смерти жены. Старик всей душой был солидарен с Катей и мог в любое время заступиться за нее. А она, по всей видимости, чувствовала это, и как-то по особому, по-своему гордились этим.

— Эх ты, Байкара, сторож мой! — обращалась она к нему.

— Был бы ты чуть помоложе, цены бы тебе не было.

Старик криво улыбался, пытался тоже шутить:

— Да я и сейчас неплох, Катя...

— Ах, ты, старый донжуан, все туда же, да? Как и все?

— Говно хоть и старое, но пахнет ведь, Катенька, — отвечал старик. Тут все в хохот, а Катя, покраснев до ушей, убегала домой, обещав проверить службу ночью и утром.

— Она проверит. Обязательно проверит. Строгий она командир. Если застанет кого-то из сторожей спящим, пиши пропало. Это она на вид такая шутливая, а на работе — как металлическая... — говорил ей вслед старик.

Шардаков

У Бодрова появился еще один напарник. Среднего роста, серые глаза его смотрели насмешливо и загадочно. Ему было уже за сорок, но несмотря на это, он отращивал волосы, как молодой хиппи. Его длинные, негустые, рыжеватые волосы доходили до самых плеч. И это делало его похожим на молодого дьячка из церкви, что неподалеку от объекта. Говорил он с поволжским акцентом, отрывисто, криво усмехаясь в усы:

— Не-е, водку не пью. Молоко, только молоко пью. А ты че, хи-хи, тоже не потребляешь, да? Смотри-ка...

Про себя он рассказывать не любил, словно чего-то побаивался проговориться. Вообще, он производил впечатление скрытого, хитрого, но много раз «проколотого» человека. Платил он алименты двоим оставленным детям и, по всей видимости, это обстоятельство его не огорчало. Видно было, что мужик тосковал по детям, но не по жене. О ней он и вовсе не проронил ни слова... А так он был мужик веселый, большой знаток и ценитель «женских достоинств». Мужики от него всегда могли услышать или свежий анекдот, или интересный случай, произшедший с какой-нибудь кралей...

— Эх, хорошо бы в тайгу! — говорил он мечтательно. — Слышишь, Бодров, возьми меня как-нибудь в тайгу. Я недавно в Туве и еще не успел съездить туда. Эхма!

Любил он стелить себе постель на трех табуретках. И у него это так ловко выходило, что Бодров удивлялся, как это Шардаков не падает с такой постели, умудряется крепко спать.

Просыпался он так же быстро, как и засыпал:

— Кама... Слышал, есть такая река? — мечтательно, сладко спрашивал он.

— Как же, приток Волги, — охотно отвечал Бодров, лежа на длинной лавочке.

— То-то... Набережные Челны, КамАЗ, слыхал, небось?

— Слыхал.

— Вот я, братец, с тех мест. Из деревни...

— Как деревня называется?

— Хи-хи, Шардаково! Эхма!

Бодров удивленно смотрел на улыбающегося Шардакова, мотал головой. А Шардаков, довольный, сладко валялся на табуретках и мечтательно рассказывал:

— Там у нас все родня. Все Шардаковы. Один род, значит. И жена тоже была Шардакова... Но,стерва...

Тут он ловил себя на слове, замолкал, тяжело поднимался, одевал свою тужурку, со вздохом выговаривал:

— Ну что, обойдем разок...

— Давай, — соглашался Бодров.

Гремел и хрустел замерзший снег и тонкий лед под подошвами, два сторожа медленно брели по ночной территории огромного объекта. Тут и там беспорядочно валялись под открытым небом самые разные товары, портясь, ржавея, растиаскиваясь случайными людьми, работниками базы, рабочими, грузчиками и всякой другой поганой тварью, охотной на чужое добро. Вот велосипеды — кучей, там — лодочные моторы, а чуть дальше — мотоциклы... Кругом склады, склады.

Неяркий свет от фонарей и прожекторов уныло отбрасывал безобразные тени сторожей с ружьями за плечами на темные высокие стены длинных рядов складских помещений. Блекло светила полная луна. Из-за угла появлялся хромой сторож-собаковод Иван со старой, «списанной на пенсию» пограничной овчаркой Севиль.

— Э-хе-хе-хе-ээ! — угрожающе громко кричал он на сторожей. Те, при виде огромной, ростом с теленка, собаки невольно останавливались. Иван, довольный тем, что напугал сторожей, уводил Севиля к дальнему забору, садил на цепь. Собака умными глазами доверчиво поглядывала на Ивана, не понимая смысла его угрожающего окрика.

— Балагур, — говорил про Ивана сконфуженный Шардаков. — А собака — зверь! Если вырвется, кого угодно разорвет на кусочки.

— А зачем ей вырываться? — спрашивал Бодров. — Да если она захочет, вместе с Иваном кинется. Не удержит он ее, как кукла будет на привязи у нее.

— Да, ты прав. Умная собачина, верно? Знает ведь, что мы тоже сторожа, коллеги, значит.

— Ясное дело, она тоже себе зарабатывает на хлеб. Иначе... — Бодров замолчал, не договаривая.

— Что иначе? — допытывался Шардаков.

— Да слышал я от одного приятеля, служившего в погран, что после службы старых овчарок пускают в расход. Трудно содержать...

— Так-так, в расход, говоришь? Н-да, нехорошо, брат. Это же похоже на предательство! — зло засияли глаза Шардакова.

— Ну, а что с ними делать? Сам подумай. Жрет ведь не меньше тебя. Тут самому еле-еле... А эта хоть нашла себе работу. Жалко. Все равно жалко. Как человека жалко, — говорил Бодров.

— Значит, и тебе жалко? — испытывающе смотрел на Бодрова Шардаков. — А я-то думал, что ты таежник, охотник. Что тебе наплевать на жизнь животных. Привык стрелять...

— Такова была раньше жизнь, — отвечал ему Бодров. — Если я не убью зверя, то погибнут от голода мои дети. Так было, так есть и так будет. И мне больно, так же, как и им, тебе, всем... А что поделаешь? Вот кормим же эту собачину мясом коровы или барана. Кормим?

— Допустим, — отвечал Шардаков.

— Но ведь корова тоже животное. Она тоже имеет право на жизнь, как эта собака. Она тоже — создание Бога. Что, по-твоему, выходит, собака существо высшей расы, а корова низшей? Так, что ли?

Шардаков задумчиво хлопал глазами, то и дело посматривая вслед удаляющейся собаке, молчал.

— Молчишь? — злобно процедил сквозь зубы Бодров. — Мещанство все это! В тысячах городов миллионы обывателей содержат миллионы собак и кошек, хвастаясь своей любовью к животным. Дай им волю, они готовы кормить своих любимцев и человеческим мясом...

— Я тебя не понимаю... И вообще, я запутался. Не моего ума этот вопрос. Давай прекратим, пошли обратно. Там все равно Севиль. Никто туда не сунется. Что-то замерз я маленько, — начал было ретироваться Шардаков,

— Ну, коли так, пошли обратно, — согласился Бодров. Каждое утро, в семь часов, Шардаков убегал на свою дневную работу. Бодрову стало жалко его. Он ему казался не в меру несчастным. В нем не было того

самоуверенного, заносчивого высокомерия и холеного эгоизма, какими выделяются мужчины его лет, обласканные женами, успехами, образованием, положением; сытые и сильные своей многочисленной родней, которая всегда готова заступиться за них, несмотря на то, правы ли, не правы они... Не было у Шардакова здесь, на чужбине, той точки опоры, на которой обычно держатся сильные мира сего — чувства родины. Главное, чтобы его здесь, на чужбине, считали родным и близким, а не приезжим бродягой и бичом ...

Бодрову казалось, что Шардаков — бывший фраер. До того он любил красоваться перед зеркалом, расчесывая свою непослушную шевелюру! Было в нем что-то такое, что определяет человека без слов, от него несло таким знакомым по фильмам миром блатных. Иногда казалось, что он чего-то через силу скрывает. Хочется ему выговориться, освободиться от этих невидимых душевных мук, но какой-то неведомый страх не позволяет ему переступить через этот запрет.

— Слыши, Шардаков, ты там случайно никого не убил? — спросил однажды Бодров.

В глазах Шардакова на миг вспыхнул нехороший огонек, но он быстро взял себя в руки:

— А разве я похож на душегуба? — в ответ спросил он.

— Да нет, ну что ты так забеспокоился? Что, обиделся?

— Ты или дурак, или святой, — вымолвил Шардаков. — Не хочу я с тобой разговаривать...

— Сектант он! Баптист! — говорил о Шардакове старик. — Вот увидите, он тайком библию читает. Не удивлюсь, если его схватят органы. Опасный человек. Будь осторожен с ним, — наказывал Бодрову старик, когда Шардаков уходил.

Однажды старик не вышел на работу. Говорили, что у него случился приступ порока сердца.

— Умрет он скоро, — говорил о нем Шардаков, как-то слишком уверенно. И в этом была страшная, отвратительная правда.

На похороны старика скинулись по трешке, купили жиденький венок и от имени коллектива послали Катю. Под вечер, когда на дежурстве были Шардаков и Бодров, пришла вся красная, заплаканная Катя и принесла в небольшой хозяйственной сумке пару бутылок водки и немного закуски. Это то, что послали дети старика для поминок сослуживцам. Никто не пил. Поели немного мяса, посидели молча. Еще не было девяти...

— Царство ему небесное, — хрюпко сказал Шардаков.

— Представить только, до конца своих дней работал, — вдруг взорвалась Катя. — До самого конца...

— Наверное, знал, что к чему... Боялся одиночества, — перебил ее Бодров.

— Наверно, — согласилась Катя. — Я бы тоже боялась.

— А как похоронили-то? — спросил Шардаков. — Народу много было?

— По-моему, были в основном родственники. А из «даргаларов» никого я не заметила...

— Кому он нужен, — равнодушно сказал Бодров. — С козла содрали шкуру, а тушу выкидывай. А он тут на Ленина показывает, слезы льет, мол, единственной правильный человек. Развел сентименты перед смертью. Верует!

— Да прекрати ты, Бодров, зачем так о покойнике. Он, кстати, любил меня, — сказала Катя и вытащила носовой платок.

— Ладно, прости, если обидел, — согласился Бодров. — Все там будем. Кто раньше, кто позже...

— Это верно, — вымолвил Шардаков. — Заслужил, не заслужил... Хоть кто... Вот в этом бог всех нас уравнял. Молодец ведь, а? На тот свет ничего не заберешь...

— Зато здесь оставишь столько муты, что ни дети, ни внуки вместе с правнуками не расхлебают, — огрызнулась Катя.

— Нет, и все-таки Шардаков прав. Не было правды и не будет. Так хоть в одном бог всех нас уровнял — в смерти. Иначе бы не было смысла и умирать. Никто бы не спешил нажиться, нажраться. Зачем бессмертному богатство? — задумчиво проговорил Бодров.

Все вдруг замолкли, каждый думал о своем. И в эти минуты казалось, что душа покойного старичка ходила где-то на территории, среди темных складов и, тяжело вздыхая, приговаривала: «Елка зеленая, елка зеленая! Елка...»

— Бодров, проводи меня домой, — попросила усталая Катя. — Тяжелый был день. Дети, небось, заждались маму...

— Вы идите, идите, — сказал Шардаков. — Я тут один справлюсь.

— Да он быстро вернется. Я тут недалеко, — сказала Катя. — Ну, Шардаков, спокойной ночи. Хорошо вам отдежурить. Я утром прибегу.

— Всего доброго, Катя... Только парня отпускай быстрей. Смотри, он красивый, молодой, вскружит тебе голову.

— Дай-то бог! В этом я ничего плохого не вижу, — уже повеселев, сказала Катя.

Они вышли в ясную лунную ночь...

Вера

У ворот базы постоянно гудели огромные грузовые машины. В проходную часто забегала молодая кладовщица: накрашенная, гордая, высокомерная. О ней говорили, что «гулящая». Но она и сама, почему-то, никогда этого не отрицала. И никогда никому из водителей не отказывала в любезности. По первому же приглашению садилась к ним в кабину и уезжала куда глаза глядят. Говорили, что она стала такой после измены мужа. И случилось это давно, с пикантными подробностями данной истории был знаком чуть ли не весь коллектив базы. Ну и с горя бедная женщина расслабилась один раз, второй — и пошла по рукам... А там — заколдованный круг...

Далеко, за складами, неистово лаяла черная, мохнатая сука.

Раздавался удар лома об лед и грязная брань Бодрова, ругающего на чем свет стоит железные ворота, опять примерзшие за ночь в талую жижу.

Сторожевая жизнь текла по своему неизменному сюжету, не подчиняясь ни эмоциям, ни случайностям, ни интеллектуальным особенностям.

В тот день на смену вышел один Бодров. Старику еще не успели подыскать замену. А по правилам одному не положено дежурить... Прибежала Катя, поговорили, и она убежала за напарником. Уже к ночи, когда Бодров возвращался с очередного обхода, Катя привела с собой Вера — двадцатисемилетнюю женщину, худощавую, с бледным усталым лицом. Она бесконечно курила и вязала шерстяной шарф. От нее веяло искрящейся добротой семнадцатилетней девушки и мудростью сорокалетней женщины.

С ней было удивительно легко и просто. Она практически ничего не боялась и во всем откровенно признавалась. Ее открытость обезоруживала любого, быстро располагая к ней, вызывая на взаимную откровенность.

«Вот такие наивные и простые девушки больше всех ошибаются в жизни, — думал про нее Бодров. — Они честны, бесстрашны, но и не расчетливы, не умеют анализировать действия и поступки отдельных людей, не коварны — потому легко поддаются искушениям и просчетам жизни. Они полагаются, в основном, больше на природную интуицию, чем на опыт».

- Давно работаешь сторожем, Вера? — спросил Бодров.
- Года три уже, — негромко ответила Вера.
- Значит, это ты в прошлом году застрелила собаку?
- Я, — коротко бросила она.
- Грех, — сказал Бодров.
- Ну, она отцепилась и понеслась по территории, прыгая на всех, кто встречался на ее пути. А тут оставалась я одна. Прибежали бабы, все страшно напуганные, попросили принять меры... Ну, я и застрелила ее...
- Меры приняла. А чего сами не застрелили?
- Не знаю. Побоялись, наверно...
- Чего? Греха? Сами боятся, а тебя послали на грех, — зло скривил рот Бодров. — Вот так вот, Вера, люди делают. На чужом горбу в рай лезут...

Вера, не понимая смысла слов Бодрова, многозначительно хлопала глазами, затем долго и нудно рассказывала о своих больных детях, о любимом муже, которого называла «мой Жень».

В два часа ночи она шла спать в соседнюю комнату. Там было всегда темно и пахло красками и еще каким-то канцелярским запахом. Спала она тихо, но чутко, как и всякая мать: при малейшем шорохе вскакивала, как будто и не спала вовсе.

Утром она добродушно говорила Бодрову:

— Беги уж домой. Поди, жена соскучилась за ночь. А я тут одна сдам смену, не впервой... Бодров, с трудом преодолев конфуз, оправдывающе что-то бурча, растопырив пальцы, уходил прочь, втаптывая каблуки сапогов в хрустящий утренний гололед.

Стоял март. Вернее, конец марта. Но холода продолжались. Над городом тянулись к сизому небу тысячи столбиков дыма, идущих от труб маленьких, закопченных домиков. Две горы — Хербис и Доге — не

были видны сквозь плотную завесу смога, но вдали виднелось похожее на белый бумажный кораблик здание драмтеатра. Дышалось едким, першающим в горле, морозным, чуточку сырым воздухом. Тянуло на сон, и Бодров шел домой качающейся походкой, словно после ночной по-пойки... Еще одна сторожевая ночь позади. Еще один шаг вперед — в неизвестность? Нет, —домой, к детям спящим и в постель! Да, в мягкую, теплую постель и крепко-крепко заснуть! Вот где смысл жизни...

Роза

Она ходила как-то по-птичьему, согнувшись и четко чеканя шаг. И никогда не смотрела людям прямо в глаза. Взгляд ее глаз был настороженным, то и дело в них вспыхивал безжалостный животный блеск. Она работала теперь вместо покойного старика...

Бодров, сделав очередной обход территории, капитально устроившись в проходной комнате, решил перекусить. Он, взяв свою сумку, любезно пригласил Розу к столу. Но та решительно отказалась, схватила чайник, вышла на улицу. «По воду пошла?» — подумал удивленный Бодров. Но открыв сумку, он тут же заметил, что в ней кто-то уже шарился. Вещи лежали не тем порядком...

«Ясно,— сказал про себя Бодров. — Узнаю шваль. Вон ты какая, Роза! Значит, тебя еще не проучили. Может, еще ни разу не ловили?»

Бодров вспомнил свою родственницу. Она любила ходить по гостям. Но после каждого ее посещения в доме, в котором она побывала, что-нибудь терялось. Исчезала в основном мелочь: серьги, портсигары, рюмки, ложки, часы и всякие безделушки... Бывало, исчезало и нечто покрупнее: шапки, шали и даже ботинки. Но это редко случалось. Тетушка не любила рисковать. Она машинально хватала то, что лежало плохо, но с таким расчетом, чтобы хозяева заметили пропажу через какое-то время. За это время в доме побывает уже несколько гостей, что значительно расширит круг подозреваемых. А это почти стопроцентный успех для вора.

Тетя была симпатичная, разговорчивая и очень компанейская; умела быстро располагать к себе кого угодно. Никто не мог подумать, что она способна на воровство, что она — последняя шваль. Она всегда казалась такой беспомощной, мягкой, а глаза ее всегда смотрели на людей доверчиво и открыто. Она всегда жаловалась на бессердечность, жестокость людей и низость мужчин... Сердобольные женщины с пониманием и сочувствием слушали ее, все больше теряя осторожность, таким образом попадая в ловкие чары воровки. Но воровала она в основном у своих же родственников, близких и знакомых. В этом тоже был дальний расчет: на случай, если все-таки поймают, то близкий человек или простит, в крайнем случае она отшутится, или придумает любую причину, чтобы замолить свою «ошибку»... Чужие же могут и в милицию сдать, и могут даже побить хорошенъко. Последнего она боялась пуще всего...

Но однажды все-таки ее поймали! С поличным! За руку! Не смогла она отмолиться, сорвать или отшутиться. Бодров оказался свидетелем той разыгравшейся драмы и позже никогда не жалел, что видел все это. Хозяин дома, немногословный, невысокого роста, но коренастый, с ключими глазами человек, закрыл дверь изнутри на ключ. Его жена, поймавшая воровку, еще находилась в шоке и что-то удрученно рассказывала своим двум братьям, прибежавшим на помощь. Вместе с ними был и Бодров...

Воровка никому не смотрела в глаза. Но в моменты, когда она их поднимала, те были какие-то не человеческие, звериные, с холодным блеском, дикие глаза. Они смотрели на людей с лютой ненавистью. Эти глаза совсем недавно, до того, как была поймана воровка, горели теплым светом, излучая любовь и доверие. Эти люди, которых она обворовала, никогда не делали ей больно, они ее любили, уважали и потому пустили домой, накормили, напоили... Откуда у этих страшных глаз столько ненависти к людям? Бодров не понимал значения этих глаз, природы их. «Вот оно! — подумал он. — Может быть, здесь скрыта естественная крепость предательства?»

Воровка, рассчитывая, что ее проводят в милицию, а там с помощью своего артистизма она выкарабкается из данной неприятной ситуации, звала себя довольно вызывающе, нарочито гордо и молчаливо. Хозяйка старалась устыдить ее, нажимая на совесть, что, мол, «как она могла своих же родных, близких людей обворовать», и при этом сама больше всего убивалась, плакала и страдала. А воровка равнодушно, безжалостно ухмыляясь, смотрела куда-то в сторону.

Хозяин же стоял в стороне и внимательно, цепко следил за поведением воровки. Потом он медленно, тоже ухмыляясь, подошел к воровке. На его лице промелькнула страшная тень мужской жестокости. Жена, заметив состояние мужа, вдруг встревожилась, одним прыжком встала между воровкой и им. Но ее братья, без слов поняв выпад своего зятя, бережно отвели сестру в дальний угол комнаты.

— Нет, только не это! — успела крикнуть жена. Только тут воровка вдруг встрепенулась, как будто очухалась от душевного транса, тревожно посмотрела на мужчин, опустилась в кресло. Было видно, как у нее забилось сердце, а лоб вспотел.

— Вы что? Отведите меня в милицию, сейчас же. Что вы хотите со мной сделать? Нет, вы не имеете права. Я буду жаловаться. Вас посадят... Отойдите от меня...

Мужики все молчали. И тут воровка не успела даже вскрикнуть, как хозяин точным, сильным ударом выбил ей все передние зубы. Воровка откинулась в кресле, долго не приходя в сознание. Потом, очнувшись, страшно завопила. Все ее лицо было в крови.

— Ну вот, — сказал ей хозяин. — Теперь мы с тобой квиты. Ты меня обокрала, я тебя поколотил. А зубы выбил, чтобы ты помнила впредь, — не бери без спроса чужое! Мы же с тобой родственники, не забудь. Не будешь же со мной судиться? — Затем хозяин взял ее за локоть, под-

вел к двери, вышвырнул на улицу, сказав: — Нужны станут зубы, приходи и попроси прощения, вставлю тебе золотые.

Жена плакала и ругала мужа:

— Ты — подонок, изувер бесстыдный, что ты с ней сделал! Разве можно так? Как нам людям в глаза смотреть после этого? Да я бы сама ей отдала это. Из-за такого пустяка избить женщину! Нет. Ты не человек...

— Да успокойся ты. Но я же ее маленько проучил. Надо было еще в детстве, вот тогда не выросла бы такая воровка. Сколько еще горя людям принесла бы? Ты сама подумай. А что милиция, что тюрьма? Там из нее вовсе сделали бы профессионалку, испортили бы вконец... Но мы же все-таки родственники, сор из избы не вынесем. Дали ей последний шанс. Исправится, одумается — зубы вставим... И забудем, что было...

Муж с женой обнялись, а братья и Бодров стали собираться уходить ...

Бодров не понимал, откуда берутся воры. Обычно такие люди в жизни ничего существенного не добиваются. Их ловят, сажают, бьют, унижают, а они не бросают свою дурную привычку.

Он помнил еще одну такую шварь. Жила она в деревне и часто бегала к армянам, которые строили летом колхозную баню. Но однажды ночью она, стащив у любовника-армяна золотое кольцо, попыталась убежать. Но не тут-то было. Любовник спохватился сразу. Выловили ее где-то в огороде, она там пряталась среди картошки. Воровку привели в дом абсолютно голую, побитую. Она плакала и молилась, целуя руки, ноги армянам, чтобы те ее не убили. Они же презрительно смотрели на эту узоглазую, скуластую, с желтыми нечищенными зубами шварь, и, посоветовавшись на своем языке, сбили ее с ног одним крепким ударом, и эту отвратительно орущую нагую бабу схватили за полные, красивые ноги, потащили на улицу к соседнему дому, где жили тоже строители-командировочки — русские мужики из какого-то ПМК. В ту ночь они, как обычно, гуляли и шумели... Армяне, открыв двери их избушки и крикнув: «Получай, Ваня!», забросили в дом уже бесчувственную голую воровку.

Спустя два года Бодров видел эту девушку на автовокзале. Она была с мужем и грудным ребенком. Муж ее, —симпатичный паренек невысокого роста, худощавый и просто одетый, держал на руках плачущего ребенка. А она, с осунувшимся материнским лицом, совала в ротик ребенка соску. Была она лет на пять старше своего мужа... «О, господи, еще одна патология у нее, — подумал Бодров. — Страсть к молодым мужчинам. Да она же старше и раньше состарится. А мужику рано или поздно захочется связать свою судьбу с молодой женщиной. Опять трагедия, опять слезы... Но ведь это тоже как воровство.

Только здесь другая философия, другие страсти, хотя результат получится не менее трагичным, чем случай с армянами...»

Бодров знает еще одну шварь. Но она намного моложе своих предыдущих, ей всего лишь шестнадцать лет. Возможно, она до сих пор «гастролирует» по Туве, пересаживаясь из одной кабины в другую, ночует и живет в заезжках или в кочегарках разных автопредприятий. О ней водители с отвращением говорят:

— Где она сейчас? У нас в кочегарке? А в прошлый месяц паслась в «Сельхозхимии»...

— Кормят ее хоть? В баню свозили? Так она же там сама подмывалась...

— Ха-ха-ха, какой подмывалась? Чего ей подмывать-то? Она же только за щеку и берет, разве что ротик свой вытрут рукавом. Тыфу, соетина...

Знал Бодров и отца этой девочки. Матери нет, умерла от рака года три назад. А отец чабанил. «На шее» имел триста голов баранов. В прошлом году потерял одиннадцать, поэтому числился в долгах у государства, каждый месяц получая двадцать пять рублей аванса. Этого не хватало даже на табак, чай и муку. О сахаре он мог только мечтать. Он не отлучался от стада даже в выходные дни, так как у скотины не бывает выходных дней — жует и жует бесконечно и беспрестанно... Дочку же свою он не видел уже больше года. Иногда она напишет ему письмо. Почтальон принесет в месяц один раз почту... Дочка врала отцу, писала, что учится в Москве в Университете им. Патриса Лумумбы. Отец со слезами на глазах, с гордостью читал письмо дочери другим чабанам, почтальону, ветеринару и сакманщикам. Те тоже радовались, смеялись, хлопали по плечу старого чабана. Многие знали, что дочь обманывает отца. И почти все знали, что она «пасется» у шоферни... Но все молчали. Никто не осмеливался сказать правду бедному отцу.

Вот что видел и знает Бодров в этой жестокой и иллюзорной жизни. Он видел жестокость людей по отношению к слабым, беззащитным, диким и невежественным, и к тем, кто ставит себя и близких в безвыходное положение по вине своей же глупости и наплевательского отношения к своим обязанностям — быть матерью, отцом, дочерью, сыном... Что может быть больнее человеку, чем унижение его достоинства?!

Вот она — Роза! Глазами профессионального вора обследовав соседний кабинет, деловито принялась за дело: открыла ящики столов, аккуратно обшарила все углы. Затем, беспардонно заходя в комнату для грузчиков, не брезгуя, спокойно сует свои красные, грязные руки в карманы испачканных брюк и спецовок, оставленных рабочими. Авось, кто-нибудь забыл в кармане засаленную трешку!

В эти минуты Роза походила на бездомную собаку, залезшую на помойку.

— Эй, Роза, ну что ты там все шаришься? Иди, покушай со мной, — позвал ее Бодров.

Роза настороженно остановилась, немного помозговала и, поймав носом вкусный запах жареной рыбы и лука, медленно, как-то боком подошла к столу, где трапезничал Бодров. Она молча, без стеснения хватала руками все, что подавал Бодров, желтыми, большими зубами жадно грызла еду, быстро проглатывала. «Ну и горло же у нее! — подумал Бодров.

— Прямо как у собаки». Он вдруг вспомнил тетю-воровку...

— А у тебя зубы хорошие, крепкие, — сказал задумчиво Бодров.

— А? Что ты сказал? — переспросила Роза, жуя хлеб.

— Да так, зубы у тебя крепкие, большие, говорю. Поди, одним ударом не выбьешь...

— А че мне их выбивать? Ты че несешь-то? — вдруг выпендрилась Роза.

— Да ты ешь, ешь, вон рыба еще осталась, доедай. Я же так, к слову сказал. Ты чего забеспокоилась?

Роза вдруг перестала жевать, встала со стула, взяла ружье и вышла на территорию. Бодров поспешил за ней. Оба молча обошли все углы, устали вернулись в контору.

По возвращении Бодрову даже захотелось почитать Розе лекцию на тему морали. И черт его дернул за язык, он почти всю ночь рассказывал и рассказывал про воровок, швалей и про ту девушку, которая «пасется» на автобазах и все такое прочее. Роза же ни одного слова не сказала, а очень внимательно выслушала все, что Бодров рассказал. Бодров же это принял за хорошую примету — раз слушает, значит, может и воспринять. А это уже один шаг к перевоспитанию.

Ему казалось, что он делает доброе дело, — направляя к истинному пути пропавшую женщину. Вот тут-то он и ошибся! Он не знал, что шваль — это шваль. Она уже не подлежит перевоспитанию. На любое добро шваль ответит только лакостью. Это такой закон у них — отличительная черта швалей, как бы защитный инстинкт: если им оказать услугу, воспринимают это как слабость. «Значит, — усвоит она, — этот человек добрый по натуре, и его легче обмануть и нажиться за его счет».

Петрович

На улице, в метрах в тридцати от здания, стояла автомашина «Жигули». Очкарик, улыбаясь, пригласил Бодрова сесть в нее, а сам сел за руль. Уже в машине очкарик показал Бодрову удостоверение капитана госбезопасности.

— Ну что, Бодров, как служба? — спросил капитан.

— Идет, товарищ капитан. Никаких происшествий, — почти как в армии ответил Бодров и, поймав себя на этом, ухмыльнулся.

— А как здоровье? — допытывался капитан.

— Спасибо, товарищ капитан, пока не беспокоите.

— Да брось ты, товарищ капитан, товарищ капитан... Зови просто Петрович. Ты же не в армии находишься.

— Солдат — всегда солдат, Петрович, — улыбаясь, ответил Бодров. А сам уже ерзал на сиденье от волнения. Зачем он стал нужен гебешникам? Что он натворил такого?

— Ну ладно, не буду тебя задерживать, начну сразу. Что ты там рассказывал этой Розе?

— Ах, вот оно что! — осенило Бодрова. Он, удрученно мотнув головой, откинулся назад.

— Ну разве можно? Сам подумай, — начал Петрович.

— А что я такого ей наговорил? — уже смело спросил Бодров. — Ворует она.... Вот и захотелось мне ее проучить, но вместо этого прочитал моралите. Да вижу — невпрок.

Петрович, многозначительно подняв указательный палец, пристально посмотрев на Бодрова, выговорил:

— Во! Только себе во вред. А ведь она написала. Ты меня понял, да? На бумаге... С ошибками, марашками... Но это заявление — документ! Понял?

Оба сидели молча. В душе Бодрова скреблись кошки и стало так грязно и обидно, что хотелось плакать и рыдать. Тишину прервал Петрович:

— Ну, теперь не как раньше, перестали шить пятьдесят восьмую. Но в твоем деле явно проглядывают элементы антисоветчины. Большую агитацию ты не успел провести — только одной бабе раскрылся. И, кроме того, есть элементы попытки разжигания межнациональной розни. И еще — оскорблений чести и достоинства советских женщин. Клевета!

— Вот оно что, — сквозь зубы процедил Бодров. — Ну и что дальше? Что со мной будет? Колымा? Магадан?

— Не паясничай, Бодров. Сам прекрасно знаешь, что всего этого не будет. Но если я очень захочу, то найду еще двух свидетелей и все, можно будет возбуждать уголовное дело. Первый раз дадут год, два. А может, и условными отделаешься, но это — уже судимость! Судимость, дорогой! Ты прекрасно понимаешь, что это означает... Жена, дети, будущая учеба — все к чертовой матери ...

— Перестаньте! — прервал Бодров Петровича. — Говорите, что вам от меня надо?

— Что надо? А ничего не надо. Ты умный, догадливый. Давай будем сотрудничать...

Чего-чего, но этого Бодров никогда не ожидал: решили его стукачом сделать. Позор-то какой! Нет, лучше умереть, чем быть предателем у себя же на родине, среди своих людей. Другое дело, если б его забросили в стан врага... И Бодров проклинал свой длинный язык, себя за болтливость и бараний ум.

— Ну что, Бодров, совесть грызет? Бывает, — сказал Петрович. — Но ты у нас немного поработаешь, так сказать, заочно. А потом можем тебя отправить на учебу. Хочешь — в вуз, хочешь — в среднее заведение. Профессия же...

При этих словах Бодров чуточку успокоился. Надо было ему оттянуть время, главное, чтобы этот Петрович не взял его тепленьким, нахрапом...

— А подумать можно? Как-то все сразу... С женой посоветуюсь, — более тактично сказал Бодров.

— А вот последнего не надо. Жена — не родня. Ну, это до поры, конечно. Ну, так ты согласен, значит?

— Нет. Мне надо время. Да и со здоровьем не очень, — не отступал Бодров.

— Ладно, так и быть. Даю тебе время на раздумье... Но мы с тобой еще встретимся...

— До свидания! — сказал Бодров и хотел выйти из машины.

— Да, кстати, один вопрос. Не торопись, время у нас еще есть. Скажи, пожалуйста, что это за человек — Шардаков? Кто он? Так, вкратце, можешь описать?

Бодров чуть было не разговорился, но, быстро сообразив, взял свой язык обратно, ответил:

— Честное слово, не знаю. Вот ей-богу! Он неразговорчивый... Простите, меня уже заждались, наверно. До свидания!

Бодров пулей выскочил из машины и бегом в проходную. Машина Петровича еще немного постояла и уехала.

В проходной Кати уже не было, убежала домой. Сидел один Шардаков, он ничего не спросил. Только глаза его сделались задумчиво-грустными и старались не смотреть в сторону Бодрова...

В темноте тихо брели сутулыые фигуры сторожей. Динамик, что висел на крыше соседнего склада, заливался мелодией Брамса.

— Это Брамс, — сказал Бодров,

— Музыка, что ли? — спросил Шардаков.

— Да. Хотел я стать музыкантом, да судьба по-иному сложилась. — Оба медленно, задумчиво шагая, слушали симфонию Брамса.

— Это по мою душу приезжал, наверно. Опер? — сказал громко и хрипло Шардаков. — Ну, этот, в очках...

— Не понял, — сказал Бодров и остановился. — Ты чего несешь-то?

— Да я понял. Не притворяйся. Пасут они меня. И хрень отвяжутся...

— А что ты натворил-то? — спросил Бодров, подумав: «А ведь старик был прав! У старого козла глаз был наметанный. Вон ты какая, залетная птичка!»

— Эх-ма! Ничего я не натворил, не боись ты меня, Бодров! Чист я. Как стеклышко, — вымолвил Шардаков, вдруг сделавшись каким-то маленьким и горбатым: — Это жена, братец! И мой язык! Да дядя по матери...

— Да я слушаю, рассказывай, не бойся — не выдам, — сказал Бодров, весь загоревшийся любопытством.

— Да что рассказывать, эх-ма! Женился я на дочери бывшего опера. Ну, красивая, не гулящая была. Комсомолка. Обзавелись детьми, а я еще — дурак, со шпаной ходил: не работал, пил, курил, кастеты делал, всегда при ножах, обрезку достал. Тогда, в конце пятидесятых, стиляги в моде были, брюки такие тугие и узкие, а ботинки острые... Вот мы, человек сорок пацанов, ходили на танцы в слободу, там на ножах дрались. Вот там меня и пырнули ножиком в живот, еле выжил. Вернее, жена выходила. Две операции перенес. С тех пор не пью, не курю и завязал со шпаной. Да они и сами, повзрослев, вышли в люди.

Работать я начал, плотником устроился на стройку. Начал первые деньги приносить домой. Жена не нарадуется, дети сыты, обуты, одеты. И вот тут на мою шею и свалился дядя мой по матери. Он по пятьдесят восьмой статье отсидел в Норильске десять лет и приехал на родину с туберкулезом легких. Ну, приехал, не прогонишь ведь. Жить ему негде, жена уже замужем за другим, дети поразъехались. Вот и остался он у меня во времяночке жить.

Познакомились, разговорились. Он про лагеря, про шахты, где золото вытаскивали и про людей, про зеков, значит. Такое он рассказал, что волосы дыбом встают у нормального человека. Выходит, что он прошел через огонь, воду и медные трубы. Даже это не то слово, на деле было пострашнее. Вот тогда у меня в душе постепенно начало рождаться сомнение в светлом будущем человечества. Не может быть, чтобы такая правильная, честная, всесильная страна так жестоко губила своих детей. Нет, не Сталин один был виноват! Виноваты были все...

— Ты не отвлекайся, что с дядей-то стало? — перебил его Бодров.

— Ах, да, отвлекся я на рассуждения... Ну, и перевоспитал, по всей видимости, он меня. Но моя жена его сразу раскусила и невзлюбила. Обзываала всяко, выгоняла, устраивала и со мной громкие скандалы, что соседи милицию вызывали. Наконец, она его выжила. Прихожу с работы, а дядя нет. Собрал свои нехитрые пожитки и ушел в неизвестном направлении. С тех пор я его не видел ни разу.

В тот вечер я после трех лет перерыва крепко напился и учинил дома погром. Детишек выгнал босиком на снег, жену поколотил. Прибежал председатель сельсовета с участковым оперуполномоченным и баба какая-то — член женсовета, давай меня ловить. А я спьяну и советскую власть, и партию с комсомолом отправил на три буквы. Меня этой дубинкой и оглушили, связали и босиком в одной майке бросили в КПЗ.

Утром очухался, волосы рву со стыда, плачу. Но было поздно. Жена написала заявление, а все остальные обвинили меня в антисоветизме. А когда жена поняла, что сотворила дурость, было уже дело закончено и меня осудили. Первый раз послали в ссылку в Казахстан. Отбывал я срок на поселении в Талды-Курганской области, пас ослов и баранов в одном совхозе.

— А как в Туву попал? — спросил Бодров.

— Через три года жена моя вышла замуж за другого. За моего родственника. Погано стало на душе. Не захотелось мне домой возвращаться, видеть грех кровосмешения — инцест называется. Это я в энциклопедии вычитал. Остался я жить в Казахстане, освободился, переехал в Павлодар. А там женился на молодой девушке. Она мне и родила двух девочек. Окончил я курсы киномехаников, работал в кинотеатре, чин чинарем, эх-ма! Хорошие были времена! Жили с ней душа в душе. Я и тогда платил алименты. Но она никогда не упрекала меня за это.

Но счастье длилось недолго. Однажды пришла домой вся хмурая, молчаливая. Всю ночь кувыркалась, от меня отворачивалась и под утро спрашивавшая:

— Ты судимый?

— Да, — отвечаю я.

— А почему мне не сказал? Почему скрыл? И что еще от меня скрываешь? От детей?

Я был почти убит. Пытался успокоить ее, пытался объяснить, но она ничего не хотела слушать и с ненавистью назвала меня:

«Предатель! Ты — враг народа! Ты — гнида!»

Я только позже узнал, что к ней на работу, как бы ненароком, заходил какой-то дядя, хорошо одетый, спросил меня, назвавшись другом, затем пытался соблазнить ее, а когда у него это не получилось, он рассказал о моей судьбе. Кто это был, я так толком и не узнал. Но предположил, что это был кто-то из гебешников или ментов. Есть среди них такие твари, которые соблазняют жен осужденных или бывших зеков, чтобы потом выпытывать у них сведения об их супругах. Но это их работа. Только нельзя было так грубо и непрофессионально. В результате моя семья распалась. Стало невыносимо жить со второй женой. Стала изменять, гулять, а меня за человека не принимала...

Висела у меня в комнате карта страны. Закрыв глаза, ткнул я пальцем наугад и попал в Туву. Вот и приехал сюда...

Долго стояли два сторожа под фонарем, с ружьями за плечами. Грели последние аккорды симфонии Брамса. Тепло, по-дружески положил свою руку Бодров на плечо Шардакова, посмотрел ему в мокрые глаза:

— Чист ты, как стеклышико, — сказал он. — Не горюй и не вешай свой нос.

— Спасибо, брат. Только уеду я отсюда. По детям соскучился. Каждую ночь снятся... Свозил бы ты меня в тайгу...

— Вся жизнь впереди! Только держись и не унывай...

Они медленно брали к конторе.

— Эх-хе-хээ! — кричал вдали хромой Иван, перевязывая Севиль.

А луна светила серпом. Замолк динамик. Значит, уже двенадцать перевалило.

— Эх, сделать бы людям что-нибудь хорошее, чтобы помнили дети, — сказал мечтательно Бодров.

— Хорошего мало, — говорит Шардаков, тяжело вздыхая.

— То-то, если бы хорошего больше, то мы бы не сторожили здесь. Не от кого было бы сторожить. Значит, плохого всегда бывает больше! Так было, по крайней мере...

Вдалеке скрипела Севиль. Серп луны зашел за мутные облака, но сиял, как фонарь.

— Пойдем, покемарим, — говорили друг другу сторожа, зевая, громко топая сапогами...

*

Мария Хадаханэ

ДЕВОЧКА ИЗ КЫЗЫЛА

(Начало жизни)

Отец их встретил рассказом о большом наводнении. Енисей в половодье 1945 г. разлился широко, до самой Горки. Люди плавали на лодках,

мальчишки придумали передвигаться на огромных ходулях. Особенно пострадала нижняя, западная окраина города.

У землянки на улице Кочетова, где они жили, не было крыши, а просто сверху была плотно навалена земля, сквозь которую проросли сухие крепкие травинки. Дневной свет слабо пробивался сквозь два маленьких оконца. Здесь больше заботились о тепле в зимнюю стужу. Иногда мелькали ноги редких прохожих.

Лето навалилось жарой, томящим зноем. К вечеру неожиданно налетела песчаная буря, сбивающая с ног. Кожа лица, казалось, была натерта нааждаком. Долго потом протирали глаза, выбивали пыль из одежды и волос, на зубах скрипел песок, рот наполнялся тягучей серой слюной. И все это горожане иронически-ласково, беззлобно называли «кызылским дождичком». Дети гурьбой бегали в степь за полынными вениками, когда было лень или очень жарко, — то и в парк. На болоте росли чахлые березки и много голубых незабудок.

Любимым зрелищем ребятишек была переправа через Енисей. Стояли длинные вереницы доверху нагруженных грузовиков, бензовозов. Шоферы в ожидании парома курили, смачно ругались, щелкали орехи, затягивали крепче веревки на грузах.

В «Большом» магазине к 1 сентября были куплены носки, по-местному карпетки. Саяна готовилась идти в 5-й класс первой школы, а Шурка — в 3-й класс. Дома оставался Генка, двухлетний малец.

Утро начиналось в семье бурно, энергично. Выгребалась теплая зола из печки, мать заносила ведро черного, жирного блестящего угля. Вскоре плита раскалялась докрасна; мать, румяная, сухощавая, быстрая, пекла картофельные пирожки. Дети завтракали и бежали в школу. Шурка всегда припасал за пазухой несколько горячих пирожков для тепла, отчего живот вздувался, рубаха лоснилась, в тетрадях не писалось из-за жирных следов. Попадало вдвойне от матери и учительницы. Мать, жуя на ходу, торопливо собирала плаксивого Генку в ясли и бежала на работу. Отец часто бывал по заготовке зерна в районах.

Школа была деревянной, двухэтажной. На больших переменах в зале шли танцы старшеклассников, много фронтовиков, чаще всего под танго «Брызги шампанского» и вальс «На сопках Манчжурии». «Малышня» с любопытством глазела, и хотя их то и дело прогоняли, но они снова были на своих местах.

По коридору проходил огромный, огненно-рыжий директор Иванов. Все бросались врассыпную, — таким он казался грозным.

Литературу вела Роза Владимировна — маленькая, хрупкая, с огромными глазами и локонами до плеч. Старшеклассники готовили с ней горьковский вечер, и вся школа знала, кто Радда и Лойко, — конечно, самая красивая пара на танцах. Малыши обожали свою учительницу за молодость и красоту и еще за то, что она так здорово читала со сцены из «Молодой гвардии» и рассказывала в темном классе «Голову профессора Доуэля». Выходить, правда, потом из школы было жутковато:казалось, что за спиной идет предатель Фомин и сейчас заговорит отрезанная голова.

Мороз и снег отвлекали сразу всех: мальчишки начинали играть в «зоску» или «почекушку», соревновались, кто до ста раз ударит сначала правой ногой, потом — левой по кусочку свинца, отделанного мехом.

Роза Владимировна была классным руководителем Саяны. И чтобы угодить любимой учительнице, весь класс искал в книгах примеры на причастные и деепричастные обороты, и даже между собой разговаривали этими оборотами. Было это смешно и странно. Класс ревниво следил за своей учительницей — кто провожает ее из школы — математик или физик.

Приближалось 8-е Марта. В классе было таинственно: по партам ныряли записочки, шло буйное обсуждение, что подарить ей. Прошел слух, что за дорогой подарок карают. Как быть? А тут еще она играла в самодеятельном театре в «Вассе Железновой». Конечно, она была прекраснее всех — лучше химички и исторички даже в небольшой роли.

Ученица Леонтьева сочинила поздравление в стихах. Класс, подговорив родителей, купил китайскую вышитую атласную скатерть. Что-то чудесное сверкало и переливалось в руках. Выделили ребят — отнести подарок домой. Весь класс, затаив дыхание, стоял за углом. Она была дома в длинном театральном платье и шубке — то ли пришла из театра, то ли собиралась уходить. Ее огромные глаза сияли слезами. Этим было сказано все. Путаясь в одеяле, которым была прикрыта от холода дверь, девчонки выскоцили наружу. Потом переживали, как бы ей не попало от директора. Но все обошлось благополучно.

К празднику Октября семья Саяны переехала в новый дом на улице Авиации. После землянки он казался дворцом, хотя еще и не был обижен. С замиранием сердца скучастая девчонка поднялась по тонкой шатающейся лестнице на крышу. Шурка и мальчишки — соседи подавали снизу в ведрах на веревке шлак — нужно было засыпать потолок толстым слоем. Мать забивала паклей щели. Генка весело крутился под ногами, играя стружками и опилками. Мир сверху казался огромным. Улица была последней, вдали, среди мохнатых шапок караганника, паслись коровы горожан, а еще дальше темнел военный городок.

У детей теперь была своя комната с широкой деревянной кроватью, стоявшей у теплой стены печки. Общительный Шурка тут же завел друзей, они вместе стояли в магазине Бабкина в очереди за хлебом. Шустрые мальчишки шныряли, протискивались, ставили перед собой еще друзей, очередь начинала грозно волноваться, мальчишки искренне выдавливали слезы, — всегда находились сердобольные тетки, — ребята получали большую булку теплого пахучего хлеба и с радостным воплем, тесня друг друга в дверях, высекакивали на вольный воздух.

Мать наказывала, уходя на работу, сложить дрова в поленницу или перетаскать уголь в сарай. Ребячья ватага дружно наваливалась на работу, между делом успевая поддать тумаков друг другу. Освободившись, они гоняли футбол посреди пыльной улицы, иногда уходили в степь или на зеленый берег протоки.

По вечерам семья собиралась в теплой кухне. Мать шила и починяла. Саяна рассказывала о школьных проделках. Видя неподдельный инте-

рес отца, принималась выдумывать, как весь класс обматывался нитками на диктанте и в нужный момент, когда надо было поставить запятую, Саяна дергала и подавала знак. Иногда отец с Шуркой азартно играли в шахматы. Сначала отец давал фору, а потом, видя яростное наступление, делал лишний ход или ловко убирал фигуру. Шурка начинал шмыгать носом, а отец весело и довольно хохотал. Генка нудно приставал ко всем, и, если его не замечали, начинал медленно реветь. Он подходил к окну и выливал из бутылки, привязанной для сбора воды из оконной наледи.

Отец был высокий, смуглый до черноты, на лице, темном с оспинами, резко выделялись белые зубы. Любил одежду полу военного покроя — галифе, китель «сталинка» и белые бурки или начищенные до блеска хромовые сапоги. По характеру был неровный, — мог днями молчать, погрузившись в чтение Эренбурга, — только в пепельнице росла груда окурков «Беломора», а потом вдруг пускался в загул. И тогда приставал к детям со странным желанием — немедленно остричь у всех ногти на руках и ногах. В обычное же время он любил поговорить о политике, дети знали назубок, с его слов, руководителей государств и компартий. Крепко выпив, любил напевать:

Любо, братцы, любо.
Любо, братцы, жить.
С нашим атаманом
Не приходится тужить.

Принимался рассказывать о своем детстве, как рос сиротой в бурятской деревне, озорничал, ходил на спор ночью на кладбище, надевал самодельную маску из тыквы, вставлял внутрь зажженную лучину и заглядывал в окна, пугая людей. Потом стал первым комсомольцем в иркутской деревне, раскулачивая тех кулаков, у которых батрачил десять лет. Образование получил самоучкой и стал заготовителем зерна.

Наутро отец был свеж, собран, подтянут, суховато-замкнут. За стеной шумели соседи Данилины. Жгучая глазастая Фрося одна растила четырех детей. То слышались веселые песни ее дружков, а то раздавался плач, шлепки, отчаянный крик. Мать пыталась утихомирить их, но все повторялось сначала. Языкастая соседка горлом брала верх. Угрюмоватый Вовка и улыбчивый широкогубый Колька — братья-погодки — стали Шуркиными друзьями.

Напротив жила вдова Куликова с тремя детьми. Война обездолила женщин, выкосила мужиков. Марфа, крепкая, широкая в кости, с тяжелым крупным подбородком, охотно нанималась белить, — в доме на счету был каждый рубль. Дора, уже девушка на выданье, нуждалась в нарядах, да и парни просили брюки-клеш — подметать танцплощадку в парке. Марфа работала истово, но и гуляла в редкие минуты отдыха с размахом, любила песни. Заметил ее один ухажер. Теперь по утрам на крыльце стояли мужские сапоги, надраенные до слепящего блеска руками Марфы. И никто не осуждал ее, даже охочие на сплетни соседки. А

мужик-то Шикин загулял всерьез и вскоре привел ораву своих детей. И всех приняла, обиходила щедрая сердцем русская бедовая баба, задетая огненным крылом войны. И всех вырастила, и довела до ума. Теперь дом ее зажил в полную силу, огород раздался богато, появилась своя банька, в которую просились соседи в очередь. И Марфа глядела лукаво, с задором — знай наших, и колодезный журавль скрипел весело. Команда пацанов поливала огород. Сумела женщина одолеть капризы мужика, установила мир между своими и приемышами, иногда лила слезы и каялась, но голову держала высоко.

На этой же улице обосновались дед с бабкой — Ковалевы, а при них взрослые дети — две дочери и сын. Детей держали в строгости, дом вела мать, обе дочери остались вековухами, только позже решились завести детей. С фронта вернулся весь израненный, в медалях, сын. И он послушно глядел матери в рот, поливал огород, помогал по хозяйству. Долго холостяковал, учился сначала в вечерней, потом заочно в институте. Девушки со всех улиц обмирали при встрече с ним — ясноглазым, улыбчивым. Соседи гадали, — может, староверы, что ли, они?..

В маленьком городе все на виду. У одной муж все делает: золу выносит, обед готовит, белье стирает. А сама хозяйка, как перекисшее тесто, вальяжно переваливается. Но никто ей не завидовал, жалели заезженного мужика, дивились, почему не поддаст ей, чтобы все «хвори» разом выскочили.

Бухгалтер Шершнев свою жену держал в узде. Одевалась она как куколка, все по моде, хорошо сшито из добротного материала, в доме — идеальный порядок. Три раза на дню протирался пол, посуда мылась тоже в трех водах. Обед мужу она подавала с пылу, с жару, и хоть разбейся, а из трех блюд. Сама хохлушка была в накрахмаленном переднике и непременно с веселой улыбкой, чтоб у мужа был аппетит. Ревновал он ее по-страшному, мог внезапно вернуться домой, чтоб застать ее врасплох. И мрачный уходил снова на работу.

На краю, на отшибе, жили Глазырины. Мать, яркая брюнетка с жирно блестевшими губами, лихая, бесшабашная, когда надо, — деловая, — везде могла пролезть и все достать — дефицитную туль и вискозный шелк. У большинства носилась одежда из далембы и диагонали, а у нее была чесучка и коверкот, а то и габардин. Лиля была непрочь гульнуть с мужем своей подруги. Муж ее любил охоту, и в доме держались огромные собаки. Эрнест Иванович был маленький круглый колобок, неизменно бодрый и веселый. Дети росли у них, как сорная трава, предоставленные сами себе. Они тоже по примеру соседей завели огород, но он засыхал на корню или его тля поедала. В доме было весело, оба любили выпить и погулять, каждый на стороне. Потом мирно сходились и делились пикантными подробностями своих похождений. Вокруг них крутились какие-то подозрительные личности, совершались какие-то сделки с мехом. За материальные интересы семьи готовы были перегрызть горло.

В маленьком доме жила семья красного партизана Антипина — два старых человека. Все в околотке пользовались их баней, вениками. Пос-

ле мытья гости непременно зазывались домой на чай с медом. Детей у них не было или они разъехались. Румяная старушка и легкий, как одуванчик, дед были очень одиноки, всегда совали ребятишкам конфеты-подушечки.

Лысый журналист в очках Москва-Пресс всегда грелся на солнышке, читая Есенина, целовал руки приходивших к нему соседок, приносивших молоко и яйца, загрубевшие в работе, красные от стирки руки. Женщины неловко отдергивали руку и прятали ее под фартуком. Гордились его международными обзорами и говорили: «Он у меня берет молоко».

Вскоре появились еще одни соседи — молодая тувинская семья комсомольского работника Кара-оола. Жена работала машинисткой. К их неогороженному крыльцу часто подъезжали всадники в овчинных шубах на мохнатых маленьких лошадях, а то и на верблюде, который лениво жевал свою жвачку. Ребятишки сбегались посмотреть на новых людей и на надменного верблюда. В этом доме долго горел свет, — один писал доклады, а другая их печатала. В квартире было чисто, но неуютно: не покрашены полы, не было кружевной накидки на подушках, не водилось овощей на столе. Ребят здесь угожали жареным просом, длинными лентами домашнего овечьего сыра. Хозяин предлагал сыграть в тувинские шахматы: обычные фигуры здесь заменили выточенные из камня животные. Кара-оол любил рассказывать о восстании 60-ти богатырей. Волосы Долгар были мелко завиты и скреплены гребенкой, на пальце было громоздкое, как щит, кольцо с узорами. На праздник их звали все соседи, а однажды Кара-оол собрал у себя гостей на свежую баранину и хан.

Игрушек почти не было, поэтому ребятишки больше играли на улице в прятки, лапту, в войну, в бабки, в «зоску».

А у взрослых шли свои разговоры: о выборах, о денежной реформе, о коллективизации, о продовольственных карточках. Из районов приезжают и останавливаются в доме Инзовых русские и тувинцы в дохах и в шубах. И у отца тяжелая собачья доха.

... Класс был большой и пестрый: Симаков Гоша, Клят Яков, Никифоров Юрий, Москаленко Юра, Мокрушин Валя, Юсупова Наташа, Киселева Тамара, Уколова Зоя, Комарова Нина, Гиро Зоя, Хабаров Евгений, Шелепов Геннадий, Кириллова Катя, Байкара Таня, Старостенко Вероника и остальные... С каждым связаны истории, случаи, проделки. Ехидничал и менялся марками Москаленко, дрался мрачный Мокрушин, звонким колокольчиком рассыпалась Кириллова, гордо и сумрачно поглядывала Киселёва, классной красавицей была Гиро, доброй старушкой казалась Уколова, всегда задирался Хабаров, веселым и ясным был Клят, сердито поглядывала из-под очков серьезная Байкара. В ходу были страшные рассказы Баталовой о банде «Чёрная кошка», которая прыгала на пружинах, резала младенцев и делала из них пирожки для базара. Узнали об этом преступлении по ногтю, попавшему в пирог. Коварные красавицы с накладными волосами, вставной челюстью, фальшивой грудью заклеивали простаков на улицах Абакана, а потом сбрасывали в яму. Повы-

шенная кровожадность рассказчицы и слушателей объяснялась недостатком приключенческой литературы и послевоенным ростом преступности.

В шестом-седьмом классе математике учил сухой Радкевич, химии — толстушка Крылова, географии — ярая общественница Старостенко, немецкому — с короткой стрижкой — Дятлова, истории — строгая Сухорукова, физике — общий любимец Севастьянов. В школе № 1 был хороший кабинет физики, там вспыхивала вольтова дуга, собирались электрические цепочки с амперметрами и вольтметрами, стояло много приборов таинственного назначения, Девчонки поголовно влюблялись в физика и сделали из него кумира. Зато обижали старушку «немку», прячась от урока в раздевалке. Она входила в класс, а он был пуст.

В школе был еще удивительный Иван Иванович Мокшин — крупная мужская голова на крошечном теле. Он, ловко помогая себе бадожком, взбирался на стул, а иногда его доставляли на плече в класс старшеклассники. Учитель он был удивительный, и дети не замечали или привыкли к его необычному облику. Других же они дразнили: огромного стокилограммового толстяка из начальных классов, бегали вслед за самым высоким в Кызыле человеком — Матюшовым и даже гордились им. На школьных вечерах виртуозно играла на великолепно инкрустированном трофеином аккордеоне Джемма Каменская. Она сама, и полонез Огинского, и ее имя были необыкновенными. Клара Намчак — маленькая и грациозная, как богиня — танцевала “Звенящую нежность”. Почему-то она казалась японкой. Почти у всех были альбомы с песнями. Общие тетради были редкостью, и поэтому просто сшивались обычные школьные в одну толстую. Кто не умел рисовать, наклеивал этикетки мыла, консервов, конфет, а то не стеснялись вырезать красавицу из книги сказок.

В единственном зимнем кинотеатре, где потом был Дом пионеров, часто крутили трофеиные фильмы. Перед началом сеанса пела певица Коваленко под небольшой оркестр. Длинное платье её казалось сказочно прекрасным. Наконец открывалась дверь в зал, и начинался волшебный сон: «Индийская гробница», «Тарзан». Земля ощутимо становилась огромной. Но больше любили кинокомедии — «Беспокойное хозяйство», «Небесный тихоход».

В классе собирали открытки артистов: Серовой, Целиковской, Смирновой, Самойлова, Орловой, Ладыгиной, Макаровой, Жарова, Крючкова. Они были общими любимицами. «Тахир и Зухра», «Далёкая невеста», «Аршин-Мал алан», даже «Каменный цветок» померкли перед «Подвигом разведчика». Идеалом мальчишек, мечтой девчонок стал артист П. Кадочников.

Шло время, менялись кумиры, и вот уже В. Дружников полонил всех, а потом — С. Гурзо.

Саяна любила писать изложения и сочинения, в которых преобладал вымысел. Увлекалась пейзажами, выписанными из книг — море, степь, горы, дорога, дождь, весна, зима, летний вечер. Мечтала стать журналистом, вела дневник, собирала изречения, была любопытна к людям и собы-

тиям. Девочка была застенчивой и развязной одновременно, могла привратить, а потом поверить в это, хвастливой и внутренне самоуверенной. Подолгу она разглядывала себя в зеркале или в отражении на стекле. Когда оставалась дома одна, принималась петь, — чистый голос был под Шульженко и Русланову — и танцевать собственную вариацию на попурри знакомых мелодий. А может, в ней сидит знаменитая артистка?

Она безбоязненно рассказывала «На смерть поэта» и «Прощай, свободная стихия» Пушкина, особенно любила риторические вопросы и восклицания, чтение нарастало от шепота до крика, опускаясь к показной задушевности. Часто плакала от обид, иногда бродила во сне по ночам по комнате и даже выходила на улицу. Боялась темноты, когда оставалась одна в комнате, дрожала в ожидании, что вот сейчас кто-то вылезет из-под кровати, или чудилось бледное лицо за стеклом.

Шурка бессовестно читал ее дневники и писал: «Смотрено, хорошо» и расписывался красивой вязью, подлаживаясь под манеру отца.

Любовь к чтению передалась от отца. У него на этажерке появлялись «Война и мир», «Тихий Дон», «Севастопольская страда», «Цусима», Мопассан, Тарле. Самой первой книгой был «Цветик-семицветик» Катаева и «Жизнь животных» Брема. На птицу-лиру, павлина любовалась, а иллюстрации со змеями от страха пропускала, захлопывая книгу. В дни болезни снился один и тот же сон: мутный, бурный поток реки, в котором барахтается, крутится палочка. Вот она все ближе, и, наконец, к самому лицу придвигается уже огромное бревно. Ещё снилась задача с трубами и бассейнами. После болезни долго не могла есть спелые помидоры. Саяна зачитывалась страшными книгами: «Собакой Баскервилей», «Вилем» и «Страшной местью» Гоголя (от сцены в церкви волосы становились дыбом поздней ночью).

Даже в «Томе Сойера» она ухитрялась выискать страшное кладбище и смерть Джо и потом тряслась под одеялом от леденящего ужаса и внутреннего холода до постукивания зубов. В журнале «Вокруг света» был рассказ о женщине с Марса с сердцем с правой стороны. Девочка прислушивалась к себе. Назавтра в классе ей безапелляционно заявляли, что таких людей в Кызыле сколько угодно. Они все очень умные и находятся под контролем врачей.

У Гюго её поражали своим уродством Квазимodo и Гуинплэн, они затмевали других героев. Значит, некрасивый человек может быть хорошим? — это было открытием.

Как ни странно, у девочки была своя система чтения. Язвительная седая Роза Бениционовна из библиотеки незаметно направляла её. Чтение шло полосами запоя. Со сказками Саяна долго не могла проститься, перечитывала «Малахитовую шкатулку» и «Витязя в тигровой шкуре». Оттуда она выписала в тетрадь первые афоризмы:

«Храбрецов, совершивших подвиг, люди чтут века», «Лучше гибель, но со славой, чем бесславных дней позор», «Надо жить во имя жизни, за живущих жизнь отдать», «Презираю человека, в ком предательство и ложь». Потом она принималась сравнивать свое детство с «Детством»

Толстого, Горького, Свирского и считала, что написано о ней. Если хороших книг не находилось, она перечитывала «Черную курицу», путешествие с дикими гусями Нильса и маленького Мука. Сколько жалости и зависти вызывали эти герои, — они могли видеть такие чудеса. Слово «Лапландия» звучало, как музыка.

В Саяне начинала просыпаться женщина. Ей хотелось, чтобы ее называли Июньской росой или Серебряным облаком, быть красивой и жестокой, как Кармен, величественной, как Анна Австрийская, нежной, как Эвелина из «Слепого музыканта». Это ради нее пробивался капитан Татаринов сквозь льды, Амундсен шел к полюсу, Миклухо-Маклай тосковал на Новой Гвинее.

Упоминание в истории средних веков Томаса Мора и Кампанеллы возбудило любопытство, и Саяна прочитала их, мало что поняв, но удивившись самому существованию таких книг. Отец молча прочитывал новую стопу книг — Шишкова, Мельникова-Печерского, Лациса, Шейнина, генерала Игнатьева.

Мать уезжала в лесной санаторий лечить перелом ноги у Генки. Шурка был в пионерском лагере за городом, отец — в командировке. Саяна с утра запасалась хлебом и молоком, не раздвигала шторы на окнах и валялась на животе на кровате, упиваясь свободой и возможностью свободного чтения. День превращался в ночь и наоборот. Глаза краснели, голова была ясной и свежей, иногда девочка ловила себя на мысли, что она давно не читает, задумавшись и прокручивая про себя прочитанное.

Осенью 1947 г. на улице Кочетова открылась новая школа № 3 — женская. Это было большое трехэтажное здание с широкими лестницами, светлыми окнами. Всех девчонок перевели сюда. Паровое отопление заморозили, поэтому занимались в пальто. Появилась мода выпускать шаровары на сапоги, носить подкладные плечи из ваты.

Директором школы сначала была Клавдия Васильевна Табаева — большая, спокойная, с какой-то необыкновенной чалмой на голове. Затем директорской стала Юлия Павловна Губанова. Математике учила строгая Лидия Саввишна Сердобова. Саяна панически боялась алгебры, вызов к доске снился даже по ночам. Физику зела Валентина Дмитриевна Прокопьева — всегда подтянутая, аккуратная, доброжелательная. Биологом была Мария Ивановна Тешукова — экстравагантная женщина, любившая сцену. Вместе со своими сестрами она создала квартет и выступала на сцене.

Классным руководителем была Любовь Владимировна Дятлова, добрая, мягкая, домашняя. Этим бессовестно пользовались, отпрашивались с уроков, уговаривали не вызывать родителей. Как-то не верилось, что она была на фронте, имела боевые награды. У нее было восемь братьев и сестер: Архип, Андрей, Серафима. Настя, Людмила. И все они работали учителями по разным предметам.

Не повезло урокам химии, учителя часто менялись и были с причудами.

Уроки литературы вела Лариса Михайловна Григоренко — маленькая, рыжая, накрашенная, с белым кукольным лицом. Она любила и знала

свой предмет, могла заплакать над стихами. При ней прошли литературные вечера по Лермонтову и Горькому с театральными костюмами и инсценировками. В классе хорошо писали сочинения и вели конспекты, много занимались в библиотеке, следили за новинками. Увлеченно читали «Белую березу» Бубеннова, «Счастье» Павленко, «Далеко от Москвы» Ажаева и особенно «Алитет уходит в горы» Т. Семушкина. Многие завели записные книжки с любимыми стихами, песнями, афоризмами. В классе висел плакат со словами Н. Хикмета: «Если я не буду гореть, если ты не будешь гореть, если мы не будем гореть, — кто же рассеет тьму?». Аврора Татаринова выпускала рисованную тушью газету с карикатурами и стихами.

У Саяны появились новые подруги — Тамара и Нина, с обеими было по пути из школы до улицы Авиации. Тамара Шевченко — дочь офицера из воинской части была хохлуша с темными жгучими глазами, кудрявой косой и волевым характером. Стала юристом. Она хорошо пела украинские песни.

Нина Шевченко была признанной классной красавицей с длинными косами, мягкими серыми глазами и соболиными бровями и стала врачом. Мальчишки умирали по ней. Жила она в крохотной комнате всей семьей на метеостанции, но в школе всегда выглядела нарядно. Все девчонки носили мужские хромовые сапоги зимой, напуская на них шаровары, платья с подкладными квадратными плечами и с широкими крыльями черных сatinовых фартуков.

Была еще одна любимая подруга, Катя Кириллова, озорная хохотушка. Жила она в землянке на болоте на частной квартире. Девочки поверили друг другу свои тайны, Катя мечтала сшить себе платье-солнце, насмотревшись в кино австрийского балета на льду. Ей трудно давался русский язык и литература, поэтому она с Саяной занималась вместе.

В классе были яркие личности и скромницы. Катя Зубова была уже в восьмом классе озабочена будущим замужеством. Она искала жениха с положением. Ей трудно жилось без матери. Высокая, бледная, с длинными пальцами, которые она постоянно заламывала и хрестела ими. Среди ее мальчиков был и сын председателя горисполкома, и продавец из магазина. Позже она вышла замуж за маленького грузина на голову меньше ее ростом и уехала в теплые края.

Зоя Комарова любила коньки, танцы и мальчиков. Мать у нее работала колбасницей и ходила часто пьяной. В их квартире впервые собрались на вечеринку, было неловко, но интересно.

Простушку Галю долго надували. Поскольку в голове у всех были мальчики, решили ее разыграть. Стали писать ей солдатские письма, выписывая текст из «Госпожи Бовари». Простодушно верила, пришла на свидание с девочкой, переодетой в мужской костюм.

У красавицы в матроске Авроры Татариновой украли дневник, чтобы узнать, в кого она влюблена. Девочка писала стихи, хорошо танцевала и увлекалась борьбой самбо. Удивительно, как все это в ней сочеталось. И стала филологом на Урале. Старосту класса — Таню Байкара с длин-

ными косами все боялись. Она была строга, серьезна и деловита. В их доме было семь братьев и сестер. Таня презирала проделки и никому не давала списывать по математике.

В классе появилась новенькая Нина Садырева — неуклюжая, некрасивая, очень добросовестная и сознательная, она много пережила: утонул в Енисее брат, сгорела в доме сестра, под машину попал младший брат. Жила небогато, все силы Нина вкладывала в учебу, стремясь выйти поскорее в люди. Такими были школьники сороковых годов.

У Саяны вскоре появился дневник.

*

Чечен Ирбижей

КТО ТВОЙ ЛЮБИМЫЙ ДРУГ?

Легенда

Над узким ущельем нависли тени гор. По ущелью тянется чуть приметная тропинка через лес, а по ней торопится молодой плечистый охотник Бай-Кара с ружьём-кремнёвкой за спиной. Впереди него, как дозорный, бежит большая черная собака с белым галстуком на груди. Она челноком шныряет по сторонам тропинки, иногда замирает, держа уши востро, прислушивается к дыханию леса, щебету птиц, как будто спрашивает: «Есть ли звери?» И, принюхавшись, снова устремляется по тропинке.

Вдруг она звонко залаяла, словно позвала своего хозяина: «Скорее ко мне!». Он услышал яростный лай своего дозорного и бросился на зов. На тропинке, в черных, вышитых узорами, кривоносых башмаках, в шёлковом халате-тоне сидел красивый сухощавый крепыш. В его руках была палка, которой он отбивался от наседавшей собаки.

— Эй, Чурек, перестань! Перестань! А-ну-у! — сердито прикрикнул на собаку Бай-Кара, и она сразу перестал лаять, лишь с удивлением смотрела на незнакомца, свесив длинный красный язык, качала головой и махала пушистым хвостом.

— Откуда и куда путь держишь? Как вас зовут и где ваш аал¹? — спросил Бай-Кара незнакомца.

— Плохо мне. Сзади пришел — иду вперед. Шёл не торопясь, споткнулся о камень на тропинке, упал. Вот с ногой что-то случилось, не могу идти: больно. И тут собака..., — он застонал, ощупывая свою больную ногу.

— А ну-ка, покажи, — подошёл Бай-Кара к парню, осторожно снял башмак и ахнул:

— Так и знал: у тебя подвернулась нога. Вывих! Крепись, друг, если ты мужчина. Хоть что буду делать — держись, — тараторил Бай-Кара, ос-

¹ Аал — селение.

торожко ощупывая вывихнутую ногу. Потом со знанием дела быстро надавил на вывих, сильно дёрнул больную ногу и выпрямил её. Парень заорал на всё ущелье:

— Что делаешь, идол?!

Эхо вторило его крику. «И-и-до-о-ол», — звенело по ущелью и в горах.

— Теперь все будет хорошо, — успокоил его Бай-Кара. Он наложил на большую ногу лекарственные травы и туго перевязал её. Затем выстругал незнакомцу палку, чтобы ему было легче идти, опираясь на неё. Башмак с большой ноги взял в руку, помог незнакомцу подняться, и они попытались тронуться. Но оказалось, что идти самостоятельно незнакомец не мог, и тогда Бай-Кара решил:

— Нет, ничего не получится. Мы калеки. Пока не стемнело, давай вернёмся ко мне в аал. Поживёшь, поправишься.

Но незнакомец, услышав это, взорвался, как порох:

— О солнце красное! О мать-отец святилище! Я — на лезвии ножа, я — на конце тонкой верёвки. Хоть ползком, но доберусь до своей цели. В юрту не хочу. Солнце, луна, тайга, горы — мой дом, моя крепость. Я пойду вперёд, — так говорил незнакомец Бай-Каре.

— Да-а, дорогой друг, раз так, то посиди здесь, — Бай-Кара указал на обочину тропинки, где росла ветвистая старая лиственница. И дерево, словно услышав голос, закачало приветливо верхушкой под лёгким ветром, гуляющим в ущелье. — Пусть моя собака останется с тобой, а я скажу к своей юрте, возьму коня и вернусь сюда. Без коня далеко не уйдём.

— Бай-Кара, ты про меня никому не говори. Даже отцу, матери и своей жене. Если проболтаешься про меня — очень плохо будет. Бери коня и сюда. Помни, что мы тебя ждём, — крикнул незнакомец напоследок.

В устье ущелья стоит одинокая юрта. Со стороны восхода солнца тянется высокая, гордая, похожая на склонившегося борца-силача гора. Лицо горы чистое, гладкое, а на вершине, на хребте, таинственно шепчутся с близкими облаками высокие деревья. Они будто говорят: «Мы издалека любуемся одинокой юртой в прогалине». А в сторону захода солнца возвышаются синие-синие, с белыми шапками снегов, скалы. Чрез прогалину протекает голубая таёжная речка. Она напевает свою бесконечную песню-сказку, промывая разноцветные камешки: «Моя одинокая бедная юрта не меняет места ни зимой, ни летом, тебе пою песню о верности своей. Будь всегда прекрасной!» Рядом щиплет траву привязанный веревкой к колышку телёнок. Где-то у подножия отрога слышится мычание коровы. За юртой, в тени тополей, отдыхает от жары светлосерый поджарый конь, лениво отмахиваясь хвостом от мух. Душно.

Из юрты вышла девочка лет пяти-шести. Она осмотрелась и направилась к телёнку. Перевязала его ближе к тени тополей на свежую траву и побежала обратно, напевая себе под нос какую-то песенку, и вдруг споткнулась о камень, упала на луг и застонала от боли. И тут увидела отца, который спешил по тропинке. «Ой, папа!» — вскрикнула девочка от радости, сразу позабыв об ушибленном колене. Метнулась в юрту предупредить мать.

«Наш охотник на птичьем рассвете ушел на охоту с ночёвкой и вдруг ни с того, ни с сего вернулся с пустыми руками, что с ним случилось?» — подумала Чечек-Кара, выводя детей за руку из юрты. Но муж прошёл мимо них к тополям, поймал коня и лишь тогда сказал жене и детям:

— Я очень тороплюсь, даже в юрту зайти нет времени. В горах пробуду несколько дней. Вернусь с добычей. Навьючу светло-серого спереди и сзади шкурами зверей так, что не видно будет нашего коня. А пока будьте здоровы, ждите меня с добычей и молитесь за меня богу!

Охотник умчался на коне в устье ущелья, оставив после себя пыльный вихрь.

III

Незнакомец и собака Чурек сидели под лиственницей, как самые близкие друзья, и ждали Бай-Кару. Когда он подъехал, обрадовались ему. Бай-Кара посадил незнакомца на коня, а сам взялся за поводья и повел их в своё охотничье угодье у горы Олчейлиг. Там он любил бывать в одиночестве и сейчас думал успеть поохотиться и устроиться с ночлегом до захода солнца. Бай-Кара торопился и скоро был у Олчейлига.

Возле небольшого родника, окруженного частым лесочком, стоял укромный шалаш. Рядом, у высокой лиственницы, виднелось кострище. Бай-Кара быстро разжёг сильный огонь, повесил над ним котелок с водой для чая, а сам пошел на вечернюю охоту, прихватив с собой Чурека.

Не успели они отойти на приличное расстояние от костра, как то здесь, то там стали появляться звери. Собака гнала их на охотника. Ствол кремнёвки не успевал охлаждаться.

Бай-Кара, прежде чем нажать на спусковой крючок, шептал: «Это не я, а мой нарядный друг стреляет в вас». После этого раздавался выстрел и зверь падал на бок.

Когда вечерние сумерки начали хозяйничать над тайгой, Бай-Кара вернулся к костру, где его дожидался таинственный незнакомец.

— О, мы с Чуреком принесли небывалую добычу! Прекрасная была охота. Мяса, как смолы на деревьях, варя, не жалей! — весело возвестил Бай-Кара и засмеялся, довольный.

Он всё время ходил на охоту, пока у хромающего друга нога не пошла на поправку. Как только незнакомец стал наступать на неё, Бай-Кара засобирался домой. Мяса и звериного сала скопилась целая гора, и однажды он сказал:

— У меня юрта, семья, дети. Я соскучился по ним. Твоя вывихнутая нога поправляется, и ты можешь ходить самостоятельно. Не взыщи, я оставляю тебе продуктов на три месяца и уйду домой.

Его таинственный друг не возражал:

— Ты прав. Даже птицы и звери тоскуют по своим гнездам и пристанищам. Спасибо, низко кланяюсь тебе за всё. Ты хороший человек. Ты не расспрашивал меня ни о чём, но и сейчас я тебе ничего не скажу. Время за время всё скажет и покажет. Прошу одного: расскажи обо мне своему лучшему и любимому другу. Пятнадцатого числа новолуния

ного месяца приходи сюда с ним. Обязательно приходи, я буду ждать. И тогда за своё спасение я подарю бесценную драгоценность, сокровище. Прошу тебя: приходи с любимым другом.

Бай-Кара навьючил коня и, думая о юрте в ущелье, устремился домой, как птица в своё гнездо. Вечный напарник, большая собака с белой отметиной на сильной груди, опять бежала впереди хозяина.

— Желаю пути-дороги, Бай-Кара, — махал ему на прощание таинственный друг.

IV

Когда сумерки тёплыми невидимыми руками окутали безграницной занавеской устье ущелья, охотник Бай-Кара пришел к своей юрте. Стал снимать с коня свою добычу.

На шум показалась жена и запричитала:

— О, судьба моя! Ну, что ты за человек? Где пропадал? Я думала, что ты ~~встретился с ярым медведем и валяешься где-то раненый, или свалился со скалы в горах и умираешь~~. Что только я не передумала за эти дни! Ну, слава богу, ты живой и невредимый.

— О, я отлично поохотился. А что задержался в горах, была причина. У меня есть к тебе деловой разговор, — оживленно отвечал Бай-Кара жене, ступая за ней в юрту.

Всё время он помнил о странном незнакомце, который не захотел называться и попросил прийти за сокровищем со своим любимым другом. «Кто же мой самый любимый друг?» — прощупывал он свою душу осторожно, как спускающийся со скалы человек. Нет у него ни сестры, ни брата, родители давно ушли за своими предками. Он одинок, а одно яйцо где разобьётся, там и его жизнь пройдёт. Однако всё хорошее и плохое разделяет с ним на этой грешной земле жена, мать его детей, у которой длинная черная коса, большие, как озёра, глаза и стройный, как у оленя, стан. Незнакомец, увидев её, может сказать, что она царевна из сказки: смиrna, вежлива, разговорчива, любящая его *кыс*¹. Кроме нее, у него никого нет. Она и есть его самый любимый друг.

Он попил ароматного чая, съел вареного мяса и рассказал Чечек-Каре про своего таинственного друга. Дети, соскучившиеся по отцу, ползали по его коленям, ласкались, прижимались к груди. Бай-Кара и Чечек-Кара решили, что через половину месяца они поедут к горе Олчелиг, а детей отправят к родителям Чечек-Кары, которые живут за шесть речками, за шестью перевалами в тайге Шом-Шум-Шока.

Через назначенное время они собрались к старикам, и вдруг те сами пожаловали с подарками нежданно-негаданно, как будто перекати-поле само залетело в рот верблюда. Бай-Кара и жена очень обрадовались им. Приготовили богатое угождение, дымилось душистое мясо, текла арака², было весело.

¹ Кыс — молодая женщина.

² Арака — молочный самогон, вино.

На пятнадцатый день Бай-Кара и его жена оставили старииков, пообещав вернуться через несколько дней. Сели на коней и уехали к горе Олчейлиг.

V

У шалаша на горе Олчейлиг их ожидал нарядный таинственный друг. Он радостно встретил Бай-Кару и его жену, помог ей слезть с коня.

— Вы вовремя приехали: я через три дня собирался уходить, — улыбался он, как будто хвастался белизной своих зубов.

— Как и договорились, я привёл своего друга — жену Чечек-Кару, — Бай-Кара подошел к костру.

Незнамоц осмотрел Чечек-Кару с ног до головы и подумал: «Да она писаная красавица, когда она смеётся, солнце меркнет, у неё лебединая грация». Она была прекрасна, как мечта, и очень понравилась ему. Чечек-Кара искоса взглянула на друга мужа и отметила: «Он высок, строен, нарядный, лицо открытое. На его шапке шарик. Такие головные уборы носят знатные люди, значит, он из богатой семьи какого-нибудь важного чиновника».

Солнце клонилось к закату. По привычке Бай-Кара собрался и ушёл с собакой на охоту, оставив возле костра Чечек-Кару и нарядного друга, не подумав, что когда молодая женщина и молодой мужчина остаются наедине, у них пробуждается интерес друг к другу.

VI

В первый вечер они присматривались. Нарядный друг не робел перед молодой женщиной, был любезен, говорили об аале, о детях, словом, обо всём на свете. Однако таинственный незнамоц так и не назвал своего имени, не сказал, откуда он родом. Чечек-Кара не хотела беспокоить его вопросами, лишь подолгу внимательно вглядывалась в его глаза.

Когда они остались вдвоём во второй раз, а Бай-Кара рано утром отправился на охоту, сказав, что вернётся ночью, странный незнамоц стал откровенно заигрывать с Чечек-Карой.

— Ты писаная красавица, как ты можешь жить с нищим, моя царевна? Он, кроме зверей, ничем не интересуется. А если бы ты жила со мной, то купалась бы в золоте и серебре, одевалась в шелка, как весенняя почка в сальную оболочку, как пуля в футляр. Я — единственный сын самого богатого и знатного бая на юге. Как только увидел тебя, то все во мне вспыхнуло от любви, и я не могу себя сдерживать. Молю об одном: идём завтра к моим родителям. Я ещё вчера хотел открыться, но боялся поставить тебя в неудобное положение. Ты согласна? Верь мне и соглашайся, — убеждал он.

Чечек-Кара верила тому, что красивый молодой человек говорил правду. «Он любит меня и нравится мне. Это главное. А охотник? Шут с ним! Брошу», — мелькнуло в ее голове. Недолго думая, она обвила руками шею незнамоца и прильнула к нему.

Возле костра стояла высокая толстая лиственница. Она будто понимала их опасный разговор и тихонько покачивала верхушкой, вздыхала глубоко, отчего ствол ее гудел: «Дырс-дырс».

Потом Чечек-Кара допила чай, поставила чашку у костра, поправила свое неказистое серое платье и кокетливо взглянула на него:

— А ты не шутишь?

— Нет! — ответил он.

Она поднялась с земли и медленно пошла к ближайшей лощине. И он, проследив за ней взглядом, направился за ней.

Она размышляла про себя: «Такой красавец и богач влюбился в меня. Я не должна его терять. Живем один раз на свете, и я в расцвете лет буду купаться в золоте и серебре, одеваться в шелка. Это моё счастье! Что я видела у охотника? Летом он одевается в облезлую шкуру, выдубленную моими руками, зимой — в шубу, тоже сшитую мной. Кроме этой одежды у него ничего нет. Сейчас мои дети с моими родителями и им ничего не грозит. Можно уйти вместе с ним, — решила она и сказала об этом. Он обрадовался, стал целовать её.

Целый день влюблённые ласкались в лощине, и никто им не мешал. Лишь один вопрос оставался для них нерешенным: что делать с охотником? Ведь незаметно оставить его очень трудно: он опытный, ловкий охотник, сразу найдёт их следы и догонит. Выход один — убить его. В горах охотника никто не станет искать, да и мстить за него некому. Убить охотника должна Чечек-Кара. Этим она докажет, что любит неизвестного и готова для него на все. Как только ночью Бай-Кара вернётся с охоты, она какой-нибудь женской хитростью отправит его к предкам.

Если бы она знала, что творилось в душе молодого человека...

VII

Вечером охотник принёс большую добычу. Все трое устроились у костра и стали ужинать. Вдруг Чечек-Кара вскочила и торопливо пошла к ближайшей роще. Бай-Кара и его друг остались на месте. Собака дремала у теплого костра.

Послышался шорох. Собака вскочила, загривок встал дыбом, она зарычала, приготовилась к прыжку. Смотрела куда-то за Бай-Кару и его друга.

— Хайт, Чурек! Нельзя! — прикрикнул охотник на собаку и оглянулся назад. Там, с горящими каким-то безумным светом глазами, стояла его жена Чечек-Кара.

— Что с тобой? Собака хотела прыгнуть на тебя? — изумлённо спросил Бай-Кара и показал рукой на собаку.

— Что за вздор? Она напугала меня. Что она, глаза и уши закрыла мешком, окаянная?! — дрогнувшим голосом сказала Чечек-Кара и тайком от мужа спрятала нож в рукав халата.

В эту ночь никто не спал, потому что завтра они разъезжались по

своим юртам. На востоке уже алело зарево, а они все сидели у костра за разговорами.

Собака вела себя очень странно. Как только Чечек-Кара вставала, она принималась предупреждающе рычать. Бай-Кара не вытерпел:

— Совсем взбесилась собака! — сказал он и привязал её к лиственнице верёвкой.

Светало. Вот-вот должно выглянуть солнце. На чистом небе стали собираться чёрные тучи, словно грустя о предстоящей разлуке друзей и готовясь пролить слезы. В тишине звонко защелкали по траве первые тяжёлые капли.

— Я немного подремлю в шалаше. Как только утренний дождь пройдёт, мы проводим нашего друга. Что-то я притомился, сил нет. Когда дождь кончится, разбудите меня, — велел Бай-Кара и полез в шалаш.

— Я пойду прогуляюсь во-он до того бора. Разомну перед дорогой ноги, — решил его друг и скрылся за шалашом.

У костра осталась сидеть Чечек-Кара. Она думала про себя: «Подожди, подожди! Сейчас вместе поедем. Раз я взялась убить его, — я сделаю это. В противном случае он догонит нас. Другого выхода нет. Как только Бай-Кара уснет в шалаше, я сразу отправлю его на тот свет». Некоторое время она ждала, прислушивалась, а потом, пряча нож в рукаве, бесшумно вошла в шалаш.

Чёрная собака на привязи бешено рвалась, рычала, словно плакала от бессилия помочь хозяину.

Охотник лежал на боку у входа в шалаш, не чувствуя никакой опасности, и безмятежно спал. «Сейчас», — прошептала она дрожащими губами и быстро вытащила большой охотничий нож из рукава платья. Размахнулась и изо всей силы ударила...

— Ой, встань! Нож! Нож! — послышался чей-то крик, и с одной стороны шалаша затрещало: Бай-Кара проснулся от этого шума и закричал:

— Где? Где?

Он увидел, что его нарядный друг держал за руку его жену, в руках которой был его собственный нож.

Чечек-Кара выронила нож и зло сказала:

— Пусти меня, дьявол!

Она оттолкнула незнакомца от себя и со слезами выбежала из шалаша. Собака всё так же лаяла.

— Эх, ты, засоня! Чуть жизнью своей не поплатился. На, бери свой нож! — он поднял его с земли и подал Бай-Каре.

— Охотник должен носить нож с собой. И что ты за человек? Я же тебе говорил, чтобы ты приходил сюда с самым любимым и преданным другом. А ты? Эх, ты, разина! Ладно... Я тебе обещал дать бесценную драгоценность — сокровище? Я тебе дарю это — твою жизнь. Я сберег её. Здесь твой самый преданный и любящий друг — твоя собака. Береги её. Слышишь, как она плачет? Скулит и лает? Она чувствует, что с тобой что-то случилось. Ну что ж, прощай, милый друг! Спасибо тебе за помощь. Всегда буду помнить тебя. Прощай! Эх, ты, Бай-Кара!.. — взволн

нованно проговорил он и покинул шалаш. Затем вытащил из-за пазухи горсть сверкающих драгоценных камней и произнёс:

— Пусть в этих горах будет много золота и серебра. Он швырнул драгоценные камни в сторону восхода солнца. Сверкнула молния, и одновременно с ней исчез, словно испарился, как туман, таинственный неизвестный.

Бай-Кара вышел из шалаша, осмотрелся кругом. На юге, в далёкой синеве над вершинами высоких гор, виднелся всадник на белом коне. В воздухе послышалось:

«Ку-уг! аа-уу!» А потом всадник исчез в лучах солнца.

Собака на привязи рвала из последних сил в сторону, откуда доносился крик всадника.

За шалашом стояла Чечек-Кара и кричала, плакала, простирая руки к небу.

Перевод Анатолия Овчинникова.



Сергей Баир

СМЕРТЬ ЧАБАНКИ

(Новелла)

— Тьфу, проклятие! Когда же разгорится этот кизяк? В юрте уже довольно прохладно, — проговорила самой себе Нанзальмаа, усиленно дуя из всей силы в приоткрытую железную печь-буржуйку. И как только заиграл от свет пламени на ее простом, красивом и никогда не знавшем пудры лице, она опять же вскрикнула:

— Ой, халак! (О, боже)! Водовоз опять не приехал. Наверное, запил, загулял водитель. Вот и муж ее Окан-оол не может выбраться из поселка. Захватив ведра, Нанзальмаа быстро набрала чистого снега из глубоких сугробов. Над зимовьем уже наступила кромешная тьма. Скалистые горы стали огромными, даже страшными в своих чудливых очертаниях. Нанзальмаа внимательно посмотрела в темноту. Никакого огня, никакого звука со стороны совхозной усадьбы. И собака, как назло, затерялась у соседних чабанов.

— А что делать, если воры — скотокрады подойдут? — с ужасом подумала одинокая чабанка. — Про них столько говорят и пишут. Со своим транспортом и оружием начали грабить. Нанзальмаа вспомнила наставления мужа, когда, зарядив двустволку, он сказал:

— Главное, не подпускай к юрте. Стреляй поверх головы, как бы предупреждая. Воры, они тоже люди, трусливые, сразу побегут. Стрелять из ружья, водить мотоцикл Нанзальмаа научилась еще в школе. Старики только головою качали, когда она на бешеной скорости проносилась мимо них вдоль поселка. Горячий чай с молоком приятно обжигал по-

трескавшиеся губы чабанки, и клонило ко сну. Какое-то нехорошее, до озоба неприятное чувство возникало каждый раз, когда муж изредка выезжал в деревню. Она запомнила, как нахальная, разбитная продавщица Сержинмаа так и сверлила его напомаженными глазами. Почти все девушки села перешли на длинные юбки или платья, а Сержинмаа все еще хорохорилась в своей мини-юбке. Потом... Нанзалме вспомнилось ее первое свидание с будущим мужем. Такое свидание разве можно забыть? И слова его тихие, и блеск его глаз до сих пор бередят душу. И мягкий степной ветерок, и просмотренный только что фильм о любви, и звуки старинного вальса — все это было. После долгого поцелуя он хрипло спросил:

- Хочешь, я подниму тебя на самую вершину Хайыракана?
- Хочу! — ответила она и рассмеялась.
- И сплету тебе венок из звезд Чеди-Хаана! (Полярной звезды).
- Ух, ты, прямо как настоящий поэт!
- И серьги из них для тебя сделаю!
- Хочу! Хочу!..

Он тихонько запел известную песню на слова Сергея Пюрбю.

— Ты моя Королева Синих Гор, Красавица моя степная? Я хотел бы.... хотел бы ласкать тебя самыми благородными словами, неизвестными словами...

Привыкшей к самым грубым выходкам своих сверстников-парней, насмотревшейся всяких видиков, юной девушке это было неожиданно и необычно.

— Ух, ты! — воскликнула Нанзалмаа. — Ни от кого я не слышала таких слов. И я не такая уж красавая.

Как давно не слышала она таких вот теплых, нежных слов после замужества! Видимо, есть вот такие минуты, когда мужчина говорит женщине свое сокровенное, а затем забывает. А женщина всегда помнит. Но теперь и времена другие. Люди стали грубыми, неприветливыми. Одни только хныканья на эту проклятую жизнь. Вот тут-то Нанзалмаа выронила чашку и мгновенно прислушалась. За кошарой послышались шаги, и вроде кто-то чихнул. Вот они, воры, подкрадываются, чтобы закрыть двери юрты снаружи. Чтобы никто не выходил из юрты, а затем угнать несколько десятков овец. Уже обокрали соседних чабанов. Наглости и безжалостности скотокрадов нет предела. Воруют даже у близких родственников и соседей. Стремительно выбежав из юрты, Нанзалмаа наугад, не прицеливаясь, выстрелила в сторону шума, в темноту. Кто-то ужасно закричал у кошары и закружился на месте. Что-то знакомое было в этом крике. Сердце у Нанзалмы сжалось, руки мгновенно похолодели.

— Окан-оол! Милый мой? — вскрикнула она, медленно падая, и облокотившись на дуло ружья, нажала второй курок. Израненный, весь в крови Окан-оол подполз к жене и уронил голову на бездыханное, безжизненное тело самого любимого и близкого человека на земле.



Валентин Тока

ЮБИЛЕЙ

У истоков этого юбилея я был в Москве, на кухне, в зал приемов меня не пустили, так как мне наутро исполнилось пятнадцать. Из следующих юбилеев помню не все.

Пять лет Советской Туве. Ясные золотые дни, но холодно. Перед праздником через стадион прошли школьники города. Это не была репетиция. Ребятишки собирали камни. В парке снова играл духовой оркестр, хотя танцплощадка официально была закрыта первого сентября. Нет более душевной, для широких музыкально необразованных масс, музыки, чем духовой оркестр. Спасибо туркам за изобретение. Мелодии в холодеющем вечере брали за душу. Ну, посудите сами, какие слова льются, хоть никто и не поет их:

Милый мой, запомни эти фразы:
Чувствами не будем торговаться.
Если тебе нравится другая,
Чувства я могу свои унять.

Здорово, аж слезу вышибает. Но это так, как говорится, на третье блюдо, вроде компота. Главное — торжественное собрание в Муздрамтеатре. Не попасть на него считалось большим несчастьем, фотовыставка, оркестр, буфет, а в нем даже пиво из Минусинска. Особенно-то за ним не лезли, так как торжественная часть длилась часа три, доклад часа на два, приветствие пионеров, воинов, зачитывание многочисленных телеграмм и адресов, а самое главное — награждения. У кого-то радостно вспыхивали глаза, а кто-то подавленно их опускал: в списках награжденных его фамилии не оказалось... Концерт готовился чуть ли не за полгода. Гвоздем праздничной программы на всех юбileях, сколько я знаю, были хуреш и скачки. Борцы были одеты точно в точь, как на пачках папирос «Борцы», позже, к 20-летию, их переназвали в «Хуреш». На пятилетие большой помпы не было, а вот каждый последующий праздновался все пышнее и пышнее. Стали приглашать московских артистов, цирк. Начали приезжать большие делегации. С каждым разом показать гостям можно было все больше и больше. Выставки изделий, продукции Тувы становились все насыщеннее. Появились и асбест, и кобальт, а

уж выставку полезных ископаемых с удовольствием показал бы любой музей мира. В Туве есть вся таблица Менделеева и еще кое-что, что профессору и не снилось. В магазинах, которые в те времена могли соперничать с московскими, появлялись и фрукты, и всякая всячина. Одна беда. Водки не было, только спирт, шампанское и коньяк. Ну, спирт ясно: зачем возить воду, шампанское для форса или чтобы спирт разводить. Так сказать, производить северное сияние, коктейль. Рынок краснел тушами баранов и блестел серебром рыбы. Вечная лужа по центру присыпалась, но болото снова выталкивало воду. Торговля шла рано утром, и к завтраку жители уже жарили и парили свеженину.

Незаметно подошло двадцатилетие, и его торжество проводилось на стадионе в парке. К празднику "Тувинремстрой" выстроил трибуны. Народу было битком — ни одного свободного места. Только щелк тысяч орехов и шелест шелухи. Народ наш как чувствовал — Хрущева через три дня уволили «по собственному желанию». Помните, в «Веселых ребятах»: «Кочуют минуты среди забот и дел». Не спеша, но и не отставая, часы настукали тридцатилетие. И вот уже мясокомбинат выставил колбасы, ханы и копчености. Выстроились в ряд газировки, пиво и водка пивзавода, а директор выставки ежедневно требовал замены экспонатов. На мясокомбинат сильно не нажимал, а с пивзаводом был строг: продукция должна экспонироваться свежей. В ту осень было холодно. Духового оркестра в парке не было, и только репродукторы извергали бодрые марши и песни о том, что... "Ленин такой молодой и юный октябрь впереди..."

Еще не грянула перестройка, еще виделись светлые дали. БАМ стремился с запада на восток и с востока на запад. Асбест Тувы шел потоком по трассе Ак-Довурак — Абаза. Чугунные чаны с хову-аксынским кобальтом ехали в пункт N на переработку. У нас появилась солидная группа докторов разных наук и кучи кандидатов. А времени прошло с создания письменности всего ничего, даже не полная человеческая жизнь, а республике Тува — 40. С лета строился павильон под кодовым названием «Станция юных техников», и даргалары стали ходить на штабы по подготовке к юбилею. Кое-кто имел «точные» данные, сколько будет орденов и медалей на Туве: многие готовили дырки на пиджаках под награды и карманы под премии. Город, республика подросли значительно. И если бы кто-либо догадался показать не только светлое настоящее и будущее, а побольше прошлого — все было бы нагляднее, от чего и куда мы пришли. Всерьез шли разговоры о железной дороге, о трубопроводе. Вовсю горели окна Шагонара, а дороги асфальтом подошли к Хандагайтам и Тээли. В каждом райцентре появились типовые гостиницы. Что касается флотов, то и речной, и воздушный трудились в поте лица и добирались до всех закоулков республики. Торжества прошли бодро и уверенно.

«Тик-тик» - часы вечности считают и считают. Колесо вечности вращается, не оглядываясь на перестройку и Беловежье, на осколки Союза, на войны уже на территории России. Уже парни из Эрзина и Кызыла сложили головы на войне, уже кончается не только век, но и тысячеле-

тие, а мы встречаем пятьдесят пять. Трудное время, тяжело народу, но здоровый дух народа и его талант — залог того, что будущее не будет мрачным. Ведь выбирается народ рано или поздно. Шарик-то крутится.

Время, время... Новые ритмы жизни, новые ценности, и нам, кто отмечал пятилетний юбилей, все еще слышится духовой оркестр на танцплощадке, и мы видим восьмилетнего всадника-победителя впереди кавалькады. Он и проскачет по XXI веку.

“Ярманка”

Ровка Хибибулин и Гена Дубинин сидели на отполированном за много лет дождями и солнцем бревне. Ждали Темира Шагдыра — Тимку. Возле киоска Шанхоеva, у коновязи, топтался десяток коней под седлами, а там и сям неловко прыгали стреноженные лошади.

— Со вчера, наверное, привязаны, — кивнул головой в сторону коней Ровка. — Видишь, начали коновязь грызть. Хорошо, выносливые. Русские уже бы сдохли. У отца битюги, так он их кормит, что в пионерлагере — строго по часам.

— Да, — отозвался Дубинин. — В пионерлагере хорошо. Всякие там походы, кружок Ворошиловского стрелка. В первом сезоне мы в пещеру ходили. Лезли, лезли в гору, а там пусто. Даже ни одной кости, не говоря о черепах, нет. Припрятаны, наверное. По Туве знаешь сколько пещер? Проверить все, так и оружия, и золота полно.

— Конечно, раз воевали, то должно быть много напрятано и белыми, и красными. Спрячет кто-нибудь, а его убьют. Вот и лежит где-то.

На пожарной каланче отбили девять. На Ленинской улице появились подводы с товарами и поплыли в сторону Тонмас-Суга. Шары «перекати-поля» округлились и приготовились к снятию с места. Деревья в зелени, но уже с матовым налетом кое-где; как луна в облаках, выглядела первая желтизна — август.

— Где же потерялся Тимка, — недоумевал Дубинин. — Такой аккуратный, даже по вечерам в лагере мыл шею. Все ржали. Да, вон бежит.

— Ребятня, — не здороваясь, восторженно закричал Тимка, — вчера папа принес книгу. Там про Туву написано! Называется «День мира», про все страны, что случилось в один день. Читал до полночи, пока электростанция работала. В других городах все время свет, а у нас до полночи, как в отсталых. И написано про нас всего полстраницы, но зато картинка Кызыла есть — Ленинская с каланчой! А людей у нас в городе целях пять тысяч. Ну, там еще про овец, золото. Потом принесу, все по буквовке разложим, а может, перепишем. У кого сколько денег? У меня — акша.

У Генки оказалось тридцать копеек, у Ровки аж два акша. Денег — почти на барана.

— Ну, паря, айда на ярманку. Путь-то не близок.

— Не ярманка, а ярмарка, — поправил Генку Темир. — И вообще, у тебя отец — красный командир, а ты, как деревенщина: «еслиф», «опеть».

Потом маршировали: «Если есть патроны лишние, ты товарищу отдашь, но винтовку-трехлинейку никому не отдавай. Гранием «Ура!», лихие коммунары, за юную республику, за новые права!»

У зимнего кинотеатра потоптались около афиши: звуковое кино «Друзья встречаются вновь».

— Это про басмачей, — прокомментировал Тимка. — У нас то же, что в Средней Азии, барханы, да караганник. Вон две колеи, видать, легко-вушка буксовала. Шагать еще далеко. Сегодня автобус будет ходить. Из Союза послали. Билет — пять копеек. Это же целый ковш орехов, а туда и обратно — связка сущеного мяса! Песни петь дальше будем?

— Хватит, пыль глотку забивает. Вот бы отец на своей площадке — телеге на Тоннис-Суг поехал. Подвез бы. Однако навряд ли. Вчера до-поздна возил товары по магазинам. На ярмарку почему-то не ездил.

Вот уже прошли березняк вокруг озера с чистейшей водой. Пошли вдоль речушки, текущей из озера. Когда зашли в топольник, в городе прозвонили десять. Как раз к открытию успели. На поросшей полынью и акацией центральной поляне — киоски, прилавки. Кызылский базар переселился на ярмарку, что будет проходить неделю. На плато вся Тува, юрты, юрты. Скот и лошади. Бродят, презрительно глядя на окружающих, верблюды. Некоторые с телегами, а большинство, как в пустыне, без всего. Ребятишки сделали несколько кругов по поляне. Купили по пиале тары: с удовольствием хрюстели. Попили кумыса и кваса с изюмом. Под навесом стояла на чурках грузовушка «ГАЗ-АА», можно было посидеть в ней, покрутить руль. Шофер включал мотор и давил на газ, колеса крутились. Это была потрясающая выдумка Советутранса. Рядом, размером с избу, стоял макет автобуса, внутри него был муляж Усинского тракта, от Кызыла до Минусинска, с маленьками паромами через Енисей и Ус, с мостиками, спичечными деревьями тайги.

Тысячи людей заполнили лес и поляну Тоннис-Суга, пыль поднялась до вершин деревьев. Хоть бы ветерок, но тихо, жарко, Енисей уже не манит купаться. Он стал чище, прозрачней, легкие облака отражались в зеркале воды, сквозь которую видны камни дна: зеленые, черные, коричневые. Заметны стайки рыбешек, там и там — ленивый всплеск большой рыбы, то ли ленка, то ли тайменя. Посидев у воды, покурив (Генка спер у отца две папиросы «Борцы»), прокашлявшись и решив, что курение не лучше, чем кумыс, отправились на главное действие ярмарки — борьбу.

На крутом склоне, прямо на земле, сидели тысячи людей, а внизу разворачивалась битва богатырей. Главный приз — скакун, и хотя у каждого борца, наверное, был не один конь, титул льва и слава на всю Туву были дороже. Больше всего ребятам нравились секунданты борцов. В ярких халатах, островерхих шапках они исполняли каждый свой замысловатый танец, азартно поддерживали своего, обращаясь к зрителям, расхваливали богатыря.

Солнце подкатилось к Бoomу, потянуло прохладой с Бий-Хема, именно с Бий-Хема, так как в ветерке чуть-чуть горчила угольная гарь с все еще дымящейся шахты на Виланах. Пора домой. На плато задымили костры,

и в чанах забулькало мясо только что зарезанных баранов. Отыграв последний раз «Ден-Ден», погрузился в грузовичок и уехал оркестр кавалерии. Пареньки, перепробовав все вкусное в лавках и на базаре, пошли домой. А вечер уже надвигался, и было слышно, как стадо коров, позывая боталами и призываю мяча, возвращается в город. Чистое над горами небо сильно порозовело: завтра будет хороший день. Впереди еще шесть дней праздника.

— Завтра у военного городка — джигитовка, — сказал всезнающий Генка. — Сам Шома будет двумя шашками рубить лозу, а послезавтра — скачки. Пацаны в основном будут скакать — лошадям легче. В прошлом году девятилетка победил.

— Футбол еще будет, — добавил Ровка, — говорят, он сердце расширяет, а все равно все бегают и пинают.

— Вчера мой папа ходил на собрание, там речи говорили и папе грамоту дали.

У коновязи все еще стояли привязанные лошади. Возле них прохаживался милиционер в белой гимнастерке, весь в ремнях.

— Ну что? По домам? Стойте, ну-ка подышим друг на друга, не пахнет ли табаком? — предложил Ровка.

На пожарке отбило десять. Первый день «ярманки» кончился, но праздник продолжался.

Плещут холодные волны

Виктор Макеевич открыл зеркальную дверцу шифоньера и долго смотрел на парадный костюм. Надевал он его два раза в год: на девятое Мая и день флота. Куплен он был сорок пять лет назад, когда пели: «...русский с китайцем — братья навек». Висит как новенький с двумя орденами и двумя десятками медалей. Так и не вспомнив, зачем открывал шифоньер, снова сел у работающего телевизора. По экрану бежали фамилии и звания членов экипажа подлодки «Курск». Виктор Макеевич, потирая пятидневную щетину, смотрел этот список в который раз, но снова вчитывался в фамилии, шевеля губами под седыми прокуренными усами. «Все верно, — размышлял он, — на флоте всегда «Союз нерушимый»: и русские, и украинцы, и татары, вот и немец есть, и даже хакас. Подлодка — не катер или эсминец. Офицеров сколько, мичманов, а рядовых чуть-чуть. Механизмы сложные, салагу не поставишь. Подводники всегда были учеными, аристократами флота, даже в войну, как только отойдут от берега — питание без нормы, сухое вино, шоколад. Даже летчики питались хуже. Зато и гибли, как говорится, не скажет ни камень, ни крест, где легли». Макеевич снова открыл шкаф и снова не вспомнил, зачем. Память стала ни к черту. Какая-то ненормальная. Хорошо помнится запах дегтя, волосяного мячика, который скатали ему года в четыре, жужжание шмеля вокруг ярко-желтого подсолнуха. С таким же, но быстро нарастающим жужжанием шли из-за горизонта «Юнкерсы». Потом звуки моторов и взрывы бомб, торпед слились в непередаваемый

гром. Корабли огрызались пушками, зенитными пулеметами, красноармейцы стреляли из винтовок. Это Краснознаменный Балтийский флот уходил из Таллина в Кронштадт. Всплески взрывов лесом стояли, взрывались и тонули корабли и гражданские суда. Моряков вытаскивали из воды, чтобы вновь со спасателями очутиться в море.

Макеевич дважды побывал в теплых водах Балтики. Баренцево-то не Балтика, плюс-то плюс, но всего четыре. М-да... Люблю я море... С берега. Это хохма такая. Море оно что? Оно — все. И ласка, и зверь, как эта самая жизнь, всякая. Можно непрерывно смотреть на море, оно всегда разное и, хотя столько их погубило, — тянет. Это, наверное, потому что все живое вышло из моря. Годок Славка говорил, что Энгельса в море бросили, мертвого, конечно. Может, наврал? Мысль бежит и уже не упомнишь, о чем думал минуту назад. Где-то Виктор Макеевич прочитал в умном журнале, что мысль нельзя придумать, она сама всплывает откуда-то. Направить ее, куда нужно, можно и должно. Вот у телевизионного начальства ныне мысли всплывают не те. Долларовые мысли или бардачные. В «Армейском магазине», в военной передаче, идиотские шуточки, самодовольные лица ведущих. Их соотечественники задыхались в кромешной тьме и холода, а они... в метацентрическую высоту их! Бабенки по другим каналам дрыгаются непотребные. Саша с Лолитой с лоснящимися физиями кривляются. Может, мы, ветераны, ничего не понимаем? Может быть, так и надо. Сказал же ведущий одной из кызылских передач, что вон как надо: «Титаник» тонет, а оркестр играет.

Вон опять по телику списки команды показывают. Макеевич задумался: всех ли он помнит — утонувших и погибших. Оказалось, что помнит, а вот тех, кто остался жив, почти всех забыл. Недавно разбирал фотографии, так на карточке сорок шестого года — тридцать с чем-то моряков. Все в тельняшках, улыбаются. Всматривался, гадал: кто это? А это? Карточка мутная. Одного вроде признал, а потом понял, что это он сам и есть. Память, память — интересная вещь. Так что же хотел сделать Макеевич? Потом вспомню, — решил он.

Памятник — это от слова память. У Виктора Макеевича любимый писатель — Валя Пикуль. Вон все его книги на самом видном месте. Частенько снимает первую попавшуюся книгу, открывает наугад и с наслаждением читает, хотя знает романы чуть ли не наизусть. От страниц веет любовью к жизни, к родине, флоту. Макеевичу кажется, что и пахнут пикулевские романы по-другому, чем остальные книжки. Он снял и, погладив любовно переплет, поставил книгу на место. А, вот что, — вспомнил Виктор Макеевич. К Екатерине Великой пришли вельможи, чтобы она разрешила поставить ей памятник. Царица сказала: «При жизни какой памятник? Памятник тогда, когда умрет последний, кто знал меня. Иначе друзья будут превозносить, а враги оплевывать. История, вот кто честнее оценит». Эта обрусовшая немка имела в виду государственных деятелей. Героям же ставила памятники, не задумываясь о сроках. У нас с этим дело плохово. Морякам линкора «Новороссийск» вообще ничего не хотели ставить. В перевернувшемся корабле сотни моряков пели

«Варяга», под конец пел кто-то один. Да, а памятник Маринеску поставили с боем, не хотели мариманы штабные, которым до Маринески, как до Луны, его ставить. Ведь они по сравнению с ним щелкоперышки. Виктор Макеевич резко поднялся, вспомнив, зачем открывал шифоньер. Не глядя в зеркало, побрился залингеровской опасной бритвой, растер покрасневшее лицо одеколоном, надел парадный костюм и снова сел у телевизора. Он вспомнил, что когда команды «Варяга» и «Корейца» шли по Петербургу, то в полной парадной форме их встречал гарнизон, шли моряки по цветам.

Виктор Макеевич подумал: «Я же флотский, — вроде с вами, ребята». Выпрямил спину, регалии звякнули: опять наступил последний парад.

*

**Василий
Монгуш**



ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ МИНИАТЮРЫ

1. Сокровенная мечта

— Эх, стать бы мне богатым! Как жаль, что я не богач! Хотя я всю жизнь мечтал стать богатым... Нет, не думайте, что это я говорю в шутку, я и вправду от всей души имею сокровенную мечту — жить в достатке. Эх, если бы вдруг я стал богатым, то имел бы очень, ну очень, ну несметно очень много скота, всякого-всякого добра, да целую кучу, нет, гору денег! Да, если бы был богатым, то что бы я творил в нынешние времена — во времена демократии и рынка!

Что ни говори, я очень завидую тем, кто имеет огромное состояние. А как они живут?! Ну, прелесть, да и только, шик! Скажу вам по секрету. Говорят, что в моем роду, где-то два поколения тому назад, были очень богатые предки. Из этого следует, если принять во внимание фактор наследственности по Дарвину, то во мне имеются и живут, действуют их гены. Если мне хорошенько заработать своей башкой и споровисто подрыгать своими ногами и руками, то в скором будущем, возможно, моя сокровенная мечта и сбудется. Вот, жалко, что возраст уже не тот. Но ничего, меня теперь мучает только один вопрос: «Сколько богатства достанется после меня моим детям?». Для меня чем больше, тем лучше. Чтобы это сбылось, я каждый день молюсь господу Богу. Власти мне не помогли, так, может, Бог мне поможет...

«Была бы степь, как Саглы ровная, сбылась бы мечта любая», — поговаривают у нас в народе. Жизнь — это не степь ровная, ясное дело. Эх, жаль, что я не стал, как в сказках, богатым! Смилостивись надо мной, судьба, и сделай меня вдруг очень богатым! Вот и хочу начать каждое

утро молиться богу, всем девяти апостолам и семи звездам-хранителям моей жизни. Большой Медведице. Да, бедное наше государство, не может исполнить мои добрые мечты! Кто его знает, вдруг Бог даст мне милость, и сбудутся все мои мечты...

Эх, если бы я стал богатым! Как было бы хорошо! Богатому хоть куда! Чего захочешь — все приобретешь. Я, например, сначала найду самый огромный дворец, какой у нас есть в Туве. И куплю этот дворец, ведь у меня столько денег, что куры не клюют. Затем я буду восседать на самом богатом троне, как великий хан в этой огромной орде, буду отдохнуть, есть и пить до отвала, кушать жирный курдюк осеннего барашка и пить араку из кислого молока. Как это приятно и сладко! И буду я делать все, что взбредет в мою голову. Вот это жизни! Но все же у меня есть более сокровенная мечта, но это почти секрет. И открою его только вам... Потому что это, пока что, является государственной тайной.

Значит так, моя тайная мечта! Если бы вдруг я стал богатым, товарищи, то я бы, не жалея денег, купил целый гарем красивых, ласковых, горячих девушек, которые будут удовлетворять мои желания, баюкать меня, как ребенка, мыть, массажировать, кормить, развлекать... О, это так приятно, товарищи? Но вершиной кайфа я считаю те моменты, когда перед моим сном мои красивые жены будут своими нежными, мягкими, теплыми ладонями любовно гладить мои дряхлеющие пятки. Да, пятки! И они будут гладить до тех пор, пока я не засну. Вот только тогда я буду смотреть самые приятные, счастливые сны.

Эх, стать бы мне богатым! Всех редких красавиц Тувы купил бы одним махом, и они мне гладили бы мои пятки. Да, пятки! От этого я был бы бесконечно счастлив. А они в экстазе целовали бы все мои пальцы на ногах. Эх, где вы, мои деньги! Где вы, мои красавицы? Где вы? Эх, ом мани падме хум!...

1996 г.

2. Не сбылось

В нашем селе шел самый разгар избирательной кампании. Выбирали главу местной администрации. Человек десять бегали повсюду и днем, и ночью, и сумели-таки зарегистрировать своего кандидата на мягкое кресло председателя. Кандидатов выдвигали по-разному: одного — группа родственников, или как сейчас говорят, родоплеменная группа, другого — друзья и товарищи, третьего — какая-то организация. В наше время все видят, все знают, что в каждой организации, на предприятии работают люди одного родственного клана. Наверно, с таким подбором кадров разрешается работать во времена демократии, это же разрешается нынче и законом, да?

Вы знаете, что случилось потом? Вдруг на наше село нагрянуло стихийное бедствие. Выпал доселе невиданной глубины снег, ударил сильнейший за последние двадцать лет мороз. Для сельского хозяйства — это самое губительное происшествие. Кому охота руководить хозяйством?

ством, которое заранее обречено на банкротство? И тут все кандидаты в председатели разом сняли свои кандидатуры. Видимо, все испугались последствий: ответственности и позора. Выборы не состоялись...

1994 г.

3. Козел

Когда я демобилизовался из армии и приехал домой, один мой близкий родственник, ветеран правоохранительных органов, сагитировал меня поступить на службу в милицию. Так я стал «гаишником». Что ни говори, служба как служба, но с выгодой: зарплата хорошая, льгот полно, отпуск длинный, одежда бесплатная... И вот я в красивой милицейской форме показался на автодороге: с грозным жезлом в руке, с пистолетом на боку и крикливой рацией на шее. Увидев меня, мои друзья и родственники, кто имеет автомашину, обрадовались: «Как хорошо, что у нас теперь свой «козел» в ГАИ. В случае чего, поможет, выручит!» А я им отвечаю в шутку: «А ну держись, братва! Раз мне дали «рога», то я обязан бодаться!».

А то, что милиционеров в народе называют «козлами», я не принимал тогда близко к сердцу. Раз им нравится, пусть называют, не жалко... Но потом, постепенно, с годами, эта кличка стала царапать мне нервы. Ведь кому не лень, все норовят обозвать меня «козлом». Даже жена, иногда поссорившись, обзывает меня «козлом». Не дай бог, если дети когда-нибудь начнут меня дразнить этим поганым словом.

И вот теперь, услышав слово «козел», я начинаю дергаться, словно меня толкнули на горячие угли. Не выношу этого слова. Не люблю, когда люди меня сравнивают с этим вонючим, наглым животным. И когда услышу это враждебное слово, у меня внутри поднимаются все мои дьяволы души, и я выхожу из себя. А впоследствии из-за этого слова я стал серьезно подумывать об увольнении с работы...

Однажды ночью на посту я остановил грузовую машину. Проверяя документы у водителя, я машинально спросил:

— Что у вас в кузове?

— Козел! — брезгливо ответил водитель.

— Что? А ну повтори! — не на шутку рассердился я, приняв ответ водителя, как оскорбление в свой адрес.

Водитель, похлопав глазами, внятно и громко выпалил:

— Козел! Козлище!

— От козла и слышу! — выпалил я в сердцах, чуть не хватаясь за свой наган.

В это время действительно заблеял козел. Заглянул я в кузов и увидел там бородатого, рогатого, здоровенного козла, с веревкой на шее. Я опешил...

— Вы уж извините меня, — начал было я оправдываться. — Ну, не надо же так прямо в лоб произносить название животного. Можно же

было хотя бы мелким рогатым скотом, например, назвать. Понимаете ли, я принял за оскорбление...

Я вернул ехидно улыбающемуся водителю его документы. А он сам оказался настоящим «козлом». Водитель этот был тогда районным депутатом, слыл как непьющий, некурящий активист... Серьезный человек. Он поехал и сразу заявил на меня в районную прокуратуру. И свидетели нашлись... В результате чего меня сняли с работы за грубое отношение к представителю народовластия. Вместе с этим полетели с плеч мои погоны, льготы и красавая форма.

Теперь я занимаюсь разведением коз. Но люди почему-то не называют меня больше «козлом». Это очень хорошо...

Я тогда понял, что если действовать не по разуму, а поддавшись эмоциям, то можно потерять не только «рога», но и голову на плечах...



*Елена
Трушникова*

МИНИАТЮРЫ

Еще одна весна

Весна на улице. Солнце пригревает, птички щебечут, а небо высокое-высокое, совсем весенне. И облака в синеве такие нежные, пушистые. Снег под ногами превратился в вязкую кашу. Мы перемешиваем его ногами, рисуем на грязном тротуаре все новые и новые узоры отпечатками сапог.

Кажется, что подтаявший снег плотной грязно-серой массой лежит на пути, и я безбоязненно делаю шаг, но оказываюсь в раскисшей от тепла снежной массе — лужа замаскировалась.

Сосульки плачут. Они грязные, серые, но все равно весенние. Сосульки везде — свешиваются с карнизов, с почти обтаявших крыш, прикрытых кое-где рваной накидкой черной сажи, сползают мутными змейками с зеленых заборов, а из водосточных труб ледяные воротники высываются. Посмотрите, какие бородатые водосточные трубы.

Деревья уже не мерзнут, они не похожи на застывшие скелеты, как зимой. Лед еще не растаял, а деревья живые. Они просыпаются, ждут,

когда можно будет сбросить клейкие кожурки с почек и освободить, выпустить на волю миллионы маленьких зеленых листочеков.

Весна. Ветерок теплый, ласковый. Люди уже не прячут носы в меховые воротники, они идут, высоко подняв головы, свободно, уверенно. Все-таки как хорошо идти по улице и не прятать руки в теплые вязаные варежки. Наверное, настоящую цену теплу знают только те, кто прожил зиму с ее морозами и ветрами. Зима всем надоела, мы от нее устали. Хочется скинуть поскорее теплую одежду, отдохнуть.

Я помню весну, свою весну. Другие годы и дни как-то сильно и не запомнились, а этот день я, наверное, никогда не забуду.

Помню маму, себя — школьницу, мы пришли тогда на берег Енисея. Мама сидела на длинном шероховатом бревне и с улыбкой наблюдала за моими дикими скачками по выброшенным на берег льдинам. Весна уже не ранняя, река вскрылась, основной поток льдин далеко, на пути к северному морю, а на берегу тысячи белых льдин, словно туши огромных морских животных, невиданных, загадочных.

Вот льдина. Она громадная, такую не сдвинешь с места. Я и не пытаюсь, я карабкаюсь по прозрачному голубому разлому словно изнутри светящейся льдины на ее поверхность, на ровную площадку, и оттуда смотрю вокруг. Река, окаймленная белыми ледяными кружевами, широкая, черная и гладкая-гладкая. Изредка по ней проплывают белые льдины-одиночки. Они опоздали, не успели уплыть вместе со всеми, или вовсе не спешили вниз по течению, и теперь спокойно плывут, все также никуда не торопясь.

Я поворачиваюсь к маме и кричу: «Эге-гей, мама, это я!» Неожиданно под моей ногой осел лед, я провалилась, но, к счастью, неглубоко. Выбравшись из образовавшейся лунки, я уселась на край, и принялась разглядывать ее. Оказывается, льдина тает совсем не так, как сосулька. Она рассыпается на длинные иглы. Чем льдина толще, тем иглы длиннее. Если ледяная глыба хорошо прогрета солнцем, достаточно одного небольшого удара, край льдины моментально раскрошится, и прозрачные иголкисыплются на землю с хрустом и звоном. Я до сих пор вспоминаю этот завораживающий звон ледяных иголок.

Я принесла маме целый букет хрустящих от прикосновения друг к другу льдинок, и она сказала:

«Весна, вот и еще одна весна». Тогда я не смогла понять, что было на душе у нее.

Время пролетело незаметно, многое изменилось. Теперь уже мои дети с интересом разглядывают сосульки, восхищаются, какими замысловатыми кружевами вытаивает на огороде снег. А я, улыбаясь весеннему солнышку, повторяю мамины слова: «Вот и еще одна весна».

Июль — макушка лета

Летние каникулы у школьников продолжаются.

Вот и второй месяц лета начался. Солнце уже вовсю припекает, греет землю.

Лето, солнце, ласковые волны, яркая зелень деревьев, даже степь и горы сплошь покрыты травой. В городе жара и духота, а на природе, у реки так легко дышится! Веселые лучи насквозь пронизывают толщу воды, и озера, реки и ручьи становятся теплыми. На Енисее и парковой протоке каждый день собираются шумные стайки ребятишек. Загорелые до черноты мальчишки, девочки в разноцветных купальниках. Они, словно шустрые рыбки, плавают, копошатся в лягушатнике, смеются и восторженно верещат. Кто постарше, предпочитает купаться в быстром непокорном Енисее. Как здорово окунуться с головой в воду, пробежаться по песчаному берегу и нырнуть с обрыва в зеленоватые волны!

Дачники трудятся на своих участках, стараются.

А что будет, когда придет 7 июля — праздник Ивана Купала! В прошлом году расшалившиеся ребятишки, кто с бидончиком, кто с пластиковой бутылкой, а кто и с ведром, полным воды, поливали прохожих с балконов, окатывали встречных на улице, заливали в распахнутые двери и окна автобусов воду. Промокшие жертвы их шалостей громко возмущались. Но ведь праздник! Посмотрим, что будет в этом году.

А вообще, лето — это здорово. Даже дождь не омрачает настроения.

Осень

Осень пришла. В обеденное время еще тепло, солнце светит не жарко, но щедро. Под осенним полуденным солнышком хочется прогреться, как следует, сохранить это тепло подольше. Днем хорошо, а вечером и утром уже понимаешь, что лето закончилось, уходит лето, улетает в теплые края потихоньку, почти незаметно. Не погулять влюбленным до утра, не посидеть на берегу реки до рассвета. Сыро и промозгло стало и ночью, и утренней порой.

Вот шиповник, еще зеленый вчера, окрасился в ярко-красные цвета, то тут, то там уже видны золотые монетки в зеленых косах берез, меньше стало цветов, природа готовится к долгой зимней спячке. Степь дышит терпким дурманом, цветущая полынь наполняет воздух бодрящей свежестью, семена уже созрели, стоит только подуть первым холодным ветрам, как по всей округе полетят, посыплются, покатятся семена. Перекати-поле помчится по голой равнине круглым шаром, мелкими песчинками просыплются на землю семена полыни и подорожника. Цепкими крючочками вцепятся в одежду путника и шерсть животных твердые, шершаевые капельки чемерицы и колючие клубочки лопуха и чертополоха. А пышные гривы ковыля будут виться над белой зимней равниной до самой весны.

В огородах дозревает урожай. На склонившихся к земле ветках садовых деревьев яркими рубинами пламенеют созревшие ранетки, в густой помидорной ботве просвечивают круглым боком красные и желтые томаты, гордо подбоченились на грядках капустные кочаны, а свекла и морковка, пряча в земле крупные корнеплоды, вскинули вверх оперенье ботвы. Скоро обитатели грядок перекочуют в погреба и подполья, скоро придут холода.

Я люблю раннюю осень, люблю смотреть в высокое осеннее небо, люблю золотые тополя, стройными колоннами, огненными свечками стоящие вдоль проезжей части. Мне нравится бродить под желтым дождем опадающей листвы и слушать шорох листьев под ногами. Я мечтаю в это время года.

Поверь в себя

Тебе плохо? Все кажется серым и мрачным? Ты думаешь, что радость и счастье навсегда покинули твой дом, и никогда уже не пробьется из-за тяжелых грозовых облаков лучик света, чтобы порадовать тебя своим сиянием, теплым ласковым прикосновением? Раздражают и чужие радости, и придирики начальника. И вообще никто тебя не желает понять. Худеешь, бледнеешь, по твоему виду каждый может понять, что жизнь твоя не удалась.

Попробуй измениться сама, и мир вокруг станет другим. Представь, что прилагая огромные усилия, ты взбираешься по отвесному склону на вершину одиноко стоящего утеса. Не глядя по сторонам, цепляясь за острые выступы скалы, обдираешь в кровь руки, ломаешь ногти, но с каждым новым рывком продвигаешься к вершине. И вот стоишь на высоком утесе. Над тобой только синее-синее небо, по которому плывут круглобокие, пушистые и белые, как молоко, облака. Под тобой, стоит только сделать шаг, раскрывается бездна. Одно неосторожное движение, — из-под ног со стуком «выпрыгивает» небольшой круглый камешек, срывается с крутого уступа и летит вниз, быстро уменьшаясь в размерах. Потеряв его из виду, ты через несколько секунд, показавшихся вечностью, вдруг слышишь звук падения где-то там, далеко-далеко внизу. Ты отступаешь назад, осмысливая, на какую огромную высоту взбралась. И каких бы усилий это ни стоило, но ты преодолела все преграды. И словно в награду за титанический труд, взору открывается удивительная картина, зелено-голубые волны соснового леса расплескались по огромной равнине. То тут, то там, словно маленькие зеркала, проглядывают, сверкая золотыми искорками, небольшие лесные озерки, окаймленные пушистыми кустарниками и нежной травой. Вдалеке едва заметные и от этого еще более притягательные голубые горы затейливым узором вырисовываются на фоне лазурного полуденного неба.

Глядя на эту земную красоту, так и хочется, раскинув крылья, взлететь высоко-высоко, к облакам, парить в потоке ветра, чувствовать, как напря-

гаётся каждый мускул, каждая жилка твоего тела. Хочется увидеть, уз-
нать, — а что там, за горизонтом, за неведомыми горами?

Воображение — удивительная сила, способная увлечь за собой в не-
ведомый мир. Не бойся, взмахни руками-крыльями, сделай один только
шаг и воспари над землей, над проблемами и ошибками. Взгляни с высо-
ты своего полета, какие они мелкие и ничтожные. Оглянись вокруг, как
хороша жизнь, как она прекрасна! Посмотри на солнце, почувствуй его
тепло, позволь себе понежиться в его живительном свете, погреться в
его лучах.

Пролетев сотни, тысячи миль, почувствовав вкус жизни, обретя уверен-
ность в своих силах, ты возвращаешься на вершину утеса. И взглянув в
последний раз на прекрасный пейзаж, на солнце, склоняющееся к закату,
мысленно благодаришь природу за оказанную поддержку, прощаешься с
всем этим великолепием и по натоптанной тропинке спускаешься с
противоположной стороны утеса к своему дому. Пусть потом тебя убеж-
дают друзья, что бессмысленно карабкаться по отвесному склону, когда
можно по проторенной дорожке прийти к цели, и вид на равнину от
этого не изменится. Им все равно не понять того, что ты видела свою
равнину по-новому, другими глазами.

Теперь, вернувшись из воображаемого путешествия, ты уверена, что любое
дело будет по плечу, ты справишься со всеми неприятностями, а когда
вдруг снова плохое настроение и хандра попытаются ввергнуть тебя в
пучину слез, обид и уныния, вспомни волшебную зеленую равнину.

Я расскажу тебе про дождь

Такой погоды в Кызыле не было уже давно. Не проходило и суток,
как возобновлялся дождь. Он поливал округу вдоль и поперек, превра-
щая проезжую часть в реку, наполняя дворы огромными лужами, застав-
ляя людей без конца перепрыгивать через водные преграды.

Вот и сегодня небо, веселое с утра, к обеду нахмурилось. С запада
надвинулись грозные синие тучи. Смотришь из окна, что на южной сто-
роне дома — голубое небо, солнце, кучевые облака. Поглядишь на севе-
ро-запад, сердце замирает в ожидании непогоды. Нелегко придется про-
хожим, попавшим под дождь.

Летний ливень не заставил себя долго ждать. Сначала издалека по-
слышалось недовольное ворчание грома, потом над самой крышей рас-
катисто пророкотало, рванул ветер, и по крышам, дорогам, листвам де-
ревьев шумно зашлепали первые крупные капли.

Дождь работает вовсю. Из-за сплошной его пелены очертания домов
и деревьев расплылись, стали призрачными, словно в волшебной сказке.
Порывы ветра заставляют водяные потоки плясать по крышам быстры-
ми волнами. Особенно интересно смотреть на падающие капли с высо-
ты, с этажа этак четвертого. Белые и круглые водяные шары летят
вниз, быстро уменьшаясь в размерах, и шумно шлепаются на асфальт.

Деревья закрываются мокрыми листьями от водяных потоков. Прячась под разноцветными зонтиками, разбежались кто куда незадачливые прохожие. И только машины, превратившиеся в амфибии, плывут по разлившимся дорогам, важно стряхивая дворниками воду с лобовых стекол. Но коварные лужи приготовили машинам ловушки, скрыв от взгляда водителей выбоины и колдобины. Вот и перекатываются машины с боку на бок, словно гиппопотамы на прогулке. Постепенно дождь поутих. Далекие дома вновь стали видны, растительный мир расслабился, разнежился, прислушиваясь к легкому касанию водяных капель. Кажется, каждая травинка впитывает в себя живительную влагу, крепнет и здороваеет, наливаются силой. Тишину и умиротворение нарушают только шаги редких прохожих. Кто бредет по тротуарам, обходя расплывшиеся лужи под ярким защитником-зонтом, а кто-то не страшится дождя. Вот молодая девушка гордо шагает по воде. Ее легкий наряд, насквозь промокший, липнет к телу, черные волосы свисают тонкими сосульками, обрамляя загорелое лицо. Седой старичок в светлой матерчатой кепке осторожно передвигается вдоль бордюра, подставляя стихии сутулые плечи. А две девчушки весело шлепают через реку-дорогу, размахивая сандалиями. К автостоянке неспешно подрулила синяя «шестерка», открылась дверца, и пухленький средних лет мужчина, прикрываясь от острых капель газетой, шустро засеменил к подъезду дома.

По-разному реагируют люди на происходящие события. Не было дождя, — страдали от жары, не знали, как спасти от засухи дачи и огороды. Изо дня в день льет — от слякоти и грязи устали, залило огороды, повылезали сорняки.

А я люблю, когда дождь идет. Люблю, когда расправляется после дождя отмытая листва деревьев. Вы видели, как радуется выглянувшему из-за туч солнышку каждая травинка? Чувствуете, как дышит природа?

К вечеру дождь утих. Остатки туч разбежались по небосводу, открывая перед взором огненную картину заката. А потом на город тихо опустилась ночь, и на чистом небосводе загорелись яркие звезды.

Теперь в свои права вступает июльская жара. Дождь ушел.

Летний дождь, он все равно придет,
Он отмоет крыши и дороги,
Расколдуяет этот мир убогий
И растопит недоверья лед.
И под этим проливным дождем
Мы, не веря, да и не веря,
Вдруг шагнем в раскрытые им двери
И пойдем...

Снег идет

В середине ноября как-то незаметно побелело все кругом. Утром проснулись мы, — а земля укрыта тонким слоем снега, словно белой простыней. По негласному закону зима пришла. Не люблю я морозы, но ничего не поделаешь.

За работой незаметно летят не то что дни, недели. Некогда бывает взглянуть на окружающий мир, на изменения в природе. А тут, припозднившись, возвращаюсь с работы по темноте. Большинство горожан уже дома, на улицах и остановках нет такого наплыва людей. Почему так тихо? Снег идет. На центральной площади, где фонари-кобры светят волшебным желтовато-оранжевым светом, величественно возвышаются ТМДТ и Белый дом. В свете фонарей кружатся снежинки. Маленькие, белые, словно сказочные мотыльки. Сверкают, переливаются, падают ажурными кружевами, отражаются в витринах.

В городском автобусе, пустом и дребезжащем всеми железками, почти нет пассажиров. Водитель, торопясь куда-то, мчит по пустеющему на глазах городу. Из синих сумерек за окном выплывают освещенные витрины магазинов, ларьки на остановках и запоздалые прохожие. У автовокзала светло, а дальше опять дорога и свет фар встречного транспорта.

Особенная атмосфера на «Востоке». Те же «кобры», что и в центре города, желтый свет над круговым движением и летящие снежинки-звездочки. Вот и моя остановка. Я углубляюсь в частный сектор. Все темнее становится кругом, все таинственнее. Одиночные фонари на перекрестках высвечивают бока нескольких одноэтажных домов под белыми шапками, часть дощатого забора и растопыренные ветви деревьев в палисадниках. Тихие солнные улицы убегают в стороны, и где-то там, через три квартала, сиротливо горят два фонаря на длинных палках столбов. Словно маленькие звездочки в безбрежной космической пустоте. Снег хрустит под ногами, больше не слышно ничего. За освещенными окнами многоэтажных домов, за разноцветными шторами электрический свет. Словно сотни волшебных фонариков охраняют покой человеческих сердец. Неожиданно мне на ум пришло что-то давнее, совсем забытое:

Я люблю смотреть в чужие окна...
Шторы по бокам, а в центре свет.
Девушка закроет шторы плотно,
Только что была. А может, нет?..

Тепло окон бревенчатых домишек уютнее. В каждом доме, согретом теплом печки, живет конкретная, отдельно взятая семья. Большая или маленькая, дружная или не очень, но семья...

Своими заботами живут люди, строятся и рушатся семьи, растут дети, решаются проблемы. Как хочется пожелать всем счастья и добра, любви и достатка.

И как все-таки хорошо, стряхнув с шапки отяжелевшие снежинки, обнять радостно встречающих тебя детей и рассказать им, как с ночного неба, бесшумно и нежно укутывая землю, сыплются белые снежинки. Снег идет...

Сергей Пюrbю

ПАМЯТИ МАТЕРИ

Вот — неожиданный порог...
И хочется сказать мне: «Мама!»
Переступив сквозь тьму дорог,
Познать единой крови пламя.
Ушедшая во мглу небес,
А, может, в землю, что под нами...
Но сердцем я тянусь к тебе
Своими детскими руками.
На близком стойбище ,
В холмах,
Ты для меня всегда живая.
Моя ладонь—в твоих руках,
Скажу: «Любимая, родная».
Пока живут мои глаза
И сердце полнится дыханьем,
Мне позабыть тебя нельзя,
Как солнца вечное сиянье!

Перевод Эммы Цаллаговой.



Кызыл-Эник КУДАЖИ

ОТЧИЙ КРАЙ — ЧЭЭНЕК

Милый мой Чээнек,
Ты — моя колыбель,
край, где вместе навек
скот пасется и зверь.
Дорогой Чээнек,
Будь кошмою зимой,
дай весной — трав разбег,
тенью стань — в летний зной...
Древний мой Чээнек —
нивы тучных полей,
бурный нрав горных рек
и сердец хоомей!
Молодой Чээнек,
где с любимой живу:
юрта, словно ковчег,
пронесет нас сквозь тьму!

ДУС-ДАГ

Легендарный Дус-Даг, Соляная гора,
нам с тобой повстречаться настала пора, —
ведь мальчишкой не рос я среди твоих скал
и, как горный козел, я по ним не скакал.
Вот сегодня впервые я вижу тебя, —
низко кланяюсь в пояс, платок теребя...
Но с твоими сынами встречаться привык,
удивляясь всегда, — как остри их язык!
Сарыг-оола я знаю и с Кок-оолом знаком, —
был не раз уязвлен острым их языком.
От того ли они языкастыми стали,
что с младенческих лет соль Дус-Дага лизали?..
Эй, Дус-Даг! Умоляю, склоняясь сединой,
подари на прощанье кусок соляной.
День и ночь я кусок этот буду лизать,
чтобы людям о жизни острее сказать!

САН СУРИ

Есть красавицы на свете, словно алый цвет зари!..
Как забыть мне, что с тобою повстречался, Сан Сури?
Ты улыбкою своею — зависть в сердце пробудила,
что в далекой Кампучии выросло такое диво!
Волос твой — как темень ночи, как дремучий черный лес,
Кара аът, скакун мой верный, заблудиться может здесь.
Как два омута озерных, так черны глаза вот эти, —
в них, пожалуй, искупаться в знойный полдень могут дети.
Я к волам привычен с детства, их пасти не раз пришлось...
Сан Сури, я твой характер вижу, будто бы насквозь:
родилась ты там, где буйвол носом тычется в кормушку, —
стройность ног твоих и легкость выдают в тебе пастушку.
И от напасти трагедий не погас твой ясный взор...
Я с тобою повстречался у седых Кавказских гор.
Каждым жестом, каждым взглядом —
людям радость ты дарила.
Будто соком виноградным молодая кровь бродила...
Пусть красавиц много вонду и велик российский край, —
на тебя лишь только глядя, Сан Сури, я вижу рай!
Пусть в Карпатах, на Камчатке или же с Байкалом рядом —
я тебя хотел бы снова обласкать влюбленным взглядом.
Если же в Туву приедешь, в отчий край судьбы моей,
Сан Сури, тебя я встречу и исполню хоомей!
Хоть у нас холодновато, обижаться нет причины, —
я тебя укрою шубой... Хорошо в тепле овчины!
А когда ты нагостишься, скажешь: «Все! Мой срок истек!» —
Заверну тебе подарки в белый, будто снег, платок.
Все отдам тебе я щедро, Сан Сури — моя отрада!
У жены спросить бы надо...
А вот сердце-то одно...

ВСТРЕЧА С ДУНАЕМ

Здесь — иная страна, да и говор другой,
Мне знаком лишь заоблачный крик журавлиный...
Но плескался Дунай в мою юрту волной
средь тувинской степи, знойным солнцем палимой.
Радость сердце скимала, как будто в горсти.
Под «Дунайские волны» — мир полнился смыслом.
У меня часто Штраус любил погостить...
Даже Моцарта там угождал я кумысом...
Я потом «Йолантую» в театре смотрел,
и «Кармен» слушал я, с ней — любя и страдая.
Путеводным костром Верди в сердце горел,

пережить мне «Аиду» свою предлагая...
А сегодня я здесь — так негаданно, вдруг.
От волнения встречи не нужно мне средства.
Значит, здравствуй, Дунай! Ты мой давнишний друг.
Для меня твои вальсы — мелодии сердца.
Я стою на мосту, в твои воды гляжуся,
вдаль теченье твое мои страхи уносит.
И мне чудится — в вальсе с тобою кружусь.
А восторг — мою душу под тучи возносит!
Ты прости мне, Дунай, что сегодня я нем:
мы с друзьями порой объясниться не смеем...
Я гляжу на тебя, вспомнив вдруг Улуг-Хем,
что течет от Кызыла уже Енисеем.
И подумалось мне: две страны, две реки
вдруг связались в душе моей в узел единый,
будто в рукопожатье сплелись две руки!
И, как дружбы залог, слышен крик журавлинный...

*



Монгуш Кенин-Лопсан

ЧАСОВНЯ НА КАРАУЛЬНОЙ ГОРЕ В КРАСНОЯРСКЕ

Над городом-громадой, Енисеем,
Злым духом, дикой тайной, горной птицей
Темнеет старая казацкая часовня...
От боли предков мы уйти не смеем,
И, может быть, поэтому сегодня
тень позабытого нам покрывает лица.
И видится огонь тревожный
в казацкой башенке: враг где-то близко,
и стрелы улетают в небо, искры
далекого зовущего огня.

Горят века, рвет ветер пепелище,
Уносит гарь в простор светлеющего дня...
Всходило солнце над стеной острожной.
Кандальным звоном декабристов жизнь легла.
В краю суровом гений ртом был лишним,
пока земля его не приняла.
Темнеет старая казацкая часовня,
Свидетельница оскорблений и позора,
и неусыпного надзора
над Лениным. Здесь частный пристав, словно
овец, людей по головам считал.
Темнела в вышине часовня,
И унизительно ее дозор молчал.
Вихрь Октября раздул заброшенные угли.
И возродился на твоей главе
огонь. И стала ты знаменем бури,
ты стала вестником великой битвы,
ты видела: казак, крестясь в молитве,
с «Интернационалом» шел под пули
по скошенной осколками траве...
Темнеет в вышине часовня гордо,
А он прекрасен и велик, громада-город.
Прекрасен и велик мой современник,
рожденный вольным духом и тайгой.
Всей грудью бьется в ГЭС могучий пленник —
Гул Енисея порождает мой покой.
Пройдут века, и человек изучит вечность,
В который раз пройдет страданий круг,
И укротит эпох далеких смерчи,
Лед отчуждения растопит жаром рук.
Часовня старая, безмолвный страж столетий,
Скрипят твои проржавленные петли,
и хлещут молний огненные плети,
а звезды гаснут в росах, на траве...
Предшественник мой верил в счастье риска
В казачьей страже, в каторге, на приисках...
Горит огонь на каменной главе,
В ночь улетают стрелы-искры.

Перевел Кондратий Емельянов.





Олег Сувакпим

ПЛАМЯ МОЕГО СЕРДЦА

Пусть сто красавиц встанут предо мною,
Чтоб я любую выбрать мог из них.
Я откажусь.

Ведь избрана судьбою
Моя любовь —

в ней свет очей моих.
Лишь ей — слова душевного привета,
Я — рыцарь ей

на белом скакуне,
И пламя сердца любящего светом
Ее отыщет в безымянной мгле.
Пурпурно щеки ее нежно рдеют,
Они мне душу неизменно греют.
Когда в тайге холодный бьет озноб,
Ее ладонь ложится мне на лоб.
Я в лодке плыл, река меня качала.
Я омывался утренней водой.
И, как волна, любимая ласкала,
Вселяя в сердце счастье и покой.

БЕЛАЯ БЕРЕЗА

Белая береза!
Я с тобою
Вместе рос и набирался сил.
Под твою нежною листвою
Я себе укрытие находил.
Часто мне твой облик стройный снится,
И тебя я вижу в этих снах
Шаловливой, смелой озорницей
С ветерком, играющих в кудрях.
Возвращусь к тебе — я обещаю,

— Ствол надежный твой сродни плечу —
И к тебе, как прежде, обращаясь,
Я слова такие прошепчу:
— Не сердись, подруга дорогая.
Стан твой белый обхвачу рукой,
Чтобы, в зелень листьев облекаясь,
Обо мне ты вспомнила весной.

ЖИЗНЬ КАК ДНО МОРЯ

Жизнь — морское дно.
Ее значенье
В заблужденьях,
в поисках оценишь.
Не намерен плыть я по теченью,
Путь свой направляю к высшей цели.
На пустые мысли не растрячусь,
Подкреплю трудом свои желанья.
Соков жизни даром пить не алчу,
Ей — все силы,
ей — мои мечтанья.
Песня ветра принесет прохладу, —
Утвердит меня над бездной зыбкой.
Солнца луч родит в душе отраду
И украсит радостью улыбку.

* * *

За соболем восслед пойду хребтами,
Где не ступал вовеки человек.
Но день погаснет, и своими снами
Коснется поздний вечер моих век.
Окутанный безмолвием незримым,
Вздремну я на привале до утра,
И светлое лицо моей любимой
Вдруг выплывет из пламени костра.

Перевод Эммы Цаллаговой.



Николай КУУЛАР

х х х

Как мне пережить это горе-беду?..
И в сумрачный лес я к деревьям иду.
Там ветку,
 как руку, мне тянет кедрач:
“Встань рядом со мной.
 О погибших не плачь”.

Березка листвой шелестит на весу:
“С тобой встану рядом,
 от скорби спасу...”
И вмиг посветлело в дремучем лесу.

Мне руку теперь не протянет мой друг,
ушедший из жизни негаданно, вдруг.
И девушке той не придется уж вновь
прижаться к плечу,
 мне доверив любовь...

Душевную щедрость, сердец их красу,
их чистые лица —
 сквозь жизнь пронесу!
И вмиг посветлело в дремучем лесу.

Перевод В. Гордеева.

ПО ОТЦОВСКОЙ ДОРОГЕ

Время гонит табун
 лошадей необъезженных вскачь.
Кто решится рискнуть,
 обуздать вожака и помчаться
неизвестно куда,
 презирая тревогу и плач

растерявшихся вдруг,
испугавшихся вдруг домочадцев?
Наши предки-отцы
уж давно ускакали вперед,
только эхо, как пыль,
оседает, звеня голосами.
Не поможет никто,
ибо Время ту скачку ведет
не по кругу, и в ней
свой маршрут выбираем мы сами.
В стороне от дорог,
по неезженным сроду путям
наши кони летят,
догоняя табун понемногу...
И прошу, не теряй
ту звезду, что светила отцам,
чтоб смог ты попасть
на отцовскую эту дорогу!

ПЕСНЯ

Сердце волнует знакомый мотив.
Где же ты, юности остров?
Там, где колышутся, даль подхватив,
травы огромного роста.

Может, тропинки отыщется след,
девушка выйдет навстречу.
Я подарю ей волшебный букет,
сказкой укутаю плечи.

Прежнюю робость давно я забыл...
Где же ты, остров мой синий?
В жизни ты был, обязательно был!
Будешь ли снова ты в жизни?

Сердце волнует щемящий мотив...
Чтобы звучать ему вечно,
небо над островом синим летит,
травы колышутся, даль подхватив,
юность бежит мне навстречу.

Предзимнее

Два лебедя к югу плывут
над гладью осеннего поля,

потом исчезают, и тут
сжимается сердце от боли:

я вспомнил, как встретились мы —
вдали от родимого дома
и тоже — в предвесье зимы,
но только совсем по-другому.

Мы две одиноких души,
нас греет не солнце, а стужа.
Сегодня зима не спешит,
но завтра — скорей бы! — закружит.

Перевод А. Полануерс.

х х х

Не предаю ли тебя,
когда иду, на чужбине,
по незнакомой тропе?
Не предаю ли тебя,
к русской склоняясь рябине
и не спеша к тебе?

Не предаю ли тебя —
совестью, честью и долгом
связанный с дальней судьбой?
Не предаю ли тебя,
после отсутствия долгого,
долгим молчанием с тобой?..

Перевод А. Макарова.

ТУМАН НА ЧАЙЛАГЕ^х

Кочующий вниз по ущелью туман
И утром, и днем, и под вечер
Нежно, словно думаалай^{**},
Ложится горам на плечи.

Плавают овцы в молочной реке
По-рыбытико и важно.
Песнь чабана на всем чайлаге
В тумане услышит каждый.

^х Летнее пастбище в горах.

^{**} Свадебный наряд невесты.

Вот и окончен тумана набег.
Мох засиял — к погоде.
Влажный, он сам, — как овечий мех.
Солнце над юртой всходит.

Перевод В. Зуева.

*

Сайлыкмаа Комбу

ВОСПОМИНАНИЯ О ДОМЕ

Здесь был мой дом.
Когда-то был мой дом.
Сквозь сердце
веет снежным ветерком
неизвестность.
Эта коновязь
давно горячую
не сдерживала силу.
Тепло огня
здесь долго не хранили,
и в небо
не вилась седая прядь.
Игр жеребячьих
бег и озорство
слепыми сорняками заросло.
Тепло уютных детских лет
осталось в сердце.
Играет сердце в сайранак,
играет с ветром.

КОСТЕР

...Только дым седой, как полушалок,
кутает мне голову и плечи
и уходит, истончаясь, в небо.
Бессловесно, терпеливо, жалко
собирала я сухие ветки,
маленькую искру раздувала...
Видно, уродилась неумехой.
Видно, неумехой и осталась.
А одной надежды, видно, мало,
чтоб костер разжечь в ночи
бездонной
над рекою ледяной и темной.

ДУМЫ

Выплюскиваясь, полная луна
сиянием ласкает лепестки
ночных цветов.
В камнях ликует маленький ручей,
искрится и горчит
слезами снов.
И в колыбели — синем бубенце —
чуть дремлет мотылек,
и птица горестно кричит,
прорицая срок.
В такую ночь, когда луна
сквозь веки жжет —
душа, скорбя, всегда одна —
на зов идет.

СНЕГОПАД

Окунувшись в блаженство и свет снегопада,
осень тихо почила.
Я затемно встала.
Грусть шептала мне имя твое в полудреме.
Чистым-чисто на сердце, за окнами, в доме.
За порог побежала — заспешила крылато.
Знала, — ждешь, и замерз,
и согреть тебя надо.
Хлопья снега лежат на открытых ладонях —
чистым-чисто на сердце, за окнами, в доме.
Целовать снегопад на рассвете мне сладко —
вместо жарких объятий — снежинок охапка.

Скоро ветер метельный над домом завоет:
Чисто, пусто на сердце, за окнами, в доме.

ДАЙТЕ РУКУ

Дайте руку.
Спасите.
Цепким горем
стреможены легкие ноги.
Дайте руку.
На этой избитой дороге
и загнуться недолго,
Господь нас, неумных, храни...
Отче светлый,

да отец мой,
улыбкой встречавший печали,
на руках, напевая, ребенка качали,
чтоб дитя никогда не догнали невзгоды,
усадили его в белокрылую лодку,
лодку счастья пустили в бескрайнее море.
И какое же горе
жизнь мою иссушило до пыли?
Где счастливая лодка, которую мне подарили?
...Мне отныне учиться
улыбаться в великой печали,
обернуться ладьей белокрылой,
чтобы волны сыночка качали...

Перевод Инны Принцевой.

*

**Лидия
Иргит**



СИМФОНИЯ

Шум ветра и хрустальный звон реки,
и ручейки, журчащие окрестно,
заботливо в поющие венки
влепла весна — проворная невеста.
И зазвучала у меня в крови
цветущая, как звонкая фиеста,
прекрасная симфония любви —
мелодия для флейты и оркестра.

ЭНЧЕК

В кровь свои прокалывает пальцы
мастерица, ткущая энчек,

чтоб спасал поэтов и скитальцев
этот шерстяной ковер-ковчег.
И поэт израненную лиру,
как энчек спасительный в пути,
под ноги всему бросает миру,
чтобы человечество спасти.

* * *

Ночью я слышала явственно стон.
Кто-то заплакал во сне.
Трехлепестковый тюльпана бутон
тихо раскрылся во мне.
Сердце мое, словно красный цветок —
три лепесточка огня.
Глядя в него, я гляжу на восток,
а мой восток — на меня.
Если кому-то на свете темно,
не подбегайте к окну.
В сердце стучитесь мое, как в окно.
Я вам его распахну.
А засверкает зарею восток
в трехлепестковом огне,
знайте, что этот прекрасный цветок
прежде проснулся во мне.

* * *

Моя душа — глубокая пучина,
которую не первый ты открыл.
Но ни один завистливый мужчина
ее простор пока не переплыл.
Их привлекало славы искушенье.
Но под пиратским флагом корабли
претерпевали кораблекрушенья,
поскольку с бурей ладить не могли.
Хоть и могуча грудь у океана,
но не с душой моей равняться ей,
Все воины Тимура-Тамерлана
покоятся на дне души моей.

Саяя Майнак

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ДУША

Человеческая душа
Иногда
От блаженства жизни,
Возгордясь благами своего труда,
От нежной ласки, радости малой,
Как воск от слабого огня,
Растает и зазывно запоет.
Человеческая душа,
В муках адских,
От боли невыносимой
и страданий — уходит сама в себя
и тайком от других
разрыдается в глухи.
Человеческая душа,
От гнева праведного
Схватившись с подлостью,
Жестокостью и грязью,
На чистую воду вынесет
Утопленную правду
И оживит убитую честь...

ЧЕСТЬ

Честь — она
Как мелодия,
Она, как магнит,
Притягивает людей
для доброты, чтобы люди,
лаская друг друга,
дружили и верили себе.
Честь — она
За праведное дело,
Как огненная лава —
Испепелит многоликих,
С ядовитыми языками,
С жестокими глазами,
С грязными помыслами
Поганых мерзавцев.
Честь — она,
Как солнце вечное,
Совесть народа —
Освещая длинную дорогу
Жизни и бытия
К счастью, миру и любви.

В ПИАЛЕ И В МОЕЙ ДУШЕ

Отведай мой чай, полной пиалой не брезгуй,
Это угощение — знак моего уважения к тебе, о мой гость!
Знай же, в этой глубокой пиале и в моей душе
Нет ни капли яда притворства подхалима.

ПРИРОДА САМА...

Я не покажу тебе свои слезы никогда.
Стал я крепче стали и тверже льда.
И видел я в жизни своими глазами
И подношения, и бедствия огня и воды.
Когда весной покажется первая зелень,
Проступят в моих глазах слезы, как талая вода —
Это от искренней любви к родной земле
Сыновней верности отолоски играют во мне.
Да, сама природа моей родной земли
Научила меня и преград не бояться,
И быть веселым, как ранняя весна,
И чистым душой, как зимний снег.

ЖИТЬ БЕЗ ЛЮБИМОГО ДРУГА

Нет в мире доли постыдней и печали нет,
Чем жизнь без любимого человека в одиночестве.
И нет черней беды, словно убийство самого себя,
Как отказаться от своих детей и родной жены.
Нет в мире доли темнее темной ночи, —
Жить вместе с нелюбимым человеком.
И нет смерти поганей и славы грязней,
Как унизить себя, как потерять свое достоинство.

Я КАК БУДТО СНОВА ОЖИЛ

Из-за малого пустяка поссорившись,
Ушел я, сказав: «Больше не вернусь!»
Но по земле поплутав, от мук душевных,
Хоть и стыдясь, но к любви я вернулся.
Когда я приблизился к дому своему,
Даже собачка наша ластиться бросилась.
С комком в горле, но боясь и тревожась,
Зашел я в дом, а ты, улыбаясь, встречаешь меня.
И дети от долгой разлуки, наверное,
«Папа, папка вернулся!» — крича, кинулись в объятья.
Всех в охапку схватив, целую, ласкаю —

И как будто снова ожил после смерти.
Есть в тебе сердце, умеющее прощать,
И есть душа, очищающая печаль.
И нет мне надобности притворно клясться,
Извиняться, унижаться... Ведь я вернулся!
Значит, я признал свою ошибку пред тобой...

КТО НЕ ПОЗНАЛ ЛЮБВИ

Зимнее солнце хоть и яркое,
Но не согреет, как горящий огонь.
Тот, кто не познал силу любви,
Не может петь, — словно без горла...

Перевод Игоря Иргита.

*

*Антон
Уержсаа*



ПОЛЫНЬ

Как долго я здесь не бывал,
По родным истосковался—
И сердцем возликовал
И голос хомуса раздался...
Так яростно солнце горит —
Крута золотая натура, —
Что степь пересохла на вид:
Шершавая, дряблая шкура.
И вдруг ветерок, сквознячок
Ко мне прикоснулся в порыве,
Обдав от макушки до ног
Родною горчинкой Полыни...
Целую степную полынь,

Как маму, что замерла тихо...
Я вечно б слезами поил
Те стебли, хлебнувшие лиха.
Здесь редко увидишь цветок,
Но где бы я ни был отныне,
Мне душу тревожит, как Бог,
Великая горечь полыни.

ДОЛИНА ЗАБВЕНИЯ

Моя совесть, словно лебедь — сирота,
Небо криком оглашает неспроста...
Я за ней, не отставая, поспевал
И в долину позабытую попал.
Здесь минувшее позаросло травой,
Словно дремлет в колыбели пуховой.
Здесь мелькают мои счастье и печаль
Сквозь туманы, пролетающие вдаль.
Ярко-красные метели шелестят—
Отпадает моя радость — листопад.
Проступают сединой солончаки,
Где покоятся следы моей тоски.
Веют милые мне лики, голоса,
Отлетая легким дымом в небеса.
Где искать, где окликать и верить вновь
В дерзость юности, надежду и любовь?
Но молчит глубокой тенью тишина,
Вспять забвения река обращена...
И над нею, причитая от обид,
Совесть птицей одинокою кружит.
Это боль моя, а может быть, твоя—
Или пепел то чугунный забытья.

Перевод М. Мнацаканяна.

*

Владимир Донгак

* * *

Я тебя ощущаю плывущую
в небе луной,
что купается в облачных волнах,
скользя над горами.
Ты не знаешь сама, что ты
стала моей судьбой, —

мы, как в прятки, в тумане
играем своими сердцами.
И в мечтах назначая
ночное свиданье тебе,
чудным нравом твоим покорен,
я тобой восхищаюсь.
Нежных рук прикасанье,
дыханье твое на плече.
Говорят, что теперь не уснуть
до утра мне от счастья.
Как устал я таиться
и долго скрывать,
что одна ты и свет для души,
и большая отрада.
В Хондергее красавиц
прекрасней тебя не сыскать.
Я признаюсь в любви —
пусть ответ твой
мне будет наградой.

Бесчестный юноша ли-
оскорбил глубоко,
Иль верный друг ушел из жизни
раньше срока, —
Но в девичьих глазах слезу
заметил.
(Она ее стряхнула так неслышно).
Застыл я от жалости
недвижно —
слезинки той нечаянной свидетель.
Познавший
юности любовное бездумье,
Отвергнут девушкою был я
неразумной,
и сердце ныло, и любя, и ненавидя.
Тогда я был безмолвный,
одинокий, слеза, казалось, жгла и ум, и щеку.
Кто мое горе в ту минуту видел?

Перевод Э. Цаллаговой.

Ульяна Куулар

БЕССОННИЦА

Измоталась по постели, изболелась и устала,
это стонущее тело — надоело, надоело,
только жаль тугую косу, безвозвратную красу...
Жизнь до веточки иссохла, ночь больная одинока,
Сушит жар на темной коже невесомую слезу.

Словно листья разметало,
унесло судьбу метелью,
Боль грызет худое тело,
жадно слизывает слезы.
В тонких жилках застывает
обесцвеченная кровь.

Ах, как жаль тугую косу!
Страшно стоном потревожить
тихо спящую соседку.
Дух живой в посмертном слепке,
птица в раскаленной клетке, —
смерть вдохнуть и улететь...

Кто стучит, от смерти будит?
Грубое, живое сердце
бьется в ледяном капкане:
что с детьми твоими будет?
С мамой, старенькою мамой?

Не творила ты зла и любила детей.
Почитала родителей. Слушалась мужа.
Тропкой смертной бредешь — не своей, не своей.
Воронье над твою постелью не кружит.

В теплом утреннем свете —
волос отрастающих ершик.
Ночь ушла без меня.
И воркует за стеклами ветер,
что у юных и глупеньких женщин
отрастают роскошные косы.
В эти новые косы вплетают цветные ленты.

Перевод Инны Принцевой

Зоя Донгак

ОТ ИСКРЫ ВОЗГОРЯТСЯ

Всему на свете свое время:
Чтоб крепли крылья у птенцов,
Чтоб прорастала, словно семя,
В душе ростки прекрасных слов.
В моих стихах — полет, паденье,
Печаль и горе, и упрек.
Я жизни быстрые мгновенья
Храню в сокровищнице строк.
И воедино стих связует
Понятья те, что не разъять:
Природу,
что стоит, красуясь,
Детей и Родину, и мать.
И как весною оживится
Морозостойкий эдельвейс,
Так искрой сердца загорится
Мой стих,
что света полон весь.

НЕ ЗАМЕТИЛ

Блестками звезд предутренних
глаз твоих пламя сияло.
Слово ты скажешь мудрое —
Сердце ему внимало.
Гордой осанкой радуешь —
Лиственниц ты прямее.
Строки твои крылатые
Власть надо мной имеют
Вдаль призывала издавна
Вместе бродить по свету.
Сердцем моим ты избран был,
Но ничего не заметил.
Может, как озарение,
Прочь отгоняя тени,
Это стихотворение
Душу твою заденет.

*



Евгений Антуфьев

ЧАСЫ

Я стоптал не пару башмаков,
Выкурил не пачку сигарет,
Чтоб освободиться от оков,
Что взлететь мешали столько лет.

Я лечу —
И хищный блеск в глазах...
И промыто небо синевой.
И застыло
На твоих часах
Время,
Остановленное
Мной.

О КРЕТИНАХ

Уведу я
Мужнюю жену.
Стану на земле не одинок.
Сказку расскажу ей про страну,
Где лазурный берег и песок.

А под лодкой
Не увидеть дна.
Красный лист
Давно слетел с осин.
И смеется мужняя жена,
Что ей встретился еще один кретин.

БРАТОК

Олегу Чараш-оолу

Он был его ножкой от стула.
Он был, не давая упасть.
И лампочка без абажура
Качалась, погаснуть боясь.

А после, разлив по стаканам
Похмелья тяжелую муть,
Вздохнул: «Я, браток, от обмана
Сегодня решил отдохнуть».

На волю я выпустил душу,
А ты, брат, пришелся к руке.
Негоже гордыню и трусость
Хранить на моем чердаке».

И, ножку отбросив от стула,
Вновь молвил: «Удачи, браток!»
Небритая дернулась скула,
Чтоб сделать последний глоток.

ЗА ОКНОМ

Еще не кончилась зима.
И мир в окне белее пуха.
Еще на краешке ума
Есть что-то важное для слуха.

Еще вчерне нам не дано
Свою увидеть перспективу,
А воробы стучат в окно
И разлетаются пугливо.

КРУГ САТАНЫ

Круг Сатаны —
Это черный квадрат.
Падшие звезды
Там ярко горят.

В черном квадрате
Из звездной муки
Ляпают черти
Для нас пироги.

Бархатна бездна
И скользка тропа,
Но осторожность,
Ей-Богу, глупа.

Спустимся вниз
И разрежем пирог,
Каждый получит
Законный кусок.

Каждый получит
От Бога сполна,
Если на свете
Живет Сатана.

О САМОУБИЙЦЕ

Я видел,
Как мужик
Свои кишки
Заталкивал обратно,
Наивно посчитав —
Врачи зашьют
И ладно.

Потом живот
Рукой прикрыл,
На этом кончить
Решив дело.
И душу навсегда простил,
Что в страхе вырвалась из тела.

БАЛЛАДА О “СОЛНЦЕДАРЕ”

Юра Килин любил неспроста
Помечтать на перилах моста.
А еще он любил “Солнцедар”
И чтоб кто-то летал, как Икар.
Фикса Килина нагло блестела,
“Солнцедара” бутылка пустела.
И оркестр пьяно в парке ревел,
И с моста кто-то в воду летел.

Серебрила протоку луна.
Чьи-то тени на берег взбирались,
На мечтателя грязно ругались,
Темный ил поднимая со дна.

Годы шли.
И уже неспроста
Нет летящих в протоку с моста.
Потому что по просьбе ребят
“Солнцедар” с производства был снят.

МОНОЛОГ

А ты не пела длинных песен,
И взгляд твой был предельно ясен.
Я был тебе не интересен,
А потому и не опасен.
Цвела черемуха ночами,
И музыку несло из парка.
Дрожала в рюмках между нами
Налитая с краями “старка”.
Но это было так давно.
Закрой, пожалуйста, окно.
И незачем весь мир терзать,
Что не смогла ты устоять.

НЕ СПЕШИ

Удержу ли прошлым я тебя?
Дам ли мелочь на помин души?
Не спешу загадывать я зря,
Да и ты, пожалуй, не спеши.

Я воздвиг тебе в пустыне храм,
Чтоб молилася в храме золотом,
Только ты не верила богам
И смешала золото с песком.

Бросил я к ногам твоим судьбу.
Страстью душу сжег свою дотла.
Ты же, невзирая на мольбу,
Даже и плечом не повела.

По утрам наивно слал цветы,
Чтобы ты купалася в море роз.
Но, злорадно усмехаясь, ты
Выставляла розы на мороз.

Удержу ли прошлым я тебя?
Дам ли мелочь на помин души?
Не спешу загадывать я зря,
Да и ты, пожалуй, не спеши.

СТАРУХА

Упорно старуха с клюкой,
Шатаясь, бродила по дому.
Водила костлявой рукой
И мир подвергала излому.

Как призрак, в оконный проем
Она по ночам наклонялась.
Все ставила в мире вверх дном,
И все в этом мире качалось.

Кошмарные сны по ночам
Качали людей, как качели.
Взлетали они к небесам
И камнем на землю летели.

А утром понять не могли —
Все вроде бы в мире на месте,
А ночью опять от земли
Куда-то летели все вместе.

Мир облик свой начал менять,
С ума точно все посходили.
Стремились все что-то продать,
Урвать и украсть норовили.

Старуха с усмешкой в окно
На мир сумасшедший взирала,
Все в мире качалось чудно
И твердо уже не стояло.

Старуха и ныне живет,
Шатаясь, бредет по квартире
И с тайной надеждою ждет
Больших перемен в этом мире.

СКАЗКА О ЧЕЛОВЕКЕ БЕЗ КВАРТИРЫ

Без квартиры и ключей
Человечек жил ничей.
Собирал бутылки где-то
От заката до рассвета.
А с рассвета до заката
Вновь искать бутылки надо.
Заметало мир листвой.

Человечек брел печальный.
И мерцали светом дальним
Небеса над головой.

ПУСТАЯ КВАРТИРА

Пустоту ощущаю опять
На душе и в квартире,
И тебя мне уже не позвать —
Нет тебя в этом мире.

Не приду на ночлег,
Не спрошу:
— Как живешь ты, родная?
Не услышу:
— Сыночек, дыши,
На святых уповая.

Кран на кухне все так же бежит,
Точит время по капле,
Телефон твой уже не звонит —
Голоса все иссякли.

Думал я,
За мою спиной
Тыл надежный и крепкий.
А остался с одной тишиной
Да с ворчаньем соседки.

Еще сорок не минуло дней.
Дверь tolкну и открою,
И портрет твой увижу за ней
С черной каймой.

ЧУЖОЙ СОН

Ты меня не бойся. Не бойсь.
Зря бояться меня не надо.
Коли встретиться довелось —
Затворю я сейчас ограду.

Ночь темна. Не сочту за труд —
На ночлег я тебя пристрою.
Ты меня не бойся. Вот тут,
У забора тебя зарою.

И ПРОДОЛЖАЕТСЯ РОМАН...

Подарок мне от жизни дан.
Жизнь подарила мне роман.
И все завидуют кругом,
Что не кручу роман тайком.
Роман мой на глазах у всех
Имеет бешеный успех!
Какой роман! Ах, боже мой!
Я в полночь прихожу домой.
И пятый год уже подряд
Опять влюблен я невпопад.
И телефон опять звонит.
Ну, как к нему не подойдешь!
Жена устало говорит:
— Ну, а теперь когда придешь?
И вновь летит с деревьев лист.
И снова лист бумаги чист.
Подарок мне от жизни дан.
Жизнь подварила мне роман.

*



*Инна
Принцева*

* * *

Рожденным в великом остроге
младенцам и бабам седым
привычен вой похоронный
и сизый голодный дым.

Рожденным в великом остроге,
обученным серым цветам,
сталью калечат ноги,
чтоб бить ими по головам.

Рожденным в великом остроге,
счастливым, не помнящим зла,
на похоть сальных подушек
ошибают крыла.

Дети грязи острожной,
бредем по земле святой,
и дерзко огрязки неба
топорщатся за спиной.

Шиповником диким взойдем,
тяжелым и алым дурманом,
горят наши смертные раны,
пробитые ржавым гвоздем.

* * *

Не обида кричит, не мечтай, —
это рыжая кошка лунатит на крыше.
Одинокий глазице ярче комнатных лампочек пышет,
вьется хвост, как змея, на боку розовеет лишай.
Эту кошку, как могут, ликующе любят коты
из душистых помойных бачков и лихих подворотен,
друг из друга азартно дерут разноцветные клочья,
а на клочьях-то — кровь...
И, дрожа с одноглазой от страсти,
и праздная ночь,
зачинают трехцветных котят —
их на счастье потом разбирают.
Как у них получается — сами, наверно, не знают.
...А о горести душ, как ни странно, и знать не хотят.

* * *

Нет страсти осенней горше.
Нет плены осеннего слаше.
Нежнее сентябрьской дрожи,
яблони серебрящей.

На теплые семена
ложатся усталые листья.
Хрупкой пленочкой льда
кровь укрывается тихо.

Прозрачный ленивый мед
вбирает запах полыни.
Прохладные ягоды звезд
Целует колючий иней.



Эмма Цаллагова

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ПОЭЗИИ

Все чаще —
На открытках розы,
Все реже —
В жизни и садах,
Суровый слог житейской прозы
Напоминает о годах.
Собрав поэзии пожитки
И расторгая с нею связь,
Все медлю,
Все ищу ошибки,
С потерей этой не мирись.
И солнца луч меня не греет,
И луч звезды не ворожит,
Ну, как душа моя сумеет
В холодном сумраке прожить?
Благословляю эти слезы
Всем сердцем,
Вновь узнавшим грусть...
Не отвергая точной прозы,
Я вновь к поэзии тянуусь.

РОЖДЕНИЕ ДУШИ

Когда в мой дом вошла твоя беда
И сердце мне изранила до крови,
Когда вскипела талая вода
И звоном отозвалась в каждом слове,
Когда упала птица с высоты,
От неба жадных глаз не отрывая,
Когда тянула я свои мосты,

Пытаясь ад земной приблизить к раю,
Тогда скрестились,
Словно два меча,
Пожары сердца с холодом рассудка,
Заполыхала осени свеча
И отгорела яростно за сутки.
В такие дни рождается душа
И обретает голос,
Как живая,
И каждый жест,
И каждый новый шаг
Ее рожденье миру открывает.
И в муке обретя свои черты,
И жизнью называя эту муку,
Душа растет и зреет,
Как плоды,
Познав любви
Бессмертную
Науку.

НА ВОЛОСКЕ НАДЕЖДЫ

Придут прозрений
Горестные сутки,
Чтоб ощутить в себе,
Как вес беды,
И сердце,
Непокорное рассудку,
И этой непокорности
Плоды.
В них тяжкий яд
Забытых поражений,
Что в пропасть нас толкает
С высоты.
Моя душа
В зеркальном отраженье
Вдруг устыдится
Жалкой наготы.
Без мишуры —
Недостижимо близко, —
Без пышных складок
Призрачных одежд,
Она во тьме
Беспомощно повиснет
На волоске
Сгорающих надежд.

И будет страшным
Это пробужденье
В тумане,
Где ни цели, ни дорог,
Где грезится тебе,
Как наважденье,
Высокий и спасительный порог.
Но так душа
Устала от обманов,
И так недоставало ей побед,
Что шаг ступить —
Открыть былую рану,
Которой исцеленья больше нет.
Так — выбирай ...
Еще стоишь ты прямо,
И есть еще
Спасительный порог,
Еще душа
Цепляется упрямо
За тлеющий
Надежды
волосок.

*

КОНДРАТИЙ ЕМЕЛЬЯНОВ

СОВЕТ

Волнения, как выпитые вина,
в количествах больших приносят вред.
Поэтому ты выпей половину
того, что предлагают на обед.
Своим вином всегда делись с соседом,
не забывая разбавлять водой,
и лучше кипяченой, чтоб беседа
не обернулась для него бедой.
Любимой не давай вина совсем.
Не то начнет закусывать тобой.
И если ты всегда приятен всем,
тебе грозит губительный запой.
В застолье не мешай другим напиться,
тогда ты будешь цел и за столом.
И если друг потом глядит козлом,
то поднеси ему опохмелиться.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

I

А жизнь кусается украдкой.
Она — большая психопатка.

II

Ищите женщину, ищите!
Но только после — не скулите...

III

От того, что день хорош,
Ты его не потревожь.

IV

Когда все себя поимели,
Собрался великий совет.
Там мерой моралью мерил
Вполне аморальный поэт.

V

А истина его проста, —
Открылась в сердце пустота.

VI

Обиду смогла заплести;
Убит наповал — без ответа.
Ее торжествующий стиль
Сверкает улыбкой браслета.

VII

Предсказывал поэту. Вечность тлела.
“Нельзя гадать”, — кричали журавли...
Шаман ушел спокойно и умело,
Хлестнув полой залахнутой зари.

VIII

Ты в облаках.
Твой белоснежный лайнер
Плывет.
И в небо
Прыгают дельфины.

IX

Берег нашей любви
Раскололся тарелкой.
И страданий отлив
До обидного мелкий.

X

Судьбы качели — вверх и вниз:
Мечта — что гнев, любовь — садизм.
О, искушенность бытия;
И ты — не ты, и я — не я.

*

Людмила Санчай

ЧУЖОЕ

Беда чужая
Сердце болью сжало,
а собственная — вспыхнула огнем...
Чужая боль
спасительницей стала,
когда своя — чуть не сожгла живьем.
Так и живу:
Отчаянно родное
Во всем чужом признавши.
Но теперь
Уж нечто чужеродное — иное
Стучится все настойчивее в дверь.
В нем много «моего».
Чужого — мало.
Смогу ли я привыкнуть к «своему»?
«Чужим» жила.
«Чужое» принимала.
«Чужое» крепче к сердцу я прижму.

*

Сергей Олзей-оол

НЕ ХОЧУ

Ветер стих, дождинок слезы
Упадут с небес в траву.
Я любви ушедшей грезы
Никогда не позову.

Может, стар уже, не молод,
Чувства прячу в седину,
Ощущаю в сердце холод,
Тихо так—иду ко дну.

Всё же мог я те осколки
Слов собрать, но я молчу,
Потому что взгляд твой колкий
Снова встретить не хочу.

СГОРЯЧА

Никогда ни в чем не зневший меры,
Многим подлость в жизни я прощал,
Но тебя, в людей утратив веру,
Никогда простить не обещал.

Тускло тлеют огоньки в камине,
Догорает в сумраке свеча...
Неужели я всерьез повинен,
Что тебя обидел сгоряча.

САКСОФОН

Небытия вопрос меня гнетет,
Напоминая, что конец придет.
В ночной реке волна плеснет к ногам,
И вновь уйдет со вздохом шелестящим,
И нет вражды к уже былым врагам.
Друзья мои, все в мире преходящие.
И мир не зарыдает обо мне,
Лишь грустной нотой саксофон заплачет,
И прозвучит шершаво в тишине
Та нота грусти так или иначе.



Владимир Кан-оол

ХРИЗАНТЕМЫ

Светились белым хризантемы
На фоне темного окна,
А по углам блуждали тени,
Им явно было не до сна.

Мне эти тени надоели —
Они от белой суety,
Не от ума, от глупой цели —
Над бездной шаткие мосты.

Они — навязанные страсти,
Придурков местных и идей.
Блуждает тень народной власти
В умах оболганных людей.

Здесь не при чем сама система,
Я пробудился ото сна —
Мой траур в белых хризантемах
На фоне черного окна.

СТРУНЫ

Стынут струны. На сердце печальное...
Свет луны исчезает, как дым...
Не такое уж все это дальнее,
Только больше не встречусь я с ним.

Оттого нынче лето дождливое,
И не смыть на асфальте следы.
Не порвать эти струны гудливые,
Что запели на грифе судьбы.

И мелодия птицей пугливою
К невесомым летит облакам.
И парит между ними, счастливая,
И опять возвращается к нам.

ЛОДКА

Как скрипят в моей лодке уключины!
На весло налегают года.
Дни на нить нанизались, жемчужные,
Не вернуть их уже никогда...

Не вернуть мне туманы бредовые.
Те мечты, что святы и грешны.
Этих губ поцелуй рисковые,
Эту дрожь сумасшедшей весны.
А душа, улетая за облако,
В нем растаяла, там, в глубине.
Только тени манящего облика
Все тревожней блуждают во мне.
Может, тени — вода родниковая,
Что течет неизвестно куда?!

И плывет моя лодка рисковая,
За кормой оставляя года.

*



Мария Хадаханэ

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОСЛЕ СЪЕЗДА ПИСАТЕЛЕЙ

Состоялся 14-й съезд писателей Тувы. Что изменилось в союзе за четырех лет? Об этом говорили председатель правления А. А. Даржай и выступившие на съезде.

В жанре прозы появились романы М. Кенин-Лопсана «Исчезнувшая девушка» и «Буян Бадыргы», повесть «Плач» и пьеса «Инопланетянка» К. Кудажи, книга очерков Е. Тановой, сборник юмора «Я — царь незамужних женщин» В. Монгуша. Учитель-историк М. Монгэ издал добротный роман «Урянхайцы». Вышли в свет роман В. Шаравии «Тернистый путь», сборник стихов и прозы В. Карапала «Чаепитие», книги Ч. Куулара, Э. Донгака. В поэзии ищут новую форму Э. Мижит, Н. Куулар, С. Комбу, М. Кужугет, Л. Иргит, Р. Людуп, С. Донгак. Оживление в тувинскую драматургию внес Э. Мижит пьесами «Кто ты, Субедей?» и «Миражи». Эти пьесы с успехом идут на сцене, спектакли отмечены театральными премиями России. Кроме того, он закончил пьесу «Култегин». Считаю, что Э. Мижит привнес в театр романтическую традицию, лирико-субъективное начало, героев нового склада. В портфеле театра пьесы К. Кудажи, Ч. Ондара, Е. Тановой. Необходимо переосмысление истории и “больных” тем современности. Отмечены работы критиков Д. Куулара, З. Самдан, У. Донгак.

Бурным было обсуждение доклада. Говорили об ответственности писателя, необходимости глубокого осмыслиения истории в контексте России и мирового сообщества (У. Донгак). О разобщенности писателей выказали беспокойство Д. Куулар, Л. Батурина и другие, отметив, что редко издается, мало новых имен. Нужна учеба молодых. Литератор из Бай-Тайги Салчак Сарыг-оол с болью делился мыслями о воспитании молодежи, ее вкусах. О том, что долгожданная свобода слова привела к анархии. С. Баир говорил о необходимости объединения творческих союзов, создании координационного совета, об авторском праве, меценатах-спонсорах, которые будут иметь льготы за благотворительность.

Наше государство не очень заботится о культуре, только любовь и преданность профессии библиотекарей и музеиных работников удерживает их на своем поприще. Порнография и убийства на экране растлевают молодежь. О. Охемчик вспоминал об “Истоке”—“Дамыраке”, из которого вышло много творческих людей, его руководителях С. Козловой и С. Сюрюн-ооле. Главный редак-

тор «Улуг-Хема» Ч. Куулар поделился мыслями о своих авторах, есть новые имена, поиски свежей мысли и слова, о своеобразии литературного творчества. Журналу нужна хорошая дотация от государства, иначе литература умрет.

Главный редактор книжного издательства О. М. Баир с болью говорил о том, что в начале 90-х годов издавали 15 — 20 книг в год, потом по 4 — 5 книг, а в 1996 году не издали ни одной. Теперь, правда, понемногу положение улучшается. Издали 10 книг, получили 726 тысяч рублей дотации. Начали платить гонорары. Кстати, она не согласна с тем, что писатели издают книги на «стороне», без квалифицированного редактирования и культуры оформления — это неполноценные книги, не учтенные книжной палатой. Мало издается книг на русском языке.

В перерывах работала выставка-продажа. Писатели сами продавали свои книги, преодолевая смущение от роли книготорговцев. Книжек было довольно много, маленьких, со слабой культурой полиграфического исполнения. Хуже всего, что графоманство вошло в моду, обеспеченный человек издает малограммовые подделки, вводя читателя в заблуждение, порой не имея представления об эстетических законах настоящей литературы.

Большинство писателей — пенсионеры, необходима подготовка новых литературных кадров, нужен поиск-конкурс талантливой молодежи для учебы в Литинституте.

В докладе были отмечены писатели и их книги, но в целом литература за десятилетие перестройки пришла в упадок. Невостребованность художественной литературы отразилась на судьбах писателей: рано умерли, спились, стали нищими, ушли от профессии 22 члена Союза писателей России и примерно столько же — Тувы. В период эйфории раздали членские билеты СП всем желающим «записаться» в писатели. Амбиции часто превышают дарование. Споры, кто «главнее», вместо творческих дискуссий. Литературе нужно обновление. Талант — это богатство, его надо пестовать.

Детская литература дошла до критической точки — школьникам нечего читать.

Не обошлось на съезде и без казусов. Подвыпивший молодой писатель несколько раз говорил о создании фонда поддержки тувинской литературы. Кстати, на всех собраниях часто бывают одни и те же «выступальщики» по любому поводу, далекие от литературы.

На съезде были сказаны слова благодарности кафедре тувинской филологии ТГУ и краеведческому отделу Национальной библиотеки за пропаганду родной литературы. Именно там вырастают тонкие ценители слова и будущие авторы.

Я долго размышляла и на съезде, и после него о том, идет ли наш Союз писателей РТ от распада к подъему?

И снова подчеркиваю: литература стала «домашней». Издадут 100 экземпляров, раздадут родственникам и соседям. И все. Книги не проникают в читательскую среду, не доходят до библиотек и школ. 30 процентов людей читают детективы и любовные романы. И только пять процентов — серьезную, настоящую литературу.

Тувинская поэзия большей частью стала «грустная». Но есть и находки. В стихах Н. Куулара особый мир хрупкой красоты, сосредоточенность на своем, потаенном. Ему не надо советов смотреть шире. Он и так «видит» мир, и в этом прелесть — внутренний свет, покой, парение духа.

Среднее поколение — надежда литературы. Лирическая философская проза Э. Мижита «Ожившее время» — сумрачна, безрадостна: ХХ век — страшный кровавый старик. Часы грозно тикают, безжалостно перетирают время жизни. Человек — камень на краю бездны, бесконечный серый дождь, кошмарные сны и видения... Творцу страшно растерять свои слова и не найти новых.

Труден путь такого первопроходца, — оставаться собой, расти, писать каждый раз лучше, выше своей планки, не зазнаваясь, быть открытым и доверчивым к миру в свои 40 лет. А это строгая пора.

Творчество эгоистично. Ты один за столом, и здесь никто не поможет. Святая святых для писателя — рабочий стол и белый лист. Такая разная и теперь противоречивая, порой трагическая жизнь: расслоение народа, падение нравственности. Бездуховность, потеря цели жизни многими людьми, болезни и пьянство. Когда-то С. Сюрюн-оола ругали за очернительство, а между тем, он видел начально, которое стало теперь всеобщим явлением. У нас нет социальной поэзии. Любой факт может быть материалом для стихов — быстрого жанра. Бродский сказал: «Поэзия как десант — надо быстро захватить большой плацдарм, а проза — пехота».

Наши писатели не пробуют новых жанров, пусть даже детектива и любовного романа, фантастики, нет острых сюжетов. Без чего не «зацепишь» внимания читателя. Писать по-новому, с мощным психологизмом выразить думы, бытие современного тувинца — это главное.

Возникла брешь в переводе на русский язык. Последний раз тувинские книги в Москве выходили в 1984 году. Молодые переводчики показывают больше себя, чем автора, короткие стихи превращают в длинные и неряшлиевые строфы, строки реалиста нередко превращаются в строки модерниста.

Нужно возобновить разорванные межлитературные связи. Нет ни одной книги на русском языке. А как узнают о тувинских писателях на просторах России и мира? Русский язык объединяет народы. Школьники и студенты 80-х годов лучше знали русский язык. Теперь от корягового тувинского и русского языков «прыгают» прямо в английский. Косноязычие политиков, мат и блатной жаргон молодежи не украшают человека, а уродуют.

Литература — часть культуры, она не только создает эстетическую среду общения, а скрепляет, цементирует народ. О Туве знают не только по старым меркам, мастерству камнерезов и горловиков, а по «Слову арата» С. Тока, артистов Мунзука и Оскал-оола. Писатель создает духовные ценности, укрепляет тонус общества. И в то же время литература, писательский труд в нашей республике влачат жалкое существование. Кто поможет нам встать на ноги? Где-то в глубинке — поросьль даровитых людей. У малого народа золотинки таланта дорого стоят.

Избрано новое правление Союза писателей Тывы. Его председателем стал Черлиг-оол Куулар.





Галина ПРИНЦЕВА

Я ХОЧУ РАССКАЗАТЬ ВАМ...

(Заметки о творчестве Ч. Куулара.)

Сколько высоких, проникновенных слов прозвучало о каждом настоящем писателе и его книгах! Встретить на жизненном пути такого духовного наставника — большое счастье.

Я хочу рассказать вам об одном из своих любимых поэтов. Мастер — так звали главного героя в знаменитом романе Булгакова. Я напишу о великой радости общения с Мастером, являющим собой целый неповторимый мир. О могущественном влиянии личности Мастера на судьбы других людей, читателей и учеников. Даже — если очень далеко.

Сопричастность высшему из всех искусств — искусству формирования души — в чем она? Может быть, в предельной открытости людям и всем впечатлениям бытия?

Очень люблю его «Камешки в воде», этот задушевный разговор с читателем, — потому что настоящая поэзия всегда исповедальна.

Мы все родом из детства. Там — наши корни; истоки биографии, личности, судьбы.

Лишь горы и степи —
Вот все, что я в детстве видел,
Да шумные реки,
Да пестрое море отар.
По снежным долинам
Бродил я, озябший малец,
И целями днями
Искал заплутавших овец.
Я знал,
Что к стоянке
Без них возвращаться
Нельзя:
За мной наблюдали
Свирепого бая глаза.

Нравственное становление лирического героя Черлиг-оола Куулара шло стремительно. Хочу обратить внимание на ту особенность его стихов, которая заявляет о себе уже при первом знакомстве с ними. Это тема прекрасного,

неповторимого мгновения и его власти над внутренней, духовной сущностью человека, поэта.

Вся лирика Ч. Куулара — это поэзия мгновений, их текучего, но целостного единства. Мгновения прекрасные черты — таков поэтический камертон его творчества.

Мгновение весны, пробуждения жизни, пробуждения человеческой души:

Еще чуть-чуть —
И на моей сирени
Проклоняется, как птенчик,
Первый лист...

Мгновение лета, его изобилие, щедрость, зной:

Медоносною порою
Ждет цветок
Порыва ветра, —
В нем пыльцы
Настолько много,
Что пчеле не унести...

Миг зимы: миг любви, так и не ушедшей с годами; миг щемящей памяти:

У плакучей старой ивы,
Сквозь порыв
Метели снежной,
На меня ты посмотрела,
Как глухарка на снегу:
Твои косы водопадом
На лицо спадали нежно...
Как давно все это было —
Вспоминаю степь, тайгу...

Миг осенний — золотой, сквозной, печальный и радостный одновременно:

Сижу у костра.
Словно снежное перышко,
Прядь на виске.
Томительно веет предзимьем
Из дальних осенних глубин.
Собака рыжа
На прибрежном
И смуглом песке.
Ты дремлешь, мой пес.
И сижу у костра я один.
Здесь листья летят золотым,
Бесконечным дождем.
Там — песня марала,
Что громко подругу зовет.
Возьму я манок, знак подам,
И чуть-чуть подождем:
Красавица леса
Вот-вот на поляну придет.
Стрелять? Не стрелять?
С дрожью в сердце
Касаюсь курка.

Касаюсь курка
С дрожью в сердце—
Стрелять? Не стрелять?
Плывет венценосно,
Дика и прекрасно строга.
И я не стреляю.
Ну, как тут себя понимать?
Ступай, уходи
В бесконечные дали тайги,
В родные просторы,
Что душу мне лечат и жгут.
Звучит, замирая,
Пьянящий напев амыргы,
Еще раз напомнив,
Как возраст мой долг и крут.
И вновь оглянусь я
На бодрую юность свою,
И сердца коснется
Гортанный маралый хоомей.
Как горький напиток,
Душой оробевшую пью
Любимые лица
Навеки ушедших друзей.
Сижу у костра. Словно снежное перышко,
Прядь на виске.
Томительно веет предзимьем
Из дальних осенних
Глубин.
И жаркие листья лежат
На прибрежном и смуглом
Песке.
И дремлет мой пес.
И сижу у костра я один».

Мгновения прекрасные черты — в них и суть, и перспектива, и откровение поэзии Ч. Куулара. Ведь от мгновения он всегда идет к единому, целому, неделимому — к достижению жизни, к добруму, милосердному отношению к людям, ко всему живому. «Если б солнце не согрело Землю теплыми лучами, Как бы всходы появились и пшеницы, и овса? Если б ласки материнской Я не знал, живя без мамы, Как бы мог я превратиться Вот в такого молодца?» Вспоенное светлым молоком матери, взлеянное ее нежностью, дитя, вступая в жизнь, начинает глубже постигать трагические диссонансы бытия, и его красоту, и извечную мудрость.

Мать и отец в поэтическом контексте Ч. Куулара — воплощение добра и света, надежного гнезда. Память о них горька и отрадна одновременно, она помогает жить. Так сопрягаются концы и начала, великое и малое, Родина и родной аал. Возмужавший, зрелый человек, оглядываясь назад, отдает неоплатный долг своей древней земле, навсегда ушедшими родителям; а безымянная юная мать песнует первенца, нового жителя Земли.

Кричит младенец,
В мир земной входя.
Он в этом мире
Утвердиться хочет.
А мать его —
Вчерашнее дитя —
Над ним уже по-взрослому
Хлопочет...

Не стану пространно говорить о стихотворении «Подарок с градом» — все оно как будто овеяно освежающим, молодым дыханием летней грозы; о сонетах «Собака выла за окном всю ночь», «Горел закат на лиственницах пышно...», «Когда-то я вставал до пенья птиц...», — они выше какого бы то ни было анализа. Их надо просто читать, а не пытаться «разъять» музыку литых, глубоко одухотворенных строф.

Предельно концентрированная образность Ч. Куулара порою завораживает: «Водою полой, крутолобой весна зиме на смену мчит»; «Мой иноходец звезднолестрой масти — сын лучшей кобылицы в табуне»; «Гляди, — снежинки падают вокруг, и мне тепло от их прикосновенья»; «Овцы тихо бродят по степи, как звезды по ночному небосводу». «Снега младые падали неслышно, почти мгновенно тая на земле»; «Густеющая туча грозовая, как сытая верблюдица, плывет»...

Налицо мастерская игра с размером, ритмом:

В свой родимый аал
Я с семьей прилетел.
В юрту близких собрал,
Веселился и пел:
«Вода речная, ключевая,
Куда течешь ты вдалеке?
А ты, невеста, дочь чужая,
Что моешь волосы в реке?»

«Поют» отточенные, переливчатые аллитерации, максимально отработана звукопись:

Звенит серебряная сбруя,
И песнь рождается в пути.
Лети, мой конь,
Простор почуя.
Быстрее ястреба лети!

В совершенно особом разговоре нуждается проза Ч. Куулара. Светлая и трагическая судьба слепого мальчика-музыканта из повести «Шораан» давно покорила тувинских читателей. Сейчас повесть переводится на русский язык. Вскоре и русскоязычные читатели смогут познакомиться с художественным жизнеописанием человека, который, несмотря на тяжкое увечье и несправедливость слепой судьбы, преодолев многое множество трудностей и бед, не сломался духовно, нашел в себе силы обрести настоящую дорогу в жизни и стать хозяином собственной судьбы.

Биография. Творчество.

Бывал на Кавказе,
В Прибалтику ездил
И в Крым.
Был в Дели, в Париже,
И Токио видел,
И Рим.
Встречал меня братски
Во Фрунзе—
Айтматов Чингиз.
В гостях у Расула
Я пил дагестанский кумыс.
Вдвоем с Курасовой
Мы шли
По весенней Москве,
И май улыбался
В весеннем своем
Торжестве.
И вез я в подарок
На родину, на Енисей,
Прекрасные книги
Моих знаменитых друзей...

А вот теперь самое время вернуться к началам начал, к заветным истокам:

Вот и вспомнилось
Мне снова,
Как в далеком далеке
Под ногами вороного
Блещут камешки в реке...

Однажды, когда в роскошном октябрьском парке мы с Черлиг-оолом делали телепрограмму, он вдруг застеснялся и попросил немножко его подгримировать: «Я старый и некрасивый».

А мне вспомнился Заболоцкий:

А если так,
то что есть красота
И почему ее
обожествляют люди?
Сосуд она,
в котором пустота,
Или огонь,
мерцающий в сосуде?



Мария Сарыг-оол

РОДОВЫЕ ЛЕГЕНДЫ

Однажды, возвратясь с работы, я заглянула в кабинет мужа и увидела двух людей, так сосредоточенно работающих над бумагами, что они даже не услышали, когда я пришла, и очень удивились преподнесенному им горячему ароматному зеленому чаю с молоком и душистыми травами.

— Ой, спасибо тебе, Мак, за чай, — сказал Сарыг-оол и удивленно спросил: — А когда ты пришла? Мы даже тебя не услышали.

Отстраняясь от бумаг с видимым удовольствием, они пили чай. Потом слышу, как Сарыг-оол сказал:

— Знаешь, Сережа, для меня делать оценку чужой рукописи очень тяжелая работа, кажется, легче мне, взвалив барбу с солью, затащить ее на вершину крутой горы, чем разбираться в чужой душе. А тебе как?

Сергей Бакизович потер ладонью усталый лоб и тихо вымолвил:

— Ты прав, и мне не легче. Но что поделаешь, мы ведь из первопроходцев в нашей писательской среде. Вот и взваливают на нас такую “почетную” ответственность — решать чужую судьбу. Хорошо, что мы уже пришли к завершению этого дела.

— Да, Сережа, Кончил дело, — гуляй смело. Хорошо сказано. Давай обрадуем себя, поговорим о дорогих наших родных местах. Вспомни-ка о своем Эжиме, Сережа.

— Да-а, уже более шестидесяти лет радует меня река Эжим, — произнеся эти слова, Пюрбю опять задумался, а Сарыг-оол нетерпеливо принялся просить гостя продолжить рассказ. Пюрбю, вздохнув глубоко, медленно заговорил:

— О родных местах вспоминать не только радостно, что там тебе выпало счастье, невероятный подарок — жизнь, увидеть свет солнца, почувствовать беспредельную любовь матери. Но ведь все это уже в прошлом... — гость опять надолго умолк, а Сарыг-оолу хотелось заставить его забыть грустное, и он попросил:

— Ведь не зря же, Сережа, появилась эта Эжим — моя подруга, значит. Наверное, была та, что жила на другом берегу. Но я знаю твою храбрость, это препятствие ты, наверное, не боялся преодолевать. Очевидно, за неимением лодки, на каком-нибудь проплывающим бревне ты бросался в бурный поток, чтобы встретиться с возлюбленной, а? Ну, что грустиши и так задумчив, говори же.

Но Сергей Бакизович, вздыхая, продолжал молчать. Тогда Сарыг-оол принялся подтрунивать с другой стороны.

— А, понимаю, ты сожалеешь о промелькнувшей молодости, а еще и о том, что твоя когда-то бурная и глубокая Эжим обмелела и стала просто канавкой, которая и для орошения почти перестала служить. Не это ли тебя повергает в задумчивость и грусть? Конечно, теперь тебе нечем восхвалять свою Эжим.

— Не задирайся, приятель. Ведь и твой родной Торгалыг тоже не очень-то переполнил свои каменистые берега. Да и название не расхвастаешься: Торгалыг — дятел. Что такое дятел? Пичужка малая — и больше ничего.

Как же возбудило Сарыг-оола это определение собеседника — “ничего”! Он встал в позу, склонил голову набок, поднял руку и торжественно произнес:

— Да как же дятла можно назвать “ничего”! Когда это не просто птица, это же доктор лесов! Разве этого мало? Ты что, никогда не видел, как упорно трудятся дятлы, спасая дерево от всяческих паразитов? Я же, когда наблюдаю

за его нелегкой работой, то очень ему сочувствую и удивляюсь, как у птицы, наверное, болит головка. От такого стуканья и сотрясение мозга получить не трудно... — с серьезным видом доказывал превосходство своего Торгалыга Сарыг-оол. Но этого ему показалось мало для доказательства преимуществ Торгалыга над Эжимом. После краткой паузы Сарыг-оол каким-то затаенным полуслепотом произнес:

— Ты, Сережа, разве не знаешь, что к слову “торгалыг” прибавляется еще “амырак” — возлюбленная? Вот полное название моего родного места. Возлюбленная, пожалуй, посильней звучит, чем просто любимая, а?

— Спорить с Сарыг-оолом — что воду лить в бездонный сосуд, тебя не переспоришь. Ну и старинные обычай не позволяют мне, младшему по возрасту, спорить с тобой, старшим по годам, — заключил Пюрбю.

Но Сарыг-оола не устраивало прекращение этой веселой перепалки, и он опять придумал, чем бы зацепить и втянуть собеседника в новый веселый спор. Сарыг-оол начал утвердительной фразой:

— Мы с тобой оба принадлежим к роду Тюлюшай, но с некоторой разницей: ты — племени Адыг-Тюлюшай, а я — из Улуг-Тюлюшай. Ведь так?

— Ну и велика разница? Все равно Пюрбю. — Пожалуй, разница есть, только совсем незначительная. Мы с Эжима, вы — с Торгалыгом.

Пожалуй, этого Сарыг-оол только и ожидал, чтоб втянуть в продление разбирательства, “кто значимее”.

— Никаких возражений нет, где жили Улуг-Тюлюши и где Адыги. А вот известно ли тебе, Сережа, почему же добавлен к твоим Адыг, а к торгалыгским — Улуг? — спросил с хитречкой Сарыг-оол.

— Вижу, тебе не терпится похвастать своим красноречием, —смеясь, сказал Сергей Бакизович. А Сарыг-оолу, как видно, этого очень хотелось, он с удовольствием начал:

— Давненько это было. Один довольно богатый, к тому же смышленный человек по прозвищу Кара-Бай из рода наших Тюлюшай оградил их от большой беды... Года два или три в наших местах был джут. Скот, особенно у малоимущих, погиб, да и сами люди умирали от голода. Ну, а дань Манчихану все равно подавай вовремя...

Кара-Бай хорошо все обдумал и решил: если дань в срок не уплатить, то неминуемо нагрянут иностранные чиновники, чтобы силой выбрать из подвластного им народа плату. А чиновников-то явится немало, кормить придется не только их, но и многочисленную свиту, ублажать их всеми способами, ставить юрты, всячески развлекать, да еще присутствовать при истязании соплеменников, которые все равно ничем расплатиться не смогут. Стало быть, только на один прокорм этих страшных гостей уйдет куда больше, нежели сама дань...

Обдумав все это и посчитав возможные расходы, все бедствия от возможного посещения властями его племени, он решил, что будет куда выгодней самому внести дань за соплеменников, которую потом, когда наладится жизнь после джута, люди возвратят ему с благодарностью сами.

Кара-Бай поспешил опередить приезд сборщиков дани, сам прибыл в Улястай с данью к китайскому ставленнику Хевей-амбыну, губернатору. Он был доволен быстрой и своевременной доставкой Тюлюшем дани, даже приказал пригласить его в свою ставку. Жена, сопровождавшая Кара-Бая, узнав о приглашении, лишилась чувств от страха: наверное, мужа зовут в ставку, чтобы лишить жизни.

Но Хевей-амбын был в добром настроении и даже спросил Тюлюша, “поел ли он сегодня дома”. Услышав отрицательный ответ, Хевей-амбын приказал

слугам хорошо его накормить, одарить одеждой и обувью. Но когда слуги повели гостя, взяв под руки, то он тоже решил, что его ждет расправа, — мало ли что могло послужить поводом для этого. Ведь языка-то властителя он не ведал.

Накормили, действительно, как было приказано, “впрок”, так что больше рот не мог принять. А вот с принесенной одеждой и обувью получился казус: не подошла. Пришлось слугам шить по необыкновенно большому росту Тюлюша такую же просторную одежду. Но и она оказалась маловатой, распоролась на нем по швам, а из идиков пальцы наружу вылезли. Вновь пришлось шить на Тюлюша все по его росту.

Хевей-амбын, узнав о затруднениях с подарками для Тюлюша из-за громадного его роста, приказал его племени именоваться Улуг-Тюлюшами. Так от самого китайского ставленника мы получили название “Большого Тюлюша”.

Сергей Бакизович, видя вдохновенное настроение рассказчика, спросил, ведомо ли Сарыг-оолу, откуда появилось название его рода — Адыг-Тюлюш? На что Сарыг-оол тут же отозвался:

— Как не знать? То же произошло во время тяжелого бедствия, каковые нередко случались с нашим кочевым скотоводческим народом, джута, когда природа жестоко губила скот. Чаще всего это получалось от внезапных ранних потеплений весной, после которых снежный покров превращался в ледяной, который ослабленные за зиму животные не в силах были пробить и гибли от бескорыщи. А это, значит, и людям беда от голода...

Вот в такую-то годину одному из Тюлюшев повезло на охоте. Он случайно набрел на медвежью берлогу со всеми признаками спящего в ней хозяина. Человек этот сообщил семье о находке и приказал вести себя тихо, чтобы никто из соседей не узнал новость. Со всей родней ушел к “большому” мясу...

Добыв спящего медведя, семья хорошо питалось. Бодрыми и здоровыми люди весной вернулись в аал, где встретили их немногочисленные полуживые соседи. Увидев этих несчастных голодных, жена добытчика медведя расхвасталась: “А мы всю зиму хорошо жили, ели жирную медвежатину”.

Потом соседние племена, если кого хотели оскорбить, называли адыгами (адыг — медведь), то есть хитрецами, которые не пожелали поделиться с близкими. Стали еще употреблять это в иносказании и так: “А, он такой, наверное, нашел своего медведя”.

Ну вот, дорогой мой Адыг-Тюлюш, ты теперь знаешь, почему и как мы получили добавление к нашим родовым названиям. Мой предок прославился добрым делом, а вот твой-то подкачал. — И смеясь, произнес: — Слушай, как звучит мое полное имя: Улук-Тюлюш Агбан оглу Сарыг-оол. Рожденный матерью моей Майндырмаа, отцом Агбаном, проживающими в местечке Дус-Даг, на берегу реки Айыг-бай, где росло много прекрасных цветов, корневые луковицы которых очень похожи на новорожденную пластинку лунного серпика. Вот от этого растения и получила свое название ай-луна. А что касается моих имен, то это уж зависело от разных обстоятельств.

Почему я получил имя Сарыг-оол, — это понятно: ведь родился-то я со светлыми волосенками. Когда я подрос, это имя приносило мне немало бед. Бывало, поспоришь со сверстниками, а они, чтоб оскорбить меня, орали: “Ты орусь — русский”. Конечно, приходилось отбиваться, а нередко и реветь от бессилия. Или настойчиво кричать: “Врете, я тувинец!”.

По правде говоря, даже взрослые жители Овюра тогда не видывали русских, пожалуй, до того, как русские врачи приехали делать прививки от вспыхнувшей

беды, охватившей все наши аалы, — оспы. После прививок болезнь резко пошла на убыль, а слово "русский" стало произноситься с большим уважением. А для меня особенно приятно. Я даже стал важничать, когда мальчишки дразнили меня русским. Так что Сарыг-оолом я остался на всю жизнь. Когда я дожил до дня рождения, который по буддийской религии наступает через двенадцатилетний цикл, на церемонию пригласили ламу. Он читал много молитв и, отыскивая мне имя в своих мудрых книгах, наконец произнес, что мне предписано книгами такое: Далай-Серен. Так меня стали называть, но я почему-то возненавидел это имя и никогда не отзывался на него, дожидаясь, когда окликнут Сарыг-оолом.

— О-о, значит, упрямство твое началось еще с детства, — пошутил Сергей Бакизович и попросил продолжать повествование.

— Ну, а как я назывался потом, ты же знаешь. Под первыми стихами я подписывался Тюлюш Сарыг-оол, а имя Степан при тебе же подариł мне при прощании наш уважаемый гость Степан Щипачев. Когда у нас началась паспортизация, то старое имя Сарыг-оол пригодилось для фамилии...



Георгий Курбатский

НАРОДНЫЕ ЗНАНИЯ В ТУВИНСКОМ ФОЛЬКЛОРЕН

Тувинский фольклор всеобъемлюще полно, прямо или косвенно раскрывает духовную культуру народа в ее самом широком понимании, прежде всего, традиционное народное мировоззрение.

Мировоззрение тюрков Саяно-Алтая дидактично, всепроникаемо, расплывчато, открыто, незаконченно, а потому и устойчиво. Это мировоззрение новосибирские авторы назвали «социоантропоморфическим», а метод духовного освоения мира — «образно-представленческо-ассоциативно-эмоциональным»¹. Определение мировоззрения надо бы предварить словом «природо» — природосоциоантропоморфическое — и тем самым подчеркнуть жизненно-мировоззренческую роль природного фактора. Эта тема в тувинском фольклоре является ведущей: здесь многие даже сугубо материальные проявления жизни осмыслены мировоззренчески.

В традиционном мировоззрении тувинцев представлены интуитивный материализм, прежде всего народная практическая философия и народные знания, мифопоэтическое сознание и этнозэкологические представления. Вобрав и переработав различные элементы, оно представляет собою единое, систематизированное, гармонически уравновешенное целое.

Интуитивный материализм — основное, ведущее философское направление народного сознания.

Народная практическая философия. «По вековым традициям кочевники живут лишь сегодняшним днем», — писал о тувинцах П.А. Чихачев². Однако постоянное общение с природой и сам образ жизни кочевников-скотоводов и охотников развили в народе склонность к созерцанию и размышлению. Человек глубоко сознавал связь между собой, природой, пространством и временем.

В природе все целесообразно, в ней нет ничего лишнего, ненужного. Напр., «похожая на Луну» звезда Венера — это «л помощь Луне».

Песенный эстетизм сочетался с точностью наблюдений и верностью суждений. Напр., сила дерева восстановима: «У березы макушка если засохнет, заново расцветет еще прекраснее». Красота увидания своеобразна: «У ирги макушка если засохнет, в свое время даже красиво». Прекрасное мимолетно: «О, заря моя занимающаяся, продлись же еще немножечко, о, заря моя!». Эти и подобные им песенные суждения легко метафоризировались, связываясь в большей или меньшей мере с фактами и обстоятельствами че-

ловеческого бытия. Напр., если все в природе в свое время достигает зрелости («созревают верхушки цветов», «отвердевают макушки ив»), то «Во сколько же времени дойдем, отвердеем мы?», т.е. сколько времени нужно для достижения человеческой зрелости?

В природе, в реках лирический герой склонен видеть воплощенную надежность и основательность, которых так не хватает человеческим отношениям. Поскольку «даже Улуг-Хем забывает», «даже Каа-Хем невнимателен», людские слабости представлялись вполне естественными и простительными: «забывчиво глупое дитя», «невнимательна глупая супруга» и т.д.

Гармония живой природы могла бы послужить образцом для гармонизации жизни людей: «Как спокойна жизнь птицы турпана³, так спокойны да будут аалы вокруг Алдын-Холя! Как спокойно ходят живые существа, так спокойно пусть живут аалы, подведомственные амбын-найону!»

Жизнь с ее сложным содержанием подобна живому дереву с корнями и шишками: «дыйтың дазылы чочагайды» — корни лиственницы в шишке, «чочагайдан чоон дыт үнер» — от шишки вырастет большая лиственница, «кәжәэки кәжик хей ужуктуг» — у вечерней радости (любви, старости и т.д.) много корней (концов, ответвлений).

Реальное проявление бытия — сиюминутность, данность: «даартагы чагдан, бөгүнгү өкпе дээр» — лучше сегодня ливер (легкие), чем завтра сало (I, 44-45), «балык далайга өртек чок» — рыба в море без цены (там же).

Жизнь бесценна: «дын — алдын, хүн — күзел» — жизнь — золото, солнце — мечта (т.е. стремление к свету) (II, 32-33). «Аа бокта, чүү-даа канчаар алдын ышкаш кызыл тыным» — Важнее всего на свете живое дыхание жизни. Ведь человек рождается «в богом назначенный час», рождается, «чтобы жить».

Песня фактически утверждала как идеал высокое качество жизни: «Если хочет (должен) взять моего милого Аза,... то пусть берет, не мучь болезнями. Если хочет съесть его злой волк, то пусть съест, не играя им (как добычу)». Умереть желательно легко, безболезненно, внезапно, «сорвавшись с обрыва» (из йэрээла).

Главная мечта народа — мир: «тывалаарга — алды, орустаарга — үш, оон алыс утказы — бүгү хөйнүн күзел-соруу» — по-тувински — шесть (тайбын-мир), по-русски — три, весь его смысл — во всеобщей мечте-стремлении.

Счастье — это, прежде всего, спокойная, мирная жизнь. Так должны жить не только родственники, соседи, но и собравшиеся в одном месте люди из разных кожуунов: «Байлак дустуг Дус-ла-Дагны хунаашпайн чурттаалыңар. Кадагааты, кудагаты харын талтыг здержили»— Поживем в богатом Дус-Даге дружно, не ссорясь. Хотя ты приехал с чужбини, давай дружить и жить мирно. (В овюрский Дус-Даг приезжали из разных кожуунов за солью. Останавливались в ближайших аалах или у самой горы и жили, пока не заготовят нужное количество соли).

Счастье, гармония невозможны без согласия с окружающими, товарищами, друзьями, родственниками, тем более с родителями: «Кто не живет с тремя и четырьмя (с пятью и шестью), тот — доискиватель и допрашиватель (запирающийся и невежа)».

Судьба-доля связывалась с представлениями о долголетии (о «седых волосах»), многодетности, обилии скота и зависела от причастности к божествам, олицетворявшим природное начало.

Домашнее благодеяние символизировали конь «для езды в дальний и ближний путь» и чаша: «Шарбаа (чарба) чөлдиг кызылт-доруг (шилги дою) баглаа-жында шинчилиг бе? Шинээлиг-даа (сарыг-шокар) кызыл дашка ширээзинде шинчилиг бе?» — С раздвоенной гривой красно-гнедой (красно-рыжий) на коновязи стоит ли, мотая головой? Емкая (с желтым узором) красная чашка на столике-ширээ стоит ли? Естественно желание «не садиться на серого (здесь — плохонького — Г.К.) лошаденка», «жить без серости и похмельев». Благоденствие — это и дети «неленивые, незабывчивые», и друг «для беседы о хорошем и похвальном среди темной длинной ночи». «Довольство всем» — это и трава-зелень для скота.

Желанные проявления бытия: «кудук суу балык күзээр» — вода колодца мечтает о рыбе, «тас баш дүк күзээр» — пысина мечтает о волосах, «куу ыяш бүрү күзээр» — сухое дерево хочет листьев. Внешнее проявление счастья — «красные щеки»: «у счастливых девчонок, у счастливой ханши, у ханской дочери щеки красные». Но «красные ладони» отличают людей суетливых.

Три быстрых во вселенной — это мысль, свет и звук; мысль, глаз (взгляд) и летящая стрела. Стремительная мысль вездесуща: «глазом моргнуть не успеешь, — везде побывает», «бывающая в местах отдаленных в голове моей живущая», «отсюда выпущенная (выстрелившая) стрела (пуля) моя Улясугая, Улан-Батора, Пекина достигла». «Черные мысли (печень черная) плохого человека» — одно из трех черных в мире.

Время — важнейшее проявление жизни и сама жизнь. Историческое время безгранично: «узун тоолдун ужу төнмөс» — у длинной сказки конца нет. Эту загадку, вероятно, можно рассматривать как отголосок древнетюркской эпохи.

Время ценно насыщенностью делами. С годами они постоянно усложняются, а социальная значимость личности возрастает. Беспечное детство до 10 лет — «он энник» — десять щенков. Самонадеянная юность до 20 лет — «чээрби берүү» — двадцать волков. Цветущая молодость — «үжен хылыш» — тридцать сабель: «төре баштаар угаан үжен харлында быйкар» — ум государственного мужа созревает к тридцати годам. Физическая и умственная зрелость — «дөртөн маадыр» — сорок героев-богатырей, когда человек, по объяснению нашего информатора Ч.Е. Салчака (Кызыл-Даг, Бай-Тайга, 1977), «никуда не торопится и ничего не боится». Наконец, приходит мудрость — «бежен дүжумет» — пятьдесят чиновников.

Время преходяще, неостановимо: «үе кээрge, адыр чок, үер кээрge, чай чок» — времени не скажешь: подожди; половодью не скажешь: постой (II, 38-39); «шаг шаа-бите турбас, чавылдак көгү-бите турбас» — времени на месте не стоять, траве чавылдак вечно не зеленеть (I, 48-49)⁴. Трудно расставаться с «незабываемым» детством и скоротечной молодостью. Сломалась один раз трубка из таволожника — вот и прошла молодость. Как ни прекрасна молодость, ее не возвратить: «элдеп тоолдун эгэзи тывылбас» — у волшебной сказки начала не найти⁵, «— Чүү эгиттинмезил? Чего никогда не воротишь? — Чалыны назын. Молодость».

«Шагда магат чок...» — во времени нет неизменного...». Изменяется природа: «танды чуглур, далай соглур» — горы разрушатся, океан испарится. Вечно обновляется жизнь: «кижи өзөр, кидис шайлур» — человек растет, войлок (кошма) вытягивается (1,48-49), «кырган кырыыр, аныяк өзөр — ста-

рое старится, молодое растет, «ада өлүр, оглу артар; айт өлүр, баглаажы артар» — отец умрет — сын останется, конь падет — коновязь останется (I, 46-47), «буура кырыыр, бодаган өзөр» — верблюд состарится, верблюжонок вырастет (I, 48-49).

Дети идут дальше отцов: «ада көрбээнин оглу көөр, ие көрбээнин кызы көөр» — отец не видел — сын увидит, мать не видела — дочь увидит (там же), «мурнай үнген кулакты соңай үнген мыйыс эртер» — рога перегоняют уши, хоть вырастают позже (т.е. молодые перерастают старых; I, 42-43). Это естественно, т.к. молодые заимствуют опыт старших («аттырган койгун» — мудрый заяц): «мурнаанын соңнайызы эдерер» — задние копыта идут по следу передних (II, 34-35), «... эргини билбеске — соора болур» — ... прошлого не зная, — споткнешься (II, 22-23), «... соон истэр» — ... осмысливай, что позади (I, 52-53).

При этом надо учитьывать требования и настоящего, и будущего: «мурнун хынаар...» — проверяй, что впереди... (там же).

Поведение, действия должны соответствовать обстоятельствам и внутреннему состоянию деятеля: «не увидев горы, не откидывай полы (во время работы, при подъеме на гору и т.д. полы длинной тувинской шубы(халата)-тона затыкались за пояс — Г.К.); не увидев воды, не снимай сапоги» (I, 50-51), «заяц по знакомой тропе быстрее бежит...» (II, 126-127).

Иногда же определенное поведение вынуждается сложившимися обстоятельствами: «аспасты туман астырар, хонмасты дүн хондурур» — никогда не блуждал — туман заставил, никогда не заходил — ночь заставила (II, 138-139).

Под влиянием нежелательных внешних обстоятельств происходит реализация внутренних сил деятеля: «дүмчукка тулганда бызаа сүгжу» — вода до носу дойдет, и теленок поплынет (I, 46-47).

Порой действия, поступки вроде бы противоречат внутреннему состоянию, хотя мотивированы психологически: «в радости — плачет, в горе — смеется» (I, 38-39).

Изменившиеся обстоятельства подчас приводят к возрастанию ценности предмета (вещи): «хөрөллэргэ, хөрөмө кудуруу тывылбас» — когда нужно, и беличьего хвоста не сыщешь (II, 150-151; ср. с русскими пословицами: «на охоту иди — собак кормить», «дорого яичко ко Христову (к Светлому) дню», т.е. к Пасхе).

Истинные свойства предметов и явлений познаются через личные ощущения: «... незнакомое место, что ад» (II, 160-161), «надо своими глазами посмотреть, надо языком попробовать» (II, 152-153).

В пословице «өдүрээн часса-даа, хөлүн часпас» — в утку промахнулся, зато в озеро попал (I, 46-47) осуждение фактической ошибки сочетается с одобрением понимания общего смысла, самой сути дела.

Часть неотъемлемая от целого: «далай суунга дамды дуз» — морской воде и капля полезна, «далайга дамды дуз» — морю и капля добавка (II, 158-159), «дамдыдан далай будер» — из капель образуется море, «далай эгези дамырактарда...» — начало моря в родниках....

Внешние, случайные черты не должны собой заслонять сущности предмета, явления: «хөртөк-ле чүве төве зөвс, кемниг-ле чүве менде зөвс» — не всякий горбатый — верблюд, не всякий виноватый — я (I, 46-47).

Правильно расставляя акценты, надо искать и находить рациональное зерно

но: «чуунду-бите кады чугдунмаан саваң төкпе» — с помоями не выбрасывай целого куска мыла (ср. с русской пословицей «осердясь на блох, не бросай шубу в печь»).

Количество отнюдь не всегда переходит в новое качество: «хат улуг-даа болза, хаяны угбас, хаан бай-даа болза, аңаа пәкпес» — ветер, хоть сильный, скалу не поднимет; хан, хоть богатый, золотом не насытится (II, 30-31).

Надо подмечать специфические, присущие только данному предмету, явлению качества: «хаак баштаан тевени өшкү кайгаар, хая кырлаан өшкүнү теве кайгаар» — верблюд тальник объедает, — коза удивляется, коза на скалу лезет, — верблюд диву дается (I, 38-39).

Некоторые качества исключаются самой внутренней природой, неотъемлемой сущностью предметов-вещей: «мәңгүнде дат чок» — у серебра нет ржавчины (II, 140-141), «... золото с серебром не ржавеют». Некоторые предметы вообще не совместимы как носители прямо противоположных, полярных качеств: «каарган кас эдергеш, даванын донурган» — погнался ворон за гусем и ноги обморозил (II, 156-157; ср. с русскими пословицами «гусь свинье не товарищ», «не бывать калине малиною»).

Пословицы утверждают наличие причинно-следственных связей («далай эгези — дамырактарда, депшилге эгези — эртемде» — начало моря — в родниках, начало достижений — в учении; «тура чокта — күш чок, дус чокта — амдан чок» — нет желания — силы нет, нет соли — вкуса нет), взаимную зависимость и обусловленность явлений: «чаشتанчыдан өрт үнер, чаашкындан үер үнер» — от искры — пожар, от дождя — наводнение (I, 18-19), «хат чокта сиғен бажы шимчевес» — без ветра и верхушки трав не колышутся (не зашестят) (I, 44-45; ср. с русской пословицей «дыму без огня не бывает»).

Цветущая молодость и ветхая старость понимались как противоположные и одновременно единые начала жизни. В пору расцвета герой «с красно-румяными щеками» чувствовал себя «мужчиной, похожим на птицу орла», но тут же возникал вопрос о будущем: «Когда же наступит удобное время состариться?». Девицы и юноши живут, но и старятся, краснеют, но и бледнеют, ветшают.

Смерть закономерна и значима, как рождение ребенка: «үүжур эдергеш, ужа өлүр...» — следуя закону, падая, умирает.... Она всесильна — умирают даже правители: «... бегде менги чок» — ... беги не вечны. Она всегда неожиданна («нет срока для смерти...», II, 36-37), т.к. застает человека-труженика в пути, за работой.

Смерть страшила: «Өлү бээрge база кончуг». «Өртөмчейге кижи төрээш, өлү бээрge — хомуданчыг» — Жалко, когда умирают рожденные жить на этой земле. Несправедливо, что умирает «вырастивший свою семью», «вскормивший свой аал».

Досадно умирать, «претерпевши болезни». Хорошо бы узнать: «Хребет мой, подобный сухой лиственнице, где же сломается? Голос мой, подобный зову марала (голосу скрипки), где же прервтся?»

Героя волновали и сугубо практические вопросы: «Кто будет хозяином пустого моего аала и жилища?», «Кто будет гладить по голове и щекам, по артерии и печени мою сиротку одинокую? Кто будет подтягивать заднюю подпругу и подпружники осиротелого, одинокого голубка?»

Смерть нелогична: ведь не может быть лишним, ненужным для жизни тот, кто «вырос на пользу своей семьи», «вскормлен на пользу своего селения».

И потому не хочется верить в близость конца: «Неужели мне придется умереть (заблудиться)?»

Умерший не воскреснет: «погасший огонь вспыхнет, а умерший человек не встанет» (II, 36-37). Но останется его слава: «кижи өлүр, алдар өлбес»— человек смертен — слава бессмертна.

Представления, почерпнутые из повседневной производственной и бытовой практики, в своей основе рациональны. Понятия, оторванные от чувственно воспринимаемой действительности («жизнь», «счастье», «судьба», «бытие», «время», «смерть») раскрываются интуитивно-материалистически.

Примечания.

¹ Львова Э.Л., Октябрьская И.В., Сагалаев А.М., Усманова М.С. Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири как предмет этнографического исследования (к постановке вопроса) // Традиционные верования и быт народов Сибири. XIX — начало XX в. — Новосибирск: Наука, 1987.— С. 86.

² Чихачев П. А. Путешествие в Восточный Алтай. — М., 1974.— С. 348.

³ Н.Ф. Катанов в «Опыте исследования урянхайского языка...» (Казань, 1903) сойотское «аңгыр» переводит словом «турпан» (С. 1043). Этот перевод, сохраненный в «Тувинско-русском словаре» (М., 1968.— С. 62), или ошибочен или неполон: турпан и синъга образуют род турpana, а огарь и леганка — род красной утки. Г.Е. Грумм-Гржимайло писал, что турпан, по его сведениям, «даже вовсе не залетает в Урянхайский край..., в Минусинском же округе гнездится близкий ему вид..., который, вероятно, у местных жителей (в т.ч., возможно, и у тувинцев — Г.К.) и носит не принадлежащее ему имя турпан (Западная Монголия и Урянхайский край.— Л., 1926.— Т. III , вып. I. С. 93).

⁴ Философский смысл этой пословицы, вложенной в уста старушки Карападай, вдохновляет Мергена, героя поэмы «Чечек» С.Б. Пюрбю, на поиск социальной справедливости (Күүлар Д.С. Тувинская поэзия: Очерк истории. — Кызыл, 1970. - С. 42-43).

⁵ Эта загадка вполне соответствует тувинской пословице «үе кээргө, адыр чок...»— времени не скажешь: подожди... (II, 38-39).

Библиография

Зоя Монгуш

НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ БИБЛИОГРАФИИ

Культура каждой эпохи порождает-
ся материальным и духовным производ-
ством. Специфическими уровнями куль-
туры общества являются книга и би-
блиография.

Во все времена, осознавая эти цен-
ности, человечество искало эффектив-
ные методы и средства их сохранения
и распространения. Эти, казалось бы,
взаимоисключающие друг друга зада-
чи (сохранение и распространение)
всегда стояли перед обществом, эпо-
хой, человечеством.

В разные периоды своего существова-
ния Тува входила в состав разных
государств. Эти обстоятельства в зна-
чительной степени определяли и раз-
витие тувинской книжной культуры, и
библиографии.

В XIX на территорий Тувы получа-
ет распространение русская культура.
Появились первые книги и самостоя-
тельные прикнижные библиографиче-
ские работы на русском языке о Туве.
Признанным трудом считается «Би-
блиографический указатель литературы
об урянхайцах и их земле» Н.И.Ката-
нова, помещенный в книге «Опыт ис-
следования урянхайского языка» (Ка-
зань, 1903).

Но, к великому сожалению, огромное
количество литературы, получившее от-
ражение в дореволюционных библио-
графических изданиях, сегодня отсут-

ствует в фондах библиотек всех сис-
тем Тувы.

Не всем читателям XXI века, навер-
ное, известно, что когда все стало да-
тироваться со дня победы Октябрьс-
кой революции, часть печатных изда-
ний дореволюционного периода ста-
ла оцениваться отрицательно, запреща-
лась к использованию, частично или
полностью уничтожалась.

Без основного массива этой лите-
ратуры сегодня нельзя считать полным
ни архивный, ни библиотечный фонды
Тувы.

Дублетные экземпляра оставшейся
части этих изданий в настоящее время-
я, возможно, хранятся в спецхронах,
архивах и библиотечных фондах Рос-
сии, особенно Минусинска, Красноярс-
ка, Томска или в личных коллекциях
потомков дореволюционных и советс-
ких исследователей Тувы. Их выявле-
ние, приобретение, ксерокопирование,
систематизация и введение в научный
оборот должно стать одной из ключе-
вых задач наших потомков и в первую
очередь библиотечно-библиографиче-
ской, книжной и информационной служб
Республики Тыва.

Значительная часть литературы о
Туве на русском языке собрана в «Би-
блиографии Тувинской автономной об-
ласти», которая представляет собой не
только свод книжной и библиографи-

ческой продукции, но и одну из необычных страниц в истории библиографии Тувы.

Работа вышла в 1958 году в Москве, но есть предположение, что отдельные ее части готовились до революции и в период ТНР.

В рукописном фонде Института гуманитарных исследований хранится «Указатель литературных источников о Туве», составленный Т.Ф.Якубовой и А.Л.Якубовой. Он датирован февралем 1944 г.

В предисловии имеется сведение, что раньше указатель назывался «Литература об Урянхайском крае», и далее приводятся фамилии А.А.Пальмбаха и В.П.Ермолова, «представивших составителям ценные сведения о литературных источниках».

В конце 20-х и в начале 30-х годов ТНР с СССР имели тесные культурные контакты через ВОКС (Всесоюзное общество культурных связей с заграницей). В это же время стали создаваться во многих городах СССР Ассоциации научных и специальных библиотек, содействующие составлению сводных каталогов, объединению библиографической работы, координации комплектования библиотек СССР и зарубежных стран.

Возможно, через эти организации Ученый комитет комплектовался литературой о Туве и на их базе составлялись каталоги литературы, так как одной из важных задач, стоящих перед УК «Сбор материалов о Туве».

В 1933 г УК был упразднен, ВОКС и Ассоциации научных и специальных библиотек СССР в 1937 были распущены, многие активные их деятели репрессированы, и во многих архивных и печатных документах их имена остались безымянными.

В сентябре 1943 г Указом Малого Хурала ТНР вновь был организован УК при Совете министров ТНР. В его ве-

дение перешли все существующие в республике научные и научно-вспомогательные учреждения: научный отдел Министерства просвещения, Государственный музей, Государственный архив и республиканская сеть метеорологических станций.

В плане работы УК на 1944 год, хранящемся в ЦГА-2, в разделе «Внеплановая работа», значится «Составление библиографического указателя литературы о ТНР, окончательное оформление которого предполагается в первой половине текущего года».

В информации Т.Якубова и Л.Чадамба, опубликованном № 4 журнала «Под знаменем Ленина-Сталина» за 1944 год, читаем: «Сектором биологии закончено составление указателя литературы о ТНР. В указателе собраны сведения о литературных источниках, касающихся Тувы, от более отдаленных времен по настоящее время, общим числом в 815 названий».

Такая же информация вышла в июньском номере «Тувинской правды» за 1944 г.: «О Туве имеется значительное количество литературы, опубликованной главным образом в различных трудах, журналах, сборниках и других периодических изданиях. Однако указателя этой литературы до настоящего времени не было, что весьма затрудняло работу лиц, интересующихся вопросами, касающимися истории тувинского народа, его государства и культуры. Учитывая это обстоятельство, УК ТНР предпринял составление указателя литературы о ТНР, который в настоящее время в основном закончен».

Но указатель так и не был опубликован. По всей видимости, одним из главных препятствий его выхода в свет стало отражение большого количества литературы, вышедшей в дореволюционный период, а задача, стоящая перед партией и правительством ТНР,

была «освещение политico-экономических процессов и опыта некапиталистического строительства в ТНР на основе марксистко-ленинской идеологии».

После вхождения ТНР в состав СССР в конце 40-х г «В целях широкого изучения природных богатств и ускоренного развития производительных сил в молодую автономную область был направлен большой отряд геологов, лесоводов, ботаников, почвоведов... Для разведки недр была создана горная экспедиция Министерства геологии и охраны недр СССР, реорганизованная в 1961 г в Тувинскую геологическую экспедицию Красноярского краевого управления» — читаем в Истории Тувы (Т.2. М., 1964).

Экспедиция состояла из 5 отрядов.

Вновь появилась необходимость в информации литературных источников о Туве.

Работа по составлению свода литературы была поручена секретарю парторганизации экспедиции П.А. Шахуновой, имевшей опыт работы в Государственной научной библиотеке Министерства высшего образования СССР в должности ученого секретаря. (Подробно о ней см. в книге Д.Л. Тинмейя «Она жила Смольным, Кремлем и Твой»).

В одной из папок под грифом «Рукопись. Только для служебного пользования», далее «Тувинский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории. Дулов, Шахунова, Библиография литературы по Туве, 1952 год», сохранившейся в библиотеке, была случайно найдена пожелтевшая записка чернового варианта плана-проекта «Библиографии ТАО»:

Сама рукопись найденная в папке состоит из двух частей. Одна, составленная по разделам под названием «Библиографический указатель литературы о Туве» объемом в 65 машино-

писных страниц (включено 1064 названий), принадлежит В.И.Дулову, вторая — «Библиография книжной и журнальной литературы до Тувинской автономной области», объемом 79 машинописных страниц, включено 577 названий расположенных по алфавиту) составлена П. А. Шахуновой.

В обеих рукописях отражен «Указатель литературных источников о Туве» Якубовых.

В рукописном фонде ИГИ под инвентарным № 616 «Шахунова П. А. Материалы по библиография Тувинской автономной области» хранится две рецензии, по всей видимости, составленные на эту рукопись, сохранившуюся под грифом «Только для служебного пользования».

Приводим полностью эти рецензии: «Библиография представляет ценность для изучения истории Тувы. Авторами проделана большая работа, которая, несомненно, окажет практическую помощь в исследовательской работе.

В библиографии имеется ряд недостатков, которые необходимо устранить:

1. В разделе «Классики марксизма-ленинизма не указаны все произведения В.И.Ленина и И.В.Сталина по национальному вопросу. Произведения И.В.Сталина заканчиваются VI томом.

Не включены работы К.Маркса и Ф.Энгельса, в которых говорится о прогрессивной роли России (Т. XXI, Сочинения К.Маркса и Ф.Энгельса «Манифест коммунистической партии»). Этот раздел необходимо дополнить.

В некоторых случаях произведения В.И.Ленина даны не по 4-му, а по 3-му изданию

3. В библиографии имеются ссылки на №№, но нельзя понять, где эти номера надо искать, так как произведения не пронумерованы. Следует пронести нумерацию всех произведений, помещенных в библиографии.

4. На стр. 74 указаны работы А.Бернштама о монгольских гуннах. Эта книга получила отрицательную оценку, как содержащая ряд грубых политических ошибок на страницах «Большевика» в 1952 г. потому ее надо из библиографии исключить.

5. На стр. 118 включена работа Ярхо А.И. «Пигментация волос, глаз и кожи у народностей Алтая-Саянского нагорья». О чём говорит автор? Не проповедует ли он нечто вроде расовой теории? Вообще говоря, в библиографию включены некоторые работы без их критической оценки. Работы, не отвечающие требованиям по содержанию, из библиографии следует исключить.

6. На стр. 130, 213 включены работы троцкистки О.Ленцнер «Рынок Тувинской Аратской Республики», которую из библиографии необходимо исключить.

7. Включены не все книги о Туве, находящиеся в библиотеке им. В.И.Ленина в Москве. Например, нет указания на «Урянхайский вопрос» А.Баранова, Харбин, 1913 год.

2 октября 1952 год, г. Кызыл. В.Иезуитов».

Вторая рецензия за подписью А.Алдын-Херела, но без даты, содержит следующее: «Материалы по библиографии могут быть использованы лишь на правах рукописи в ограниченном количестве для организаций, т. е. партийно-советских органов и научно-исследовательских учреждений».

Там же письмо П.А.Шахуновой, адресованное « В НИИ языка, литературы и истории». Библиография выслана бандеролью. Всего получилось 290 страниц. Дальнейшее ожидание ответа считаю нецелесообразным. Полагаю, что небольшие исправления из газет и дат «Тувинской правды» можно сделать на месте.

Все указания сделаны на полях рукописи.

Сейчас требуется тщательная перепечатка и корректура. После нее необходимо, чтобы это было поручено более ответственному лицу.

Никаких серьезных изменений рукопись уже не терпит т.к. это повлечет изменения нумерации и всего алфавитного указателя. А это очень кропотливая, длинная работа.

Рукопись до ее просмотра в Главлите, надо считать, не подлежит широкому использованию.

Очень бы просила после перепечатки вернуть мне данный экз., а также один перепечатанный. Я, может, буду еще продолжать над ними работу — дополнять новыми изданиями, уточнять и т.д.

Печатать в Москве я пока не вижу возможности.

У нас это может быть напечатано только как приложение к тем работам, которые будут издаваться, как отчеты о работе (три тома), и то при наличии письменного согласия всех авторов.

Рукописи у нас не оплачиваются. Будет это в конце 1953 г. 1953 год у нас очень насыщенный.

Эту рукопись желательно напечатать в возможном количестве экземпляров и передать для пользования в руководящие органы, областную библиотеку для подбора литературы, облпартишколу, учительский институт и др.

При перепечатке желательно все названия под звездочками (без номеров) выделять от других. Например, начинать печатать их через 10 делений от начала полей листа. Желательно один перепечатанный экз. направить Дулову. Он человек внимательный и сразу заметит, если есть там серьезные промахи.

Ожидаю ответа по почте. Молчание задерживает мою работу».

К сожалению, в письме дата не указана. Скорее всего, оно написано в 1952 г.

Просматривая материалы рукописей и печатное издание «Библиографии ТАО», с горечью отмечашь, сколько ценных, нужных, хороших материалов было изъято, вычеркнуто, выброшено. Возьмем хотя бы раздел «Народное творчество» в рукописи В.И.Дулова на стр. 51 под № 846. Сафьянов И.Г. Поззия сойот «Минусинский листок» 1915, № 26, №846 Талызин Н. Две урянхайские сказки «Изв. ВСОРГО» 1894, т, XXV , № I, с.97-102 и т.д. Их

нет в печатном издании «Библиографии ТАО». Это всего лиши два названия. Таких материалов огромное множество.

Тавовы отрывочные, рукописные материалы по истории одной из первых ретроспективных печатных издания по библиографии Тувы, сыгравшей определенную роль в становлении и развитии не только одной из неотъемлемых частей культуры — библиографии, но и изучения и исследования Тувы.

Содержание

К 100 – ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ С. К. ТОКА

<i>Салчак Тока. Охота на волков. Рассказ.</i>	3
<i>Вячеслав Багай-оол. Сын своего времени.</i>	9
<i>Виктор Тока. Мой отец.</i>	13
<i>Владимир Тока. Воспоминания об отце.</i>	16
<i>Василий Крибдик. О чем молчал кавалер семи орденов Ленина.</i>	17
<i>Бронтой Бедюров. Сын тувинского народа.</i>	21
<i>Чемиза Даргын-оол. Награждение или расстрел.</i>	22

ПОЭТЫ РОССИИ

<i>Юрий Кузнецов. Еще не вышли сроки. Птицы. Кубанка. Книги. Жена. Отпущение. Темные люди.</i>	24
--	----

ПРОЗА

<i>Светлана Козлова. Цветовые пятна. Повесть в журнальном варианте.</i>	30
<i>Куулар Черлиг-оол. Поющая пещера. Главы из повести "Шораан". Начало в журнале "Улуг-Хем", № 2, 2000 г. Перевод Г. Принцевой.</i>	64
<i>Эдуард Мижит. Из цикла "Семь светильников"</i>	81
<i>Игорь Иргит. Мартовские силуэты. Рассказы.</i>	88
<i>Мария Хадаханз. Девочка из Кызыла. Рассказ.</i>	107
<i>Чечен Ирбижей. Кто твой любимый друг? Перевод А. Овчинникова.</i>	117
<i>Сергей Баир. Смерть чабанки. Новелла.</i>	124
<i>Валентин Тока. Юбилеи. "Ярманка". Плещут холодные волны</i>	126

РАССКАЗЫ

<i>Василий Монгуш. Юмористические рассказы.</i>	133
<i>Елена Трушникова. Миниатюры.</i>	136

ПОЭЗИЯ

<i>Сергей Пюрбю. Памяти матери.</i>	143
<i>Кызыл-Эник Кудажи. Отчий край —чээнек. Дус-даг. Сан Сури. Встреча с Дунаем.</i>	144

<i>Монгуш Кенин-Лопсан.</i> Часовня на караульной горе в Красноярске.	146
<i>Олег Сувакпим.</i> Пламя моего сердца. Белая береза. Жизнь как дно моря. На пустые мысли не расстрачусь... За соболем вслед пойду хребтами.	148
<i>Николай Куулар.</i> Как мне пережить это горе-беду... По отцовской дороге. Песня. Предзимнее. Не предаю ли тебя... Туман на чайлаге.	150
<i>Сайлыкмаа Комбу.</i> Воспоминание о доме. Костер. Думы. Снегопад. Дайте руку.	153
<i>Лидия Иргит.</i> Симфония. Энчек. Ночью я слышала... Моя душа.	155
<i>Саая Майнак.</i> Человеческая душа. Честь. Природа сама... Жить без любимого друга. Я как будто снова ожил... Кто не познал любви.	157
<i>Антон Уржсаа.</i> Полянь. Долина забвения.	159
<i>Владимир Донгак.</i> Я тебя ощущаю... Бесчестный юноша.	160
<i>Ульяна Куулар.</i> Бессонница.	162
<i>Зоя Донгак.</i> Из искры возгорится. Не заметил.	163
<i>Евгений Антуфьев.</i> Часы. О крестинах. Браток. За окном. Круг Сатаны. О самоубийце. Баллада о «Солнцедаре». Монолог. Старуха. Не спеши. Сказка о человеке без квартиры. Чужой сон. И продолжается роман...	164
<i>Инна Принцева.</i> Рожденным в великом остроге. Не обида кричит... Нет страсти осенний горшеч.	170
<i>Эмма Цаллагова.</i> Возвращение к поэзии. Рождение души. На волоске надежды. В тумане...	172
<i>Кондратий Емельянов.</i> Совет. Заметки на полях.	174
<i>Людмила Санчай.</i> Чужое.	176
<i>Сергей Олзей-оол.</i> Не хочу. Сгоряча. Саксофон.	177
<i>Владимир Кан-оол.</i> Хризантемы. Струны. Лодка.	178

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

<i>Мария Хадаханэ.</i> Размышления после съезда писателей.	180
<i>Галина Принцева.</i> Я хочу рассказать вам... Заметки о творчестве	
<i>Ч. Куулара.</i>	183
<i>Мария Сарыг-оол.</i> Родовые легенды. Воспоминания.	188

ФОЛЬКЛОР

<i>Георгий Курбатский.</i> Народные знания в тувинском фольклоре.	192
---	-----

БИБЛИОГРАФИЯ

<i>Зоя Монгуш.</i> Неизвестные страницы библиографии Тувы.	198
--	-----

УЛУГ-ХЕМ, № 4
2001 год

Литературно-художественный и об-
щественно-политический журнал
Союза писателей Тувы.

Редактор выпуска Е. В. Антуфьев.
Корректор Г.И. Принцева.

